

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ,
ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ

Г. А. АНТИПОВ

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕ
И
ПУТИ ЕГО
ПОЗНАНИЯ

Ответственные редакторы
д-р ист. наук *Р. С. Васильевский*,
канд. филос. наук *Л. С. Сычева*



НОВОСИБИРСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1987

А п т и н о в Г. А. Историческое прошлое и пути его познания.— Новосибирск: Наука, 1987.

В монографии анализируется природа исторического знания, рассматриваются социокультурный контекст исторического познания, механизмы его генезиса, функционирования и развития. Обосновывается правомерность выделения исторического сознания в качестве особой формы общественного сознания, выявляются специфически гуманитарные аспекты исторической науки. Основные компоненты исторического исследования: исторический источник, исторический факт, историческая теория — интерпретируются с точки зрения их места и взаимосвязи в процессах решения ученым-историком своих познавательных задач. Показаны теоретико-познавательные особенности вспомогательных исторических дисциплин и возможности их дальнейшего развития.

Книга адресована философам, историкам, всем, кто интересуется проблемами методологии исторического познания.

Рецензенты С. С. Митрофанова, Е. В. Семенов

А $\frac{0302020200-868}{042(02)-87}$ 1-87-IV

©Издательство «Наука», 1987 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна из характерных особенностей современной социальной ситуации — нарастание темпов общественного развития. Этот процесс затрагивает буквально все стороны жизни: производство, быт, досуг и т. д. Концепция ускорения социально-экономического развития общества становится стержневым элементом актуальных политических программ.

Но всякие изменения, тем более всеохватывающие, не могут не приводить к коллизиям в отношении к историческому прошлому. Любая инновация вытесняет в сферу прошлого какой-то фрагмент настоящего. Прошлое, точнее, его воздействие на настоящее превращается в один из чрезвычайно напряженных моментов общественной жизни, что затрагивает системы социальных ценностей, а значит и культуру в целом. Не случайно прошлое, историческая память во всех ее формах становятся сейчас предметом обостренного внимания общества. Конфликты, которые возникают по поводу сохранения памятников истории, сопоставимы с общественной реакцией на известные экологические проблемы.

Отнюдь не последнее место образы исторического прошлого занимают в идеологической борьбе. Острые столкновения разворачиваются даже вокруг событий многовековой давности.

Таким образом, речь идет о широком спектре социокультурных и мировоззренческих проблем, требующих адекватной теоретической интерпретации. Нельзя, конечно, утверждать, что данные феномены не попадали до сих пор в поле зрения методологической мысли. Однако все разработки этой темы затрагивают лишь отдельные аспекты названных проблем. Отсутствует интегральное описание социокультурного механизма функционирования и развития исторического знания. Отдельные замечания о необходимости вы-

деления исторического сознания в качестве еще одной формы общественного сознания не меняют положения дел.

Нельзя не видеть также тесной взаимосвязи между уровнем развития исторического сознания и динамикой социального действия. Известно, например, что силы консерватизма и реакции активно формируют комплексы исторических представлений и, напротив, мировоззрением тех, кого не устраивает status quo, кто стремится к социальным изменениям, становится историзм. Эта взаимосвязь впервые отчетливо стала прорисовываться в культуре Нового времени. Тогда же концепции развития — наряду с проблемой человека — оказываются в фокусе философской рефлексии (Кант, Гердер, Гегель и др.). Можно, однако, сказать, что и в современной культуре и ее самосознании — философии — названные проблемы продолжают сохранять свое центральное положение. Более того, перед лицом известных обстоятельств поиски ответа на вопрос о месте человека в меняющемся мире приобрели такой жизненный смысл, какого они не имели никогда прежде.

Поэтому мы не вправе упускать из виду идею историзма. Ведь нацеленность на изменения, способность их готовить и последовательно осуществлять, умение адаптировать к ним свое мышление — едва ли не главное в человеческом факторе, от активизация которого мы сейчас так много ожидаем.

Второй аспект актуализации рассматриваемых ниже проблем — потребности познания, познания процессов функционирования и развития современной науки. Здесь также можно выделить два хотя и взаимосвязанных, но достаточно автономных направления. Во-первых, развитие науки требует освоения всего познавательного опыта — и того, который накоплен естествознанием, и того, который аккумулирован общественными науками. Освоение всего этого опыта важно еще и потому, что конституирование научных дисциплин в сфере человекознания происходит подчас лишь в последнее время. И хотя методологические исследования историографии (исторической науки) имеют довольно длительную традицию, обсуждаемые здесь проблемы все еще остаются малоразработанными. Историографию либо противопоставляют наукам естественно-научного цикла, либо, исходя из ее гносеологических характеристик, отождествляют с другими формами научного познания. Думается, что разрешение этого противоречия дало бы ощутимый методологический и мировоззренческий эффект.

Во-вторых, в методологии науки отсутствует достаточно ясное представление о теоретико-познавательных структу-

рах исторического исследования. Объектами дискуссий остаются такие категории, как «исторический источник», «исторический факт» и др. Дело чаще всего ограничивается переносом в сферу исторических исследований крайне общего расчленения ее на теоретический и эмпирический уровни. Однако сама практика исторического исследования показывает явную неадекватность моделей исторического исследования, построенных на основе такого расчленения.

Все эти вопросы нельзя считать чисто академическими. Они имеют прямой выход в сферу обучения и воспитания подрастающего поколения. Построение учебных программ по истории во многом обусловлено методологической моделью исторического исследования. Более совершенная модель позволит улучшить преподавание истории в общеобразовательной и высшей школе. Не будет преувеличением сказать, что историческое сознание во всех его проявлениях становится одной из доминант духовной жизни современного общества. А это предъявляет к существующим формам историзма такие требования, которым они отнюдь не всегда отвечают. Историческое сознание само есть историческое явление. Потребность же в преодолении разрывов и дисгармонии в его функционировании не может быть удовлетворена без перестройки методологической деятельности. Думается, что в свете новых запросов методология истории должна решить прежде всего следующие задачи:

построить гносеологическую модель исторического исследования (что позволит преодолеть недостатки его интерпретации);

исследовать специфику исторического познания в качестве отрасли гуманитарного познания вообще (в частности, сделать акцент на интерпретации категории «понимание», а также на других аспектах герменевтической традиции методологического анализа человеческого познания);

эксплицировать социокультурные формы, обеспечивающие функционирование и развитие исторического знания (в сущности, решение этой задачи сводится к выявлению статуса исторического сознания как формы общественного сознания);

проанализировать строение историографии (исторической науки) как элемента системы разделения научного труда, описать основные этапы его генезиса;

сопоставить требования, обусловленные более адекватной гносеологической моделью исторического познания, с практикой преподавания истории.

Хотя перечисленные задачи тесно взаимосвязаны, они не образуют какой-либо особой иерархии. Нет поэтому и

однозначной последовательности их решений. Без учета социальных структур, в которых протекает историческое исследование, нельзя составить адекватное представление о нем, о его строении, и, наоборот, особенности исторического познания обуславливают социальное и организационное оформление, которое приобретает деятельность историка. Однако именно она (т. е. решение историком конкретных познавательных задач) для методолога если не эмпирическая, то все-таки первичная данность, от которой он должен вести «отсчет», раз уж считает своей целью построение более или менее целостной модели исторического исследования. Отним и предопределено расположение материала в падающей монографии.

Понятно, что работа не может претендовать на разрешение всего круга сформулированных выше задач. Ее замысел в том, чтобы выделить и рассмотреть наиболее перспективные подходы к их решению. Вместе с тем сформулированные представления об историческом познании, насколько это возможно, сопоставляются с реальными познавательными ситуациями, в которых оказывается историк, добывая знания о прошлом. При этом имеются в виду не только тексты исторических исследований, как таковых, но и тексты, в которых зафиксированы результаты осознания ученым-историком способов решения его профессиональных задач.



ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИОГРАФИЯ В СВЕТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Уже с момента достижения ими культурного «самоопределения» историки явно выходят за «свои пределы»: они не только описывают прошлое, но и рассуждают о том, как они это делают.

§ 1. Образцы проблем методологической рефлексии историка

Особенно показательны в этом смысле тексты Фукидида. Так, в своей «Истории» он говорит: «...будь Микены даже совсем небольшими (равно как любой существовавший тогда город теперь, на наш взгляд, является незначительным), это еще не представляет убедительный довод для того, чтобы считать Троянский поход не столь уж великим, каким его изображают поэты и как гласит молва. Если предположить, что город лакедемонян был бы разрушен и в нем уцелели бы лишь святилища и фундаменты общественных зданий, то, как я думаю, через много лет у потомков могло бы возникнуть сильное сомнение, соответствовало ли могущество лакедемонян их славе. А между тем ныне лакедемоняне — владыки двух пятых частей Пелопоннеса и стоят во главе всего полуострова да еще и множества союзников в остальной Элладе. Но так как Спарта не объединена в единое целое путем сиюнизма и не имеет роскошных храмов и общественных зданий, а состоит, подобно древним городам Эллады, из отдельных деревень, то ее мощь показалась бы менее значительной, чем на самом деле. Напротив, если бы афинян постигла та же участь, то по внешнему виду могущество их города сочли бы, пожалуй, вдвое большим в сравнении с действительностью»¹.

Следовательно, уже на первых страницах своего труда Фукидид (выражаясь языком современной методологии истории) обращается к принципиальному аспекту историче-

ского исследования, а именно к интерпретации источников и трудностям, которые могут иметь при этом место. Его осознание обстоятельств идентично осознанию подобных обстоятельств современным историком. Сошлемся хотя бы на археологию (ведь и у Фукидида речь идет о том, что и ныне считается археологическими памятниками). Так, в книге, увидевшей свет почти через две с половиной тысячи лет после фукидидовской «Истории», утверждается: «Вследствие отсутствия четкой дефиниции при выделении «культур» часто наносят на археологические карты очень разные по своей значительности признаки. Собственно, это происходит так: картографируя однотипные археологические объекты, мы замечаем, что, кроме объектов широкого распространения, можно обнаружить вещи, погребения, постройки, типические для замкнутого района и позволяющие отличить этот район от соседних. Поскольку картографируются явления разпорядные, а теоретически не обосновано, какие из них наиболее существенны, это дает широкий простор для субъективных решений. Одни ученые выделяют археологические культуры, считая важнейшим признаком чаще всего типы вещей, другие включают и формы поселений и т. д. В результате вводятся в научное обращение как равноправные объекты исследования культуры, отличающиеся не только по содержанию, но и по охватываемой ими территории — от совсем небольших до занимающих тысячи квадратных километров»². Таким образом, несмотря на огромный разрыв во времени, в обоих случаях затрагивается одна и та же проблема: как на основе имеющегося в распоряжении историка материала (источников) судить (не впадая в субъективизм) о масштабах, а равно и о любых других параметрах интересующего нас явления прошлого. Понятно, что Фукидид не мыслит современными категориями. С классической простотой он фиксирует лишь известные трудности. Однако путь, на который выходит великий афинянин, ведет скорее в страну методологии, нежели в страну историографии.

В ходе дальнейшей эволюции исторического познания вопрос об основательности выводов, опосредованных историческими источниками, превращается в проблему познаваемости исторического прошлого, а значит, и достоверности исторического знания вообще. Совершенно отчетливо такая постановка вопроса просматривается, например, у теоретика гуманистической историографии английского Просвещения Болингброка, ссылавшегося, в частности, на «несколько соображений, ясно показывающих неразумность

попыткой придерживаться принципов пиrrонизма по отношению к истории на том основании, что-де существует немало исторических сочинений, свободных от лжи, к вовсе не придется таких, где не было бы ошибок и соображений, доказывающих, что, поскольку древние исторические источники критически изучены, а новейших источников чрезвычайно много, та совокупность исторических трудов, которыми мы располагаем, включает в себе настолько вероятную каплю событий, легко отличимую от невероятной, что она вызовет доверие у каждого здравомыслящего человека и потому вполне способна отвечать всем целям изучения истории»³.

Если в связи с этим взглянуть на современное состояние историографических исследований, то отметить придется ряд обстоятельств. Прежде всего, значительное расширение круга вопросов, ставя которые историк с необходимостью переходит от познавательных реконструкций исторического прошлого к обсуждению тех или иных проблем историографии как научной дисциплины. И чтобы только перечислить (без особой детализации) проблемы, инспирируемые функционированием в познании исторического источника, их потребуются разделить по меньшей мере на пять тем.

1. Выяснение природы исторического источника и его функций в историческом исследовании. (Так, у С. О. Шмидта читаем: «Важнейшая и одновременно традиционная проблема источниковедения — комплекс вопросов, связанных с представлением об „историческом источнике“, об объеме понятия „исторический источник“. Это — предмет многолетних споров», — констатирует С. О. Шмидт. В частности, имеется несколько трактовок понятия «исторический источник», активно обсуждается вопрос о характере отношений между источником и исследуемой историком прошлой действительностью, делаются попытки наметить принципиально новые пути анализа данного феномена исторического исследования. «Очень перспективным представляется подход к историческому источнику и в плане основных понятий семиотики, учитывая при этом двойную соотносительность знака — к предмету обозначения и к обобщенному его отражению, а также наличие различных уровней в пределах одной знаковой системы»⁴.)

2. Анализ принципов классификации исторических источников, в том числе и критика уже сложившихся классификаций. (Здесь также существуют различные традиции и подходы, часто противопоставляемые друг другу.)

3. Анализ проблемы, которую можно назвать «Исторический источник и исторический факт». (Среди категорий ис-

точниковедения, по мнению А. Я. Гуревича, «понятие „исторический факт“ занимает одно из центральных мест. Без него не может обойтись ни один историк, обращающийся к источникам... В определенном смысле и сам исторический источник может восприниматься как исторический факт»⁵. Эта проблема имеет множество аспектов, в частности вопрос о содержании понятия «исторический факт», а также абстрактности «факт» — «событие».)

4. Методы работы историка над источниками. (Как утверждает О. М. Медушевская, соответствующая проблематика также «может быть названа одной из центральных в теоретическом источниковедении»⁶. Она включает сюда и вопросы общего характера, например вопрос о соотношении методики и методологии исторического исследования, и некоторые частные вопросы, например о конкретных методах решения источниковедческих задач.)

5. Выяснение специфики предмета исторической науки, и в частности предмета источниковедения. (Обсуждаются вопросы конституирования различных источниковедческих дисциплин (дипломатики, палеографии, археологии и т. д.), соотношения «конкретного» и «общего» («теоретического») источниковедения; предпринимаются попытки зафиксировать место источниковедения в системе исторического познания.)

Все эти вопросы обсуждаются не только в советской источниковедческой литературе — большинством из них мировая историография занята уже более ста лет. Достаточно вспомнить труды Дройзена, Бернгейма, Ланглау и Сеньобоса, Лаппо-Данилевского, Кареева и др.

Подчеркнем, что наш перечень не исчерпывает всех вопросов и проблем исторической науки. Как сказано, например, в «Советской исторической энциклопедии», «к числу коренных проблем методологии истории относятся: предмет и границы исторической науки, соотношение ее с другими отраслями знаний; социальная функция и действительность исторической науки; проблема познаваемости и объективный критерий истины в исследовании прошлого; понятия как основное средство познания и непосредственный предмет исследования, воспроизводящий историческую действительность; исторический факт и его место в реконструкции прошлого; специфичность исторического исследования, последовательность и взаимосвязь его степеней и форм и др.»⁷.

К компетенции методологии относят также проблемы единства исторического процесса, особенностей общественного строя (например, стран Древнего Востока), обоснования закономерности хода социального развития и т. п.

Нельзя не отметить, что интерпретация всей этой совокупности вопросов и тем обособляется в достаточно автономную область теоретических исследований, проявлением самостоятельности которой становится стремление выделить методологию истории в особую познавательную форму. Предприняты попытки задать функцию методологического знания относительно собственно историографической деятельности, причем высказываются подчас полярные мнения.

Понимая под методологией в первую очередь конкретнометодические разработки («условия и приемы исследования»), или, другими словами, описание и формулировку конкретных методик исторического исследования, Ланглуа и Сеньобос противопоставляли данный вид методологической работы всем другим, где, по их мнению, «без толку обсуждаются праздные вопросы вроде того: что такое история — искусство или наука? Каковы задачи истории, чему служит история? и т. д.»⁸. Но совершенно иначе оценивает вопрос «Зачем нужна история?» ученик Ланглуа и Сеньобоса Марк Блок (труды которого не менее значимы для французской историографии). Он считает, что этот вопрос «затрагивает всю... западную цивилизацию»⁹. Словом, если один и тот же вопрос получает полярные оценки, следует задуматься над самим вопросом. Речь должна идти о природе методологического знания вообще и методологии историографии в частности.

§ 2. О познавательном статусе и функциях методологического знания

Влияние методологии на общий прогресс научного знания не вызывает ни у кого сомнения. Однако до сих пор остаются не совсем ясными как собственно способы взаимосвязи методологии и научного познания, так и ее статус, в частности отношение к философии. Методологию рассматривают то в виде сферы, включающей несколько уровней, в том числе уровень «философской методологии» (рядом со специально-научным анализом познания), то в качестве специализированной формы знания, эмбрионированной от философии. Иногда же «методологическую деятельность» считают тождественной всей совокупности форм познания, опосредующих решение практических задач. Сама наука в таком случае представляется лишь элементом (слоем) глобальной системы методологической деятельности. Может даже показаться, что мы имеем дело с неким фантомом, произвольно принимающим самые разнобразные обличья и

свободно проникающим сквозь любые «фильтры» метаметодологического анализа. Но, поскольку такие «оккультные» гипотезы не могут никого устроить, причины разнобоя в толковании природы методологического знания следует искать в самих основаниях ее интерпретаций.

Дело в том, что и содержательно, и терминологически методологию можно задавать двояким образом. Во-первых, под методологией можно понимать совокупность приемов и методов исследования, во-вторых, ее можно считать учением о методе. С одной стороны, речь может идти о некоторых фрагментах системы научного познания, выполняющих в ней определенные функции, с другой — о специализированном исследовании этих фрагментов, а следовательно, о системе, отнюдь не совпадающей с первой. Они различаются как контекст «эксплуатации» некоторой данности и как контекст ее познания, в котором акценты первого контекста оказываются подчас несуществующими.

Отметим, что такое разведение двух плавов постановки вопроса о методе происходит далеко не всегда. Гораздо чаще говорят о различных «уровнях» и «типах» методологического знания. Характерно, например, следующее рассуждение: «Философия диалектического материализма выступает как методологическая основа специальных наук. С другой стороны, мы говорим, например, о таксономии как о методологической дисциплине, которая может быть применена к биологическому знанию. Философский анализ понятия детерминизма в современной физике является методологическим, но, очевидно, методологическим является и анализ понятия вероятности, как оно употребляется в «чистой» и прикладной математике, в статистике и т. д. Речь, таким образом, должна идти о различных уровнях методологического анализа. Аналогична ситуация и в области социального познания. Исторический материализм является методологической основой познания общественных явлений, но существует более частная методология конкретного социального исследования, например исследования общественного мнения и массового сознания. С другой стороны, методологическим будет, по-видимому, и исследование таких приемов научного познания, как идеализация, моделирование, объяснение, которые применяются к различному содержанию, и исследование, направленное на анализ определенного типа содержания, скажем анализ связей, отношений, функциональных свойств, развития противоречий и пр. В этом случае, видимо, можно говорить о различии типов методологического анализа»¹⁰.

В данном фрагменте просматриваются два понимания статуса методологии. Она выступает и как основания научного познания, и как исследование этих оснований, скажем понятий детерминизма, вероятности и т. д. Но правомерно ли центральным пунктом интерпретации делать различие уровней и типов методологического анализа (иерархизируемых к тому же по «степени общности»)? С нашей точки зрения, такая модель методологического знания принята быть не может. Ее принципиальный недостаток — «одномерность», а это приводит к тому, что «сплюсциваются» по крайней мере три «измерения», чрезвычайно важные для понимания сути методологической деятельности. Существенно и то, что каждому из способов понимания методологии соответствуют свои видение и членение реальности, способ постановки задач. Справедливо и обратное: неоднозначность понимания методологической деятельности есть отражение различия позиций. Одну из этих позиций можно назвать внутренней, другую — внешней.

Рассмотрим сначала внутреннюю позицию. Цель и смысл науки не только получение знаний о действительности, но и описание самой научной деятельности. Развитие науки обеспечивается, в частности, как воспроизводимостью ее результатов, так и трансляцией научной деятельности от поколения к поколению в педагогической сфере.

Реализуя потребность в разработке методов научной деятельности, невозможно отвлечься от собственно научных задач. Более того, эти задачи фиксируют границы «методологической действительности», задают аспекты ее дифференциации. А результатом развертывания так понятой методологической деятельности всегда оказывается метод научного познания, причем, несмотря на то, что ученый отнюдь не всегда занят решением непосредственно познавательных задач, за рамки своего предмета он все равно не выходит. Это и дает право рассматривать его позицию как «внутреннюю». Свидетельством такой позиции может служить прагматическое, функциональное понимание методологической действительности. Методология, а значит и функции методолога, трактуются как органичные элементы системы научного познания. Именно с внутренней позиции область методологической деятельности кажется подразделенной на уровни, или слои: фиксируя методы своей работы, ученый, конечно же, должен соотносить их с собственными познавательными задачами.

Напротив, суть внешней позиции заключается в том, что методы научного познания рассматриваются как эмпириче-

ская данность и анализируются методологом безотносительно к конкретным познавательным задачам, решаемым специалистом-ученым. Функциональный подход к методологической действительности смещается таким подходом, в рамках которого она задается в виде системы, обладающей имманентными факторами функционирования и развития, подчиняющейся определенным законам, которые, по крайней мере в идеале, и должны быть выявлены методологом. И хотя именно с этой позиции методологию определяют как «учение о методе», сами эти методы как бы исчезают из поля зрения исследователя, замещаясь для него процессами, законами, механизмами научного познания. В таком случае становится весьма неопределенным сам термин «методология» и более уместно понятие «гносеология науки», предлагаемое некоторыми авторами¹¹.

Различение внешней и внутренней методологии можно обнаружить, в частности, у А. Эйнштейна. Так, в лекции «О методе теоретической физики» он предостерегал: «Если Вы хотите узнать у физиков-теоретиков что-нибудь о методах, которыми они пользуются, я советую вам твердо придерживаться следующего принципа: не слушайте, что они говорят, а лучше изучайте их работу. Тому, кто в этой области что-то открывает, плоды его воображения кажутся столь необходимыми и естественными, что он считает их не мысленными образами, а заданной реальностью. И ему хотелось бы, чтобы и другие считали их таковыми»¹².

Вместе с тем в его статье «Физика и реальность» сказано: «Часто и, конечно, не без основания говорят, что естествоиспытатели — плохие философы. Не казалось ли бы тогда естественным, чтобы физик предоставил заботы о философствовании философу? Так на самом деле и надо было поступить в те времена, когда физик верил, что он располагает прочной системой законов и основных понятий, установленных настолько твердо, что волны сомнений не могли их касаться. Но это уже перестало быть справедливым в такую эпоху, как наша, когда проблематичными стали даже самые основы физики. В настоящее время, следовательно, когда эксперимент заставляет нас искать новый и более солидный фундамент, физик уже не может просто уступить философу право критического рассмотрения теоретических основ, он безусловно лучше знает и чувствует, в чем слабые стороны этой основы. В поисках нового фундамента он должен стараться полностью понять, до какого предела используемые им понятия обоснованы и необходимы»¹³.

Однако антиномичность этих суждений окажется святой, если согласиться с тем, что Эйнштейн в первом случае

имеет в виду методологический анализ, осуществляемый с внешней позиции, а во втором — совершенствование исследовательской программы физики. Действительно, адекватное представление о методах именно физического исследования может дать только физик, ибо он здесь специалист. Сделать заключение о назначении тех или иных компонентов деятельности, их взаимосвязи может лишь тот, кто включен в эту деятельность.

Таким образом, экспертом в области методологии, разрабатываемой с внутренней позиции, выступит ученый-специалист — физик, биолог, историк и т. д., а не «человек со стороны», т. е. философ. Сама же методология входит как органическая составляющая в системное целое, образуемое предметом данной науки. Но тогда мы приходим к выводу, что внутренняя методологическая позиция тождественна позиции ученого-специалиста, занятого эмпирической, описательной или разработкой методов научного исследования.

В этом плане вполне резонным выглядит, например, утверждение, что и «научная теория, обращенная к познанию новых областей исследования, функционирует как метод познания»¹⁴. Не будет, по-видимому, большой натяжкой констатировать, что основное содержание деятельности ученого вообще сводится к разработке методов познания и их использованию для продуцирования новых знаний. Этим же объясняется также отсутствие различия между так называемой «специально-научной деятельностью» (если, конечно, не сводить последнюю к реализации набора заранее заданных процедур) и методологической деятельностью. В таком случае предельной формой фиксации внутренней позиции можно считать попытку интерпретировать науку как методологию, или, точнее, как подразделения некоторой глобальной «методологической деятельности», подстраивающейся над сферой практики и обслуживающей ее¹⁵.

Совершенно иную перспективу задает внешняя позиция. Исследовать познавательную деятельность ученого и разрабатывать методы этой деятельности — далеко не одно и то же. Исследуя методы научного познания, их нельзя не включать в широкий контекст духовного освоения мира. Поэтому, рассматривая определенные проявления научного познания, например объяснение, предсказание, доказательство, с внешней позиции, этим процедурам можно сопоставить «акции оправдания» в этике или интерпретации художественного произведения в эстетике. В пределе внешняя позиция, таким образом, может быть схвачена только «теорией сознания» вообще¹⁶.

Насколько иначе выглядит картина научной деятельности с внутренней позиции, может иллюстрировать следующее рассуждение: «Растущая социальная значимость науки, проникновение ее во все сферы жизни, превращение в непосредственную производительную силу общества все в большей степени делает науку основой всей познавательной деятельности человека. Это проявляется сейчас, в частности, в том, что методы познания, по сути дела, отождествляются с методами научного познания, что в тенденции отражает реальное положение дел в современном обществе и дает определенное право абстрагироваться от ненаучных способов получения знания, если последнее не является собственно предметом исследования»¹⁷. Действительно, тот, кто занят разработкой или описанием (а не исследованием) методов научного познания, должен противопоставлять их всем ненаучным познавательным формам, должен постоянно иметь в виду их различие, если он хочет руководствоваться идеалами научной рациональности.

Однако различие внутренней и внешней методологических позиций не тождественно противопоставлению интернализма и экстернализма. Антитеза «интернализм — экстернализм» интерпретируется чаще всего как противопоставление собственно знания и его внутренних механизмов социальному фону, событиям и процессам социальной действительности, «извне» воздействующим на процессы научного познания, так что в центре внимания оказывается вопрос о состоятельности «постулата» об изначальной внеположенности по отношению друг к другу социологического и методологического путей исследования науки¹⁸.

Но с точки зрения изложенного выше важно другое. Находясь «внутри» познавательной системы, т. е. формулируя методы научного познания, методолог «видит» знание глазами ученого-специалиста, отталкиваясь от непосредственно решаемых тем задач. Здесь напрашивается аналогия с кораблем в известном примере Галилея. В самом деле, сможет ли «наблюдатель» зафиксировать «движущиеся» познавательной системы, иными словами, ее социально-исторический аспект? Не окажется ли его видение научного знания презентистским, нормативным и т. п.?

Вместе с тем внутренняя позиция не тождественна требованию рассматривать науку в качестве социального института в системе социальной действительности. Строя теорию научного познания, вовсе не обязательно становиться социологом (впрочем, так же как и психологом, экономистом и т. д.). Но только с внешней позиции можно увидеть две-

сеологические механизмы, действующие на уровне науки как некоторой целостной социальной подсистемы. Отсюда следует, что стремление преодолеть «односторонность» этих позиций едва ли оправданно, скорее акцент должен быть сделан на их взаимосвязи.

Итак, не различие уровней в некоем общем массиве методологической деятельности, а несовпадение позиций, подобное тому, которое учитывается в релятивистской физике, — вот одна из основных предпосылок интерпретации познавательного статуса методологии науки. Другой, столь же значимой предпосылкой может стать фиксация определенной неоднородности компонентов и форм, составляющих сферу познавательной деятельности.

В самом деле, здесь палицо специальные процедуры, осуществляемые исследователем с объектами и знаками. Процедуры эти имеют экстерниоризованный характер, они представлены в виде образцов и поэтому легко могут фиксироваться. В современной науке данная область познавательной деятельности представлена методами экспериментального исследования и математическими процедурами. Главные роли в этих процедурах, если обращаться к наиболее развитым естественно-научным дисциплинам, играют такие феномены, как отчуждаемость, воспроизводимость, последовательное «включение» связанных между собой блоков (правил) и т. п. Поэтому взаимосвязь этих процедур можно представить в виде машины, подобной «машине Тьюринга». Подобные сопоставления уже имели место¹⁹.

Однако, хотя наука и включает компоненты, аналогичные машинам, уподоблять ее в целом машине нельзя. В самом деле, необходимый элемент научного познания — структуры, в принципе не отчуждаемые от человека (исследователя), выступающие в качестве его личностных характеристик. Это формы мышления, системы целостей и т. п. Они не являются специфическими компонентами научной деятельности, ибо не в меньшей мере свойственны любой области человеческой духовности. В данном отношении оказывается невозможным эмансипировать науку от процессов стихийно-эмпирического познания, на что справедливо указывал в уже цитированной статье «Физика и реальность» А. Эйнштейн. «Вся наука, — писал он, — является не чем иным, как усовершенствованным повседневным мышлением. Поэтому критический ум физика не может ограничиваться рассмотрением понятий только его собственной области. Он не может двигаться вперед без критического рассмотрения **значительно более сложной проблемы: анализа повседневного мышления**»²⁰.

Поскольку посредством специфических форм познавательной деятельности наука интегрируется в культуру в широком смысле слова, всю совокупность этих форм можно назвать «экокультурной системой науки». Следовательно, с внутренней позиции экокультурная система науки не может выглядеть иначе, как совокупностью методов или принципов познавательной деятельности. С внешней же позиции (которая ориентирует на выявление механизмов познания) специфические методы науки должны получать иное представление. Здесь, по-видимому, более всего подходит получившее в последнее время большое распространение понятие «научная исследовательская программа». Оно относится к числу тех фундаментальных понятий и принципов, с учетом которых должна рассматриваться некоторая реальность, ставшая объектом научного познания. Исследовательская программа не тождественна научной теории, хотя и является необходимой ее предпосылкой. «Чаще всего, — отмечает И. И. Гайденко, — научная программа формулируется в рамках философии, а творцами ее являются ученые, одновременно выступающие и как философы: ведь именно философская система в отличие от научной теории не склонна выделять группу своих фактов, а претендует на всеобщую значимость своего принципа»²¹. Показателем и тот факт, что вся сфера методологии нередко подразделяется на три уровня: уровень «философской методологии», уровень «специальной научной методологии» и некий промежуточный уровень — коммуникации «между специально-научной методологией и философией»²². Этим подчеркивается взаимосвязь методологии и философского знания, хотя и не совсем ясно, каков, собственно, смысл этой взаимосвязи. Недоумение чаще всего вызывает понятие третьего уровня методологии, который, как утверждается, несет на себе «печать и философской, и специально-научной методологии»²³. Непонятно также, что заставляет ученого, создателя исследовательской программы, выходить в плоскость философской рефлексии.

Однако суть дела прояснится, если исходить из того, что методологическая деятельность имеет рефлексивную природу, т. е. протекает в голове исследователя. В отличие от науки, где познание ориентировано на объективную реальность, методологический анализ адресуется к структурам, не существующим вне и независимо от сознания. Адекватным способом исследования этих структур оказывается рефлексия, представляющая собой особый феномен человеческой духовности, в некотором смысле противостоящий эм-

пирическим методам науки. Если наука — это опыт познания, то рефлексия — опыт самосознания. А исторически сложившейся формой аккумуляции опыта является философия. На эту сторону дела обращал, в частности, внимание К. Маркс. Для «философского сознания», подчеркивал он, «достигающее в понятиях мышление есть действительный человек и поэтому только постигнутый в понятиях мир как таковой есть действительный мир»²⁴.

Таким образом, можно сказать, что рефлексия, а значит, и философия, суть формы общественного осознания тех способов, которыми мыслящая голова «осваивает мир»²⁵.

Следовательно, методологическая деятельность начинается там и постольку, где и постольку возникают вопросы, затрагивающие функционирование и развитие экокультурной системы науки, скажем когда возникает потребность в ее перестройке. Наглядным примером этого может служить научная революция XVII в., когда усилиями Бэкона, Декарта, Галилея и других была построена адекватная экокультурная система науки.

Итак, методология представляет собой тип философского знания. Она есть рефлексия науки. В этом смысле она отличается от описания процессов познавательной деятельности в предметах специальных научных дисциплин — психологии, логики, лингвистики и т. д., хотя исследования такого рода тоже порой квалифицируются как «методологические», что никак нельзя признать правильным.

Существование методологии обусловлено потребностями развития научного познания, а также (в не меньшей мере) потребностями воспроизводства науки и включения в социальную практику ее продуктов. Непосредственно же методологическая рефлексия инспирируется разного рода коллизиями в экокультурной системе науки, т. е. в сфере несцифических форм, обеспечивающих решение познавательных задач.

Различие между методологией науки и философией можно представить как различие между рефлексией первого и рефлексией второго порядка. Другими словами, если философия — это метарефлексия, то методология — философия науки. В рамках философии осознаются структуры, лежащие в основе любых форм духовной деятельности: искусства, нравственности и т. д. В методологии науки осуществляется философская рефлексия по поводу структур, присутствующих именно этой форме общественного сознания. Примером первого может служить диалектика, примером второго — общая теория систем. Можно сослаться и на пнею-

щую широкое распространение дефиницию философии, согласно которой она представляет собой науку о всеобщих закономерностях природы, общества и мышления. Получив осознание в сфере философской рефлексии, эти структуры служат затем средством решения методологических проблем научного познания, т. е. становятся факторами перестройки экокультурной системы науки.

Побудительными причинами постановки методологических задач, а значит, и обращения к рефлексии становятся потребности двоякого рода.

Во-первых, потребность в разработке или перестройке научных исследовательских программ. Как было показано выше, отличительными чертами методологической деятельности в данном случае являются внутренняя позиция и ориентированность на неспецифические методы научного исследования, и прежде всего — на категориальные структуры, которыми опосредуется видение ученым исследуемой реальности. В исторической науке это причастность, необходимость, свобода, субъективный и объективный факторы в истории, «проблема целостности общества как в синхронии, так и в диахроническом аспектах, проблема начала человеческой истории, т. е. исследование грани между биологической и общественной формами движения материи»²⁶, и т. д. По традиции считается, что обсуждение этих проблем составляет предмет философии истории. «Знает ли он сам или не знает об этом, но всякий историк, — пишет Э. Н. Лоо-не, — при изучении истории и при создании картины истории работает в согласии с некоторыми — обычно имплицитными — предпосылками о характере человеческого общества. Эти предпосылки можно условно назвать социально-теоретическими предпосылками картины истории. Они входят в историческое знание уже посредством применяемых историками терминов — „государство“, „война“, „нация“ и т. п. Часто историки не отдают себе отчета в том, что точно может служить референтами таких, общепринятых в его время слов. Изучение социально-теоретических предпосылок исторического знания раскрывает „философию истории“ того или иного историка, и этим занимались философы уже в прошлом веке»²⁷.

Действительно, упомянутые в приведенном фрагменте формы анализа относятся к компетенции философии, так как предполагают рефлексивную позицию. Если в виду имеется процесс научного познания, исследовательская программа интегрирована в него, становится его компонентом. Если же в науке возникает потребность в экспликации или

перестройке неспецифических методов познания, они подвергаются рефлексии и становятся достоянием философии. Это делает понятным, почему создается впечатление того, что научные исследовательские программы всегда «отпочковываются» от философии: «Исторически каждое новое научное направление возникло в результате предшествующего философского анализа соответствующего предмета исследования и методов исследования. Благодаря этому философия и получила название „матери всех наук“²⁸. Кстати, чаще всего в глазах ученого-специалиста лишь такой круг проблем отождествляется с методологической деятельностью.

Во-вторых, трудности самих методологических исследований, вызванные перестройкой научных исследовательских программ. В упомянутой уже «Апологии истории» М. Блока маленький мальчик задает вопрос, оказавшийся вполне созвучным мыслям его отца-историка: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?»²⁹. Это созвучие, конечно, факт не только психологического или педагогического порядка. «С озадачивающей прямоотой детского возраста» здесь поставлен вопрос, затрагивающий сами основания исторического исследования, вопрос о целесообразности исторической науки³⁰. Однако ясно, что ментальные структуры, ответственные за формулировку или выбор задач, не могут не включаться во всякую исследовательскую программу, в том числе и программу историографии, о которой здесь идет речь.

Но для решения этих задач нужно выйти за рамки историографии, отвлекаясь от собственно профессиональных целей и перенести внимание на процессы познавательной деятельности, аспектом которых, понятно, становится и сама исследовательская программа. Внутренняя позиция замещается внешней. Соответственно меняется и характер вопросов, определяющих методологический анализ. На передний план выдвигается не строение социально-исторического процесса, а «устройство» процессов его познания. Место вопросов типа: «Всемирная история и локальная история — два потока истории или один и тот же поток, только представленный в различных измерениях?»³¹ — занимают вопросы: «Какое знание заслуживает наименования „конкретного“? Равнозначны ли — поскольку речь идет об историческом знании — понятия „конкретность“ и „фактографичность“? Наконец, какой срез (уровень) исторической действительности должен быть изучен и каким образом он должен быть воспроизведен в историческом исследовании, чтобы его результаты отвечали указанному требованию, т. е. чтобы объект был представлен „во всей его конкретности“?»³² и т. п.

Конечно, этими вопросами совокупность методологических проблем, анализ которых ведется с внешней методологической позиции, не исчерпывается. Кроме того, следует учесть, что они могут быть объединены в относительно отграниченные друг от друга комплексы. Разными будут и основания такого подразделения. Подчеркнем: речь идет лишь о содержательных различиях. В этом смысле аксиологические проблемы исторического познания не тождественны гносеологическим (логическим), а рассмотрение процессов получения знаний о прошлом отличается от рассмотрения процессов функционирования исторического знания и т. д. Но при всех различиях названные проблемы захвачены «полем тяготения» методологической деятельности, подчинены общей методологической интенции, задающей характер их взаимосвязи. Поэтому неприемлемы попытки (например, А. И. Ракитова) наряду с методологией истории конституировать еще и «историческую эпистемологию», смысл которой заключается в анализе «всего круга проблем, связанных с изучением специфики исторического познания вообще и исторической науки как его высшей стадии в особенности»³³. Эта специфика исторического исследования интересует методолога едва ли не в первую очередь. Не обращаясь к ней, нельзя, например, удовлетворительным образом сформулировать эпистемологический идеал историографии. Но и анализ особенностей исторического исследования «самих по себе» невозможен без выявления его познавательного идеала.

В целом же все множество методологических проблем (что вытекает из сказанного) подразделяется на два подмножества. Одно из них включает вопросы, относящиеся к исходной теоретической (категориальной) модели исследуемого объекта, т. е. научной исследовательской программы (в нашем случае — историографии). Таков смысл термина «методология» в следующем фрагменте: «Именно на „стыках“ исторического материализма и каждой частной общественной науки возникает комплекс методологических проблем, решая которые исторический материализм выступает как методология исследования данной науки. С другой стороны, для исторического материализма такие контакты и взаимосвязи необходимы как один из важнейших источников его собственного развития»³⁴.

Второе подмножество проблем методологии истории отражает (в формах рефлексии) различные стороны самого процесса познавательной деятельности, в частности основания для использования данной исследовательской программы. Так, перечень методологических проблем, приводимый

в «Советской исторической энциклопедии» (см. § 1), почти целиком относится именно к данному типу проблем³⁵. В сущности (и это не трудно увидеть), лишь вопрос о социальных функциях исторической науки относится к сфере методологической рефлексии по поводу теоретических моделей социальной реальности.

Часто, в соответствии с традицией, проблемы этого класса характеризуют как «онтологические». Выделенный же нами круг проблем (заметим попутно) примечателен еще и тем, что связан с формированием исследовательских программ научных дисциплин, изучающих функционирование и развитие исторического познания, — культурологии, истории исторической науки и т. д.

Сказанное подводит нас к более общему вопросу: чем вообще обусловлено обращение к методологической рефлексии в историческом познании, что поддерживает этот интерес, временами обостряя его?

Методологическая рефлексия (говоря опять-таки вообще) стимулируется потребностями самой науки. Непосредственно методологическая деятельность обращена на эволюционирующую систему науки, служит фактором ее адаптации к изменениям, происходящим как в самом научном познании, так и в социально-практическом контексте науки. Соответственно иницирующие воздействия, вызывающие экспликацию или преобразование научной исследовательской программы и ее оснований, могут корениться: 1) в процедурах собственно познавательной деятельности, 2) в механизмах функционирования и развития науки как социокультурной подсистемы либо в механизмах культуры вообще.

§ 3. Методологическая рефлексия историка и развитие исторических исследований

Представляется, что в историографии развертывание методологической рефлексии было обусловлено прежде всего социокультурными моментами. Можно даже достаточно четко зафиксировать, когда в историографической деятельности складывается традиция обсуждения методологических проблем: это вторая половина XIX в. Появляются общие идеи, обсуждаемые широким кругом специалистов, пишутся статьи и монографии.

Спрашивается, почему именно в этой пространственно-временной локализации возникает столь острый интерес к методологическим проблемам исторического познания. Это обусловлено, по-видимому, несколькими факторами. Во-

первых, в XIX в. завершается процесс складывания классического естествознания, разворачивается вторая научная революция. «На Западе, — пишет М. К. Петров, — историки науки почти единодушно признают, что современная наука была основана во времена научной революции XVII в. Но это справедливо только с точки зрения интеллектуальной истории. Научная революция была интеллектуальным движением горстки ученых. Институционально современная наука была основана в XIX в., когда ученые пытались улучшить свой социальный статус и соответственно сумели самоутвердиться, когда они обеспечили непрерывное самовоспроизводство через механизмы набора, локализованные в институтах высшего образования, то есть когда наука полностью профессионализировалась. Некоторые поэтому называют XIX в. веком второй научной революции»³⁶.

Таким образом, к середине XIX в. наука превращается в социальный институт, завершается организационное оформление ее. Форма научного естествознания превратилась в эталон для сравнения всех других сфер рациональной деятельности. Появляется воинствующая идеология науки и ее воинствующие пророки (достаточно вспомнить Базарова с его кредо: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта»), на роль которых претендовали прежде всего позитивисты. Именно они пытались демаркировать философию и науку, отбросив (как «метафизические») все те проблемы, которые не попадали под стандарты естественнонаучного рассуждения.

Разрыв с естествознанием, в частности историографии, был слишком очевиден, что и стало побудительным импульсом (в значительной мере сохраняющим свою силу до настоящего времени) к выяснению места исторической науки в научном познании вообще, природы исторического знания и т. д. Не случайно даже в современных исследованиях философских, методологических проблем исторической науки встречаются утверждения следующего вида: «До сих пор почти все теоретико-познавательное рассмотрение исторических исследований занималось одной „большой проблемой“, одной „подпроблемой“: является ли историография наукой?»³⁷.

Складывается ситуация, вызывающая к жизни два встречных методологических «движения». Наука (а лидерами наук стали математика и физика), вырабатывая адекватное себе самосознание, соотносит с идеалами рациональности все другие познавательные формы, в том числе историографию. Встречная тенденция порождена теми видами историогра-

фической деятельности, которые, ощущая явное несоответствие стандартам научной рациональности, тем не менее претвдуют на сохранение своего социокультурного суверенитета. Показательно, например, что, формулируя свою «сверхзадачу», неокантиаец Риккерт писал, что его книга «Границы естественнонаучного образования понятий» направлена «против естественнонаучного мирозерцания»³⁸.

Кроме того, во второй половине XIX в. начинается процесс формирования целого ряда социальных наук, которые пытаются строить себя по канонам естествознания. А это тоже порождает особую ситуацию. Дело в том, что в рамках подобного подхода должно было быть элиминировано любое историческое время, ибо естествознание или любая другая наука, которая строит себя по его стандартам, имеют дело только с обратимыми процессами. Характерный пример — геология, для которой этот вопрос достаточно актуален. Налицо даже некоторая конфронтация исторической геологии и той геологии, которая стремится стать математизированной экспериментальной наукой.

Складывание науки означает появление ее академической составляющей, т. е. отлаженной системы образования. При этом «растущий неподъемный камень научного знания приходится протаскивать через игольное ушко учебных планов, часов, курсов, расписаний, сроков обучения и прочих атрибутов академической реальности, явно формировавшейся по человеческой размерности. Это не могло не вызвать деятельности по переупаковке, сжатию, сокращению, редукции наличного научного знания до человеческой вместимости»³⁹.

Историков-профессионалов начинают готовить в университетах. Во второй половине XIX в. появляются первые учебники исторического метода. Их авторы непосредственно выходили на проблемы методологии истории. Кроме того, в XIX в. публикуются многотомные исследования, посвященные истории отдельных стран или даже мировой истории. Это опять-таки требовало рефлексии историка, формулировки принципов, которыми он собирался руководствоваться в своем отношении к огромному фактическому материалу, ибо уже нельзя было обойтись без отбора, систематизации и т. д.

Все эти факторы в их совокупности способствовали интенсивному формированию самосознания историографии, которое и должно было дать ответ на «вызов» естествознания. Поэтому трудно согласиться с мнением, что главным импульсом развития методологических исследований в сфере историографии были ее внутренние потребности, что «методоло-

гическая проблема появилась в результате развития самих исторических исследований»⁴⁰.

Конечно, вообще не учитывать действия внутренних потребностей собственно историографии в формировании методологической проблематики было бы ошибкой. Однако есть основания утверждать, что «внешние» факторы сыграли здесь более значительную роль. Правда, картина как будто бы меняется, если обратиться к разворачивавшимся онтологическим представлениям о характере исторического процесса, которые тоже составляют необходимую компоненту исторического познания. Известно, что подобные представления возникают довольно рано: здесь можно сослаться на Гоббса, Вико, Гердера, Гегеля или даже на св. Августина. Но дело в том, что продуцирование онтологических моделей исторического процесса не имело непосредственного отношения к внутренним потребностям историографии. «В то время как историки эрудитского типа, — отмечал Е. А. Косминский, — составляют и издают огромные сборники материалов, живая социологическая мысль бьется не в этих произведениях, а в произведениях теоретиков-юристов, философов, отчасти экономистов, которые стремятся построить основы науки об обществе по образцам естественных наук»⁴¹.

Существовал определенный антагонизм между историографией в том виде, как она реально развивалась, и теоретико-онтологическими разработками, призванными отразить механизмы исторического процесса. «Философы и юристы XVII в., — констатировал Е. А. Косминский, — с презрением смотрели на это накопление материала, который им представлялся весьма сомнительным, заключающим в себе факты, не связанные между собой общей мыслью, общим законом. Конкретная история для этих мыслителей нередко представлялась бессмысленной путаницей, в которой никогда нельзя отличить правды от лжи и невозможно найти общую ведущую линию. Этому накоплению материала они предпочитали чисто дедуктивные приемы. Впрочем, сама их дедукция не является чисто логической операцией, она определялась интересами тех классов, которые выдвигаются в XVII в. на первый план общественно-политической жизни, и прежде всего интересами буржуазии. Политические мыслители этого периода ставили вопрос не только об общих законах, по которым протекает развитие общества, но и о лучшем, с их точки зрения, устройстве общества и в связи с этим выдвигали новое учение о праве, государстве, о происхождении тех или иных учреждений, т. е. по существу разрабатывали проблему о наилучшей организации нового буржуазного государства»⁴².

Все это происходит, видимо, потому, что внутренние потребности историографии еще не вызвали к жизни историческую теорию. Потребность в ней ощущается пока в сфере мировоззрения, сфере идеологии, в области исторического сознания в широком смысле слова. Эти-то потребности и удовлетворяет философия, ставшая вообще порождающей структурой мировоззрения, средством его развития. Отсюда ясно, почему Фихте противопоставлял историографию, как «чистую эмпирию», философии истории. «Философ, который занимается историей в качестве философа, — писал он, — руководится при этом идеей мирового плана, ясного для него без всякой истории; и историей он пользуется отнюдь не для того, чтобы что-нибудь доказать посредством последней (ибо его положения доказаны уже до всякой истории и независимо от нее), а только для того, чтобы пояснить и показать в живой жизни то, что ясно и без истории»⁴³.

Фихтевская концепция отнюдь не произвольна. В ней нашла отражение заключенная в духовном производстве интенция на выработку комплекса представлений, репрезентирующих историческое время или смысл истории. (В последующих разделах работы об этом будет сказано более подробно.) Философская рефлексия этой деятельности, во всяком случае современных Фихте форм ее, не могла совпадать с методологическим анализом, который позволил бы прийти к осознанию потребности в исторической теории. Поэтому нельзя согласиться с И. С. Коном, считающим, что фихтевский «взгляд на историю, возводящий в принцип самую слабую сторону тогдашней историографии, не способствовал прогрессу теоретического мышления историков»⁴⁴. Тот тип историографии, который имел в виду Фихте, вообще находится в стороне от путей эволюции теоретического мышления историков.

Не лишним будет сослаться и на обстоятельства зарождения материалистического понимания истории, ставшего научной исследовательской программой марксистской историографии. Оно создается Марксом и Энгельсом в ответ прежде всего на идеологические запросы, порожденные революционной борьбой, а не на внутренние потребности историографии в том ее виде, который ей придали буржуазные исследователи. В рамках собственно исторического познания потребность в теоретических формах и в разработке исследовательских программ, ориентированных на идеалы научной рациональности, достаточно отчетливо формируется лишь к концу XIX в. Именно в это время появляются курсы в область методологии, предпринятые самими исто-

риками: Ранке, Вобером, Лампрехтом и др., пробуждается интерес к марксистской теории.

Поскольку главным фактором, стимулирующим методологическую рефлексию в историографии, было общее развитие науки, ее естественно-научных разделов, главные направления постановки методологических проблем можно формально подразделить на основе того, как воспринимался «вызов» естествознания и как формулировался «ответ» на него. По этому основанию можно выделить, во-первых, школы в методологии, занятые выяснением того, что такое историография, в чем ее специфика, чем эта специфика определяется. Эта тенденция представлена трудами Риккерта, Дильтея, Кроче, Коллингвуда и др. В их концепциях имеются, конечно, различия, но все они исходят из признания принципиальной специфики историографии. Во-вторых — школы в методологии, либо прямо исходящие из предпосылки, что история и естествознание ничем принципиально не различаются, либо молчаливо это допускающие. Главной своей задачей представители этой традиции считали и считают описание методов, которыми пользуются реальные историки. Они хотели и хотят описать «кухню», «мастерскую» историка. Тут тоже есть свои различия, однако массив этих методологических исследований в целом отличен от первого и противостоит ему. Здесь решаются вопросы о взаимодействии методов различных наук, раздаются призывы поднять историографию до уровня науки и обсуждаются пути достижения этого.

Следует подчеркнуть, что, хотя рассматриваемые тенденции «привязывались» преимущественно к процессам развития историографии, фактически они имеют универсальное значение для всего социального познания. Не случайно уже у неокантианцев фигурирует противопоставление наук о природе наукам о культуре.

Открывающийся антагонизм в интерпретации познавательного статуса историографии определяет направление дальнейшего анализа. Необходимо рассмотреть гносеологическую форму, структуры, которыми представлена в научном познании историография, более конкретно, так как от этого во многом будет зависеть характер анализа всех других методологических проблем исторической науки.



Р а з д е л I

СТРОЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Г Л А В А I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ИСТОЧНИКА КАК СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ

В историографической литературе существует несколько различных трактовок понятия «исторический источник». Это бросается в глаза и постороннему наблюдателю. Выше уже сказано, что этот вопрос воспринимается самими историками и источникововедами как традиционно важная, хотя и дискуссионная проблема историографии. Однако (оговоримся сразу) мы не имеем в виду включиться в дискуссию, чтобы прибавить к уже существующим определениям источника еще одно. Наша цель — методологический анализ сложившейся ситуации. Дело в том, что сам факт существования различных определений кажется нам далеко не случайным, а имеющим под собой глубокие основания. Анализ этих оснований как раз и призван охарактеризовать место исторического источника в системе исторического исследования (хотелось бы надеяться, что он не будет бесполезен для специалистов-историков и источникововедов).

§ 1. Основные типы определений исторического источника

Допуская некоторые упрощения и идеализации, можно выделить три типа определений, или, точнее, характеристик, исторического источника. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Наиболее простым, а потому и исходным, по мнению С. О. Шмидта, может служить следующее определение: «Исторический источник — это всякое явление, которое может быть использовано для целей исторического исследования, или даже еще проще — для познания прошлого»¹. С. О. Шмидт считает такую характеристику вполне достаточной для нужд «обычной работы историка».

Будем рассматривать это как определение первого типа. Для него специфично то, что источник задается чисто функционально, через указание на способ его использования. Это может быть любой объект, любая вещь, так как определение не предъявляет никаких требований к физическим, химическим и прочим «телесным» свойствам объекта, необходимо лишь, чтобы объект занимал в деятельности историка определенное функциональное место. Это в определенном смысле аналогично проводимому Марксом различению между «бытием товара как *стоимости* в отличие от его бытия как вещи, продукта, потребительной стоимости»². Представляется, что такое различение носит фундаментальный характер и далеко выходит за пределы анализа сферы обращения товаров. Следовательно, историк для ответа на вопрос, является ли объект *x* источником, надо выяснить только то, как этот объект был использован, служил ли он средством для познания прошлого или же не служил.

Аналогичное определение источника находим у А. С. Лалло-Данилевского: можно «назвать источником исторического знания всякий реальный объект, который изучается не ради него самого, а для того, чтобы получить знания о другом объекте, т. е. об историческом факте»³. Здесь опять-таки внимание обращено на способ функционирования объекта в деятельности, на способ его использования, но без указания на какие-либо другие свойства и отношения.

Однако в историографической литературе преобладают определения другого типа, специфицирующие источник относительно к способу его употребления. Внимание в них акцентируется прежде всего на том, что источник есть «явление, возникающее в определенных условиях общественного развития, органически связанное со своим временем». Кроме того, «это такой памятник исторического прошлого, который несет на себе печать своего времени, который отражает действительность через призму социально-экономических, политических и других представлений, через призму живящих интересов людей, создавших этот памятник. Он сам — историческое явление, занимающее определенное место в историческом процессе, и только как явление может быть познано и исследовано»⁴.

Нетрудно заметить, что характеристики источника выделены здесь без указания на способ употребления, без учета того, как тот или иной объект функционирует в историческом исследовании. Источник — это явление действительности, отражающее прошлое, несущее «печать прошлого».

Речь идет о естественном, существующем вне и независимо от человека и его действий отношении одного объекта (источника) к другому объекту. Однако, как и в определенных первом типа, характеристика источника носит функциональный характер. Мы ничего не узнаем о его конкретных свойствах как вещи. Это может быть любой объект, любая вещь, лишь бы они, существуя в настоящем, отражали как-либо объекты прошлого.

Существуют разные варианты такого рода определений. Так, во французской историографии со времен Ланглуа и Сеньобоса источник интерпретируется как «след», оставленный прошлым. Отметим попутно, что нет никаких оснований считать (вместе с О. М. Медушевской) такое понимание сугубо «релятивистским»⁵. И в этом случае (как и в предыдущем) источник задается в контексте причинно-следственных связей, а не с точки зрения практических задач исторического исследования.

Рассмотрим теперь еще одно определение (оно принадлежит М. П. Тихомирову): «Под историческим источником понимается всякий памятник прошлого, свидетельствующий об истории человеческого общества. Историческими источниками служат рукописи, печатные книги, здания, предметы обихода, древние обычаи, элементы древней речи, сохранившиеся в языке, и т. д. — одним словом, все остатки прошлой исторической жизни»⁶. Здесь много общего с определениями второго типа, так как источник характеризуется как остаток прошлого, «свидетельствующий об истории человеческого общества». Есть у М. П. Тихомирова и новый элемент. Источник специфицируется у него не только функционально, но и по материалу: источники — это рукописи, книги, здания, древние обычаи, предметы обихода и т. д. Иначе говоря, источник здесь не только некоторое нечто, находящееся в отношении, но определенная конкретная вещь, обладающая конкретными свойствами, отличающими ее от других вещей. Древнюю рукопись или книгу можно отличить от других объектов просто по внешнему виду, но вдаваясь в анализ способа их употребления или отношения к прошлому.

Итак, были выделены три типа определений. Исторический источник может быть охарактеризован либо функционально, либо по материалу. В случае функционального выделения источника его можно определить либо по отношению к человеческой деятельности, через способ использования в ходе исторического исследования, либо через отношение к исторической действительности, через отношение отражения

исторических явлений. Определения первого типа (примером которых было определение С. О. Шмидта) мы будем называть функциональными. Определения второго типа — структурно-функциональными, третьего — морфологическими.

Как уже отмечалось, такая классификация основана на определенной идеализации. Большинство действительных определений источника содержит в себе все или почти все выделенные нами элементы. Это видно хотя бы на примере фрагмента из работы М. Н. Тихомирова, в котором содержатся элементы второго и третьего типов определений. Примером использования всех трех типов характеристик источника может служить определение, даваемое в «Советской исторической энциклопедии»: «Источники исторические — все, непосредственно отражающее исторический процесс и дающее возможность изучать прошлое человеческого общества, т. е. все, созданное ранее человеческим обществом и дошедшее до наших дней в виде предметов материальной культуры, памятников письменности, идеологии, нравов, обычаев, языка»⁷.

Имеются и такие определения, в которых источник выделяется одновременно через элементы первого и второго типов. Так, в современном западно-германском энциклопедическом издании «Das Fischer Lexikon» приводится следующее определение: «Источниками в исторической науке называются все исторические памятники (т. е., по Дройзену, „все то, что несет на себе след человеческого духа и человеческого дела“), из которых, как из источника, может быть почерпнуто историческое знание»⁸.

Все такие определения мы будем называть смешанными. Вероятно, действительное понимание того, что такое источник, всегда существует у историка или источникововеда именно в форме смешанного определения и включает в себя все три типа характеристик: функциональную, структурно-функциональную и морфологическую. Но это отнюдь не исключает возможности и необходимости выделения каждого типа в чистом виде и выяснения их взаимоотношений. Оказывается, можно выделить разные типы классификации исторических источников, находящиеся в определенном соответствии с рассмотренными типами определений источника.

В историографии проблеме классификации источников традиционно отводится весьма важное место, о чем свидетельствуют и обширность литературы, и то постоянство, с которым эта проблема ставится учеными-специалистами, что объясняется, по-видимому, несколькими причинами.

Во-первых, проблема упорядочения и систематизации источников возникает в связи с обработкой и хранением растущей массы исторических памятников (в архивном деле эта потребность ощущается наиболее остро). Во-вторых, проблема классификации источников тесно связана с потребностями преподавания исторической науки в высшей школе. Будущих историков нужно знакомить со всеми видами исторических памятников, которыми наука оперирует в настоящее время. Не случайно дискуссии чаще всего возникают по поводу стресния общих учебных курсов источниковедения. Кроме того, ясно, что разные виды исторических памятников требуют различных, подчас очень специфических, способов работы с ними. Это, в свою очередь, необходимо зафиксировать при помощи их классификаций. Наконец, в-третьих, эта проблема возникает в связи с нуждами собственно исторического исследования. Как подчеркивает В. К. Ядунский, «нельзя апализировать источники один за другим подряд, без всякого порядка и системы»⁹. Правда, что касается собственно историков, то они проявляют к проблеме классификации источников меньше интереса, нежели, скажем, источниковеды. «Существует несколько вариантов классификации источников, — пишет А. В. Гулыга, — но принципиального значения этот вопрос не имеет. Важным для историка является только одно обстоятельство: установить, связан ли данный источник непосредственно с событиями или возник позднее и свидетельствует о событии опосредованно»¹⁰.

Наиболее общей классификацией принято считать широко распространенное в советской историографии деление источников на шесть групп: письменные, вещественные, этнографические, лингвистические, устные и кинофонофотоматериалы¹¹. В пределах каждой группы может проводиться классификация и по частным признакам. Так, в классе «письменных» источников выделяются обычно «актовые» и «спарративные», а документы, в свою очередь, подразделяются на «беловые», «черповые», «оригиналы» и т. д.¹²

Обычно в литературе указывается на два основных недостатка рассматриваемой классификации, в связи с чем подчеркивается ее «условный характер»¹³. Во-первых, она не полна, во-вторых, у нее отсутствует единое основание, по которому должна проводиться всякая классификация. Но нас в данном случае интересует не это. Нетрудно увидеть, что источник как объект классификации задан здесь по материалу, т. е. в соответствии с тем подходом, который нашел свое выражение в определениях исторического источника третьего типа.

Другим весьма распространенным в исторической науке видом классификации является деление источников на «остатки» и «традиции» (впрочем, иногда различают «непосредственные» и «косвенные» источники¹⁴). Следует отметить, что у историков нет единого мнения относительно принципа этой классификации¹⁵. Ее автор Э. Бернгейм трактовал «остатки» как «все, что непосредственно остается от событий и имеется налицо», а «традиции» — как «все, что человеческое восприятие способно передать о событиях, отразить в них и что проходит через него»¹⁶. Подобное же определение находим у М. Н. Тихомирова: «Под историческими остатками понимаются остатки непосредственной деятельности людей, прямые свидетельства исторических фактов (например, подлинны акты, монеты, архитектурные памятники, предметы быта и т. д.). Под исторической традицией понимается отражение какого-либо исторического факта в источнике»¹⁷.

Рассматривая классификации, подобные приведенной, с методологической позиции, их основную особенность можно увидеть в том, что они построены в пределах структурно-функционального расчленения деятельности. Поэтому подразделение источников на остатки и традиции соотносимо с определениями второго типа.

С определениями первого типа соотносимы классификации, в которых источники подразделяются в зависимости от того, к какой стороне исторического процесса относятся сведения, которые можно почерпнуть из этих источников. В подобных классификациях выделяются три группы источников: источники по социально-экономической истории, по истории внутренней и внешней политики, по истории общественно-политической мысли и культуры.

Таким образом, и рассмотрение основных способов группировки источников приводит к выводу о необходимости анализа тех исходных оснований или подходов, которые определяют фактическое понимание историками данного феномена. Кроме того, некоторым косвенным указанием на правомерность подобной постановки вопроса может служить сама нерешенность проблемы классификации источников. Исторический опыт познания показывает, что задачи классификации могут быть удовлетворительно разрешены и разрешаются только в тех науках, которые имеют достаточно разработанную систему представлений об объекте своего исследования.

*§ 2. Гносеологические основания
разных типов определений источника*

Как уже отмечалось, существующие различия в определении понятия «исторический источник» отнюдь не случайны. Мы постараемся показать, что они имеют под собой довольно глубокие основания. Но для этого надо обратиться к некоторым общим закономерностям развития познания и науки.

Человек, как известно, не начинает исторически с теоретического мышления. Он начинает с практической деятельности, а поэтому и первые расчленения действительности носят практический и функциональный характер. Объекты выделяются из природной среды и специфицируются первоначально главным образом в зависимости от способа их построения и использования. Это можно продемонстрировать как на материале истории познания¹⁸, так и на материале изучения развития ребенка¹⁹. Так, например, в учебниках математики до сих пор можно встретить следующее определение величины: величина — это то, что может быть измерено. Нетрудно увидеть сходство такой характеристики с определением источника первого типа.

Итак, функциональное расчленение действительности целиком связано с деятельностью человека. Элементы реальности не получают здесь иного представления, чем то, которое диктуется способами деятельности с ними. Сказанное можно проиллюстрировать элементарным примером из ленинской статьи «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках гг. Троцкого и Бухарина». Стакан можно определить по-разному, в зависимости от потребностей практики, от того, что нужно человеку. Он может быть рассмотрен как «инструмент для питья», «инструмент для бросания» и т. д. Но «если мне, — пишет В. И. Ленин, — нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.»²⁰.

Если, таким образом, взглянуть на действительность сквозь призму деятельности с некоторой внешней позиции, то ее описание окажется крайне фрагментарным, оно включит только те параметры среды, которые существенны для дан-

пой конкретной деятельности. Очевидно, что такое описание окажется совершенно непригодным тогда, когда решаются иные задачи, не совпадающие с задачами, в рамках которых получено данное описание. Существенно и другое обстоятельство, а именно: один и тот же элемент деятельности получит разные описания. Характерен в этом отношении давно замеченный исследователями факт необычайной конкретности словоупотребления в языках первобытных и современных народов, находящихся на этой стадии развития. Так, язык лопарей включает 41 слово только для обозначения снега: для снега, который лежит в сугробах, снега, поднимаемого ветром, лежащего на земле и т. д.²¹, но нет слова, обозначающего снег как таковой.

Из сказанного можно сделать вывод, что чисто функциональные расчленения действительности явно недостаточны для развития познания и материальной практики человека. Они зависят от конкретной практической ситуации. Скажем, функциональное определение источника может привести к фактическому выделению разных объектов в связи с разными целями и средствами исторического исследования. Кроме того, если источник определен чисто функционально, у нас нет никаких средств для его распознавания, кроме реализации самого процесса исторического исследования. До исследования и вне исследования у историка нет в этом случае никаких параметров, по которым он мог бы отличить источник от других объектов.

Сказанное означает, что функциональные расчленения не существуют сами по себе. Они всегда связаны, в частности, с морфологическими расчленениями. Выделяя объект функционально, человек сопоставляет его с некоторым актом деятельности. Морфологическое определение связано в простейшем случае с указанием некоторого образца, эталона. Эталоны — это ассимилируемые обществом фрагменты действительности (материальной или идеальной), которые функционируют как средства в акте распознавания. Вероятно, первоначально в качестве образцов функционируют элементы действительности, одинаковым образом включенные во все возможные акты человеческой деятельности. Не случайно в первых натурфилософских построениях античной философии мир уподобляется воде, воздуху, огню и т. п.

Таким образом, уже на самых первых этапах развития познания налицо единство функционального и морфологического подходов к спецификации объектов действительности. Но определяющую роль здесь, несомненно, играют функциональные расчленения. Морфологические характеристики

«подстраиваются», «подгоняются» к функциональным. Иными словами, человек никогда не использует всех возможных вариантов морфологического расчленения природы. Он выбирает только некоторые из них, причем именно практическое использование объектов, их практическая дифференциация служат критерием выбора. Такая переплетенность функционального и морфологического подходов не позволяет устранить ситуативность полученных расчленений.

Ограниченность морфологических расчленений сразу же обнаруживается в тех случаях, когда один и тот же элемент действительности может быть определен через сопоставление с разными образцами. Так, в платоновском диалоге «Гиппий большой» на предложение Сократа дать определение прекрасного его оппонент отвечает: «Прекрасное — это прекрасная девушка». Тогда Сократ показывает, что равным образом можно сказать: прекрасное — это «прекрасная кобылица», «прекрасная лира» и т. п. Ни одно из этих определений, делает вывод Сократ, не дает возможности понять «прекрасное само по себе», «прекрасное для всех и всегда»²².

Одним из фундаментальных моментов в историческом формировании науки было относительное обособление задач познания от непосредственных практических запросов, отказ от чисто утилитарного рассмотрения явлений. Задача науки — анализ объектов самих по себе, в их внутренней связи, для чего необходимо отвлечься до поры до времени от их пользы или вреда для человека. Это показано на материале развития многих дисциплин²³.

Ликвидация ситуативности первоначальных расчленений действительности осуществляется в основном следующим образом. Если раньше объект определялся через его отношение к акту деятельности, к процессу построения или использования, то теперь он задается через отношение к другому объекту. Какую роль при этом играют морфологические средства определения объекта? Ведь (как уже отмечалось) они присутствуют уже на самых первых этапах познания действительности и являются необходимым дополнением чисто функциональных расчленений. Суть в том, что при переходе от расчленений функциональных к структурно-функциональным происходит перестройка, видоизменение и морфологического способа характеристики объекта. Если раньше морфологическая характеристика определялась функциональной, определялась в конечном счете характером нашей деятельности с объектом, то теперь она определяется структурно-функциональным заданием объекта и должна соответствовать этому новому типу определений. Иначе говоря,

в обоих случаях морфологическая характеристика детерминруется извне, но в одном случае она обоснована практической ситуацией, а в другом — связями объекта, его структурой. Поэтому переход к структурно-функциональному определению действительности означает и развитие морфологических представлений.

Подведем итог сказанному. Что, собственно, дают все предыдущие рассуждения?

Во-первых, они показывают, что различные типы определений источника, которые встречаются в историографической литературе, — отнюдь не случайность. Различие этих типов связано и соответствует различным типам расчленения действительности, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всего исторического развития познания. Более того, именно переход от одного типа расчленений к другому составляет иногда основное содержание существенных сдвигов в развитии науки. В этом плане ситуацию, сложившуюся в историографии, можно рассматривать как типичную.

Во-вторых, выявляется тесная связь всех типов расчленения действительности и закономерность перехода от одних типов к другим. Установлено, что морфологический подход не существует сам по себе, но всегда дополняет либо функциональную, либо структурно-функциональную картину. Поскольку это ощутимо влияет на характер морфологических определений, следует различать, вероятно, функционально-морфологический и структурно-морфологический подходы: в одном случае морфология определяется практическими ситуациями, в другом — структурой объекта. Развитие эмпирической науки связано с переходом от функциональных и функционально-морфологических расчленений к расчленениям структурно-функциональным и структурно-морфологическим.

§ 3. Источник в системе научного исследования

Можем ли мы теперь провести однозначную аналогию между развитием представлений об историческом источнике и развитием эмпирических наук вообще? Можно ли, в частности, сказать, что в сфере представлений об источнике уже сформировались необходимые структурно-функциональные расчленения и потому все обстоит благополучно? Можно ли, наконец, считать, что определения, названные нами функциональными, — пройденный этап и их надо заменить структурно-функциональными определениями? Од-

нако в такой общей постановке на все эти вопросы можно дать только отрицательный ответ.

Дело в том, что исторический источник фигурирует в качестве элемента не в одной, а в разных системах исследования, в предметах разных научных дисциплин. Это означает, что и поставленные вопросы надо конкретизировать применительно к каждому случаю в отдельности. Ясно, например, что труд М. Д. Приселкова, посвященный реконструкции текста Троицкой летописи²⁴, в указанном смысле отличается от «Киевской Руси» Б. Д. Грекова²⁵.

Историография традиционно подразделяется на источниковедение и собственно историческое исследование. Возникнув в практике развития историографии, это подразделение специалистами-историками рефлектируется по-разному.

Еще Э. Бернгейм отмечал, что «непосредственным предметом познания» в собственно историческом исследовании является не исторический источник сам по себе, а нечто другое — «человеческие деяния»²⁶. Аналогичные утверждения находим и у современных авторов. Так, М. А. Варшавчик пишет: «Предметом... изучения исторической науки является не сам источник, а те отношения, которые стоят за ним, те факты-события, которые он отражает. Не вещи, а люди, их деятельность, которая отражается в вещах, в документах, в других памятниках прошлого, составляют предмет изучения для историка»²⁷.

Напротив, специфику источниковедческой работы видят в том, что она концентрируется вокруг источника как такового: «Для источниковеда объектом исследования служит не историческое прошлое или его отдельные факты, а сами источники как порознь, так и в их совокупности, особенно необходимой для изучения исторического процесса в целом»²⁸.

Кроме того, такое расчленение рассматривается иногда как результат разделения труда в рамках исторической науки. «Обычно даже при изучении новых (вернее, вновь открытых) явлений прошлого,— пишет Н. П. Французова,— происходит своеобразное разделение труда. Одни ученые занимаются преимущественно описанием „следов прошлого“ или реконструкцией отдельных событий, установлением их последовательности, другие, опираясь на результаты их исследований, создают общие теоретические конструкции процессов развития, гипотезы о движущих силах и тенденциях развития»²⁹.

Таким образом, источниковедение и собственно историческое исследование образуют два относительно самостоя-

тельные области историографии, различающиеся прежде всего тем, что в источниковедении познавательные задачи ставятся относительно источника, а в собственно историческом исследовании — относительно прошлого.

Предложенное различие, однако, не столь очевидно. «Источниковедение практически сливается с историческим исследованием, поскольку исторический факт — фундамент исторического исследования — не может стать предметом изучения вне источника»³⁰, — утверждают С. М. Капитанов и А. А. Курносков. Аналогичные суждения можно найти и у других авторов. «Обращаясь к практике современной историографии, — пишет, например, О. М. Медушевская, — действительно бывает трудно решить, где совершается переход от источниковедения к решению чисто исторических проблем, или, наоборот, когда источниковедческое исследование превращается в историческое»³¹.

Словом, хотя источниковедение и собственно историческое исследование различают по тому, как источник включен в познавательные процессы, имеются, по-видимому, отношения, в которых источниковедение и собственно историческое исследование совпадают. Во всяком случае, из сказанного вытекает, что существуют по крайней мере три относительно самостоятельных аспекта анализа источника как фрагмента научного исследования: 1) исторический источник в системе исторического исследования; 2) исторический источник в предмете источниковедения; 3) исторический источник в предмете методологии, в предмете гносеологического анализа науки.

В системе исторического исследования источник — это эмпирический объект, на основании изучения которого историк делает выводы относительно интересующей его исторической действительности. Эмпирический объект и объект исследования не совпадают. Эмпирический объект существует как факт текущего дня. Объектом исследования является прошлое развитие общества. Задачи, которые решает историк, сформулированы относительно объекта исследования, но единственная возможность их эмпирического решения, эмпирического подтверждения или опровержения гипотез — это изучение эмпирических объектов, т. е. источников. Это значит, что задачи, сформулированные относительно объекта, относительно прошлого развития общества, должны быть переформулированы применительно к источникам, а полученный эмпирический материал должен быть интерпретирован и превращен в знание об объекте, в знание исторических фактов.

Возьмем в качестве примера отрывок из работы С. В. Гехрушина «Московское восстание 1648 г.». «Есть один документ, — пишет он, — который позволяет точнее определить состав той „черни“, „которая действовала во время восстания. Это челобитная московских гостей, поданная 4 января 1648 г. Из нее видно, что „в 156 году, в самое смутное время“, добились ряда льгот „московских черных сотен еотские и из слобод — из Кадашева и из иных слобод старосты“ в ущерб интересам привилегированного слоя гостей. Следовательно, мы имеем дело со средними и низшими слоями посадского населения Москвы. Чтобы понять выступление в 1648 г. московских черных людей, надо помнить, что торговое сословие в XVII в. переживало тяжелую эволюцию. На нем особенно тяжело отражались результаты фискальной деятельности правительства. Между тем условия разраставшегося рынка выдвигали вперед эту социальную группу и открывали ей новые пути. Мы, в сущности, присутствовали в середине XVII в. при зарождении класса купечества в Русском государстве. Само правительство не скрывало, что видит в нем главный источник государственных доходов. Постепенно внутри его слагаются известные представления и о своих профессиональных интересах, и о том месте, которое оно занимает в государстве. В его среде устанавливается совершенно определенный взгляд на условия, необходимые для процветания русской торговли. Это, во-первых, освобождение торговых людей из-под гнета администрации, а во-вторых, монополизация в их руках всей торговли. В 40-х годах XVII в. это настроение выливается в ряде очень последовательных требований»³².

Приведенный текст явственно подразделяется на две различные по характеру части, которые можно, по нашему мнению, рассматривать как продукты разных познавательных процедур историка. Во-первых, часть текста представляет собой результат наблюдения материала источника и выделения в нем определенного содержания: фиксируется, что некоторая группа населения Москвы в 1648 году в ходе восстания добилась ряда льгот. Во-вторых, устанавливается (я здесь уже явно недостаточно простого наблюдения источника, фиксации каких-либо его сторон), что данные характеристики материала источника следует понимать как проявление процесса эволюции торгового сословия в Русском государстве. Наконец, делается общий вывод о том, какими были эти особенности развития русского купечества, чем они были вызваны и т. д.

Нетрудно увидеть, что вся работа историка, какой она выглядит в приведенном тексте, опосредуется наличием у

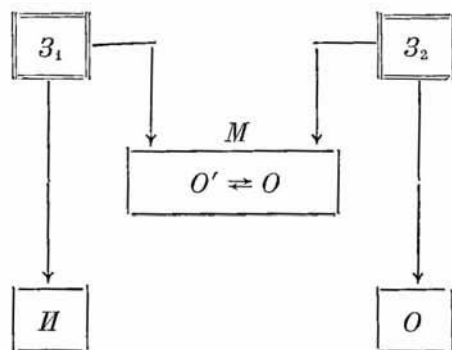
него некоторого исходного представления, модели исследуемой действительности. Фигурирующие в тексте понятия «класс», «эволюция», «профессиональные интересы» и т. п. — это не что иное, как элементы данной модели. К установлению разного рода отношений между этими элементами, основанному на тех или иных «показаниях» эмпирического материала, и сводится деятельность историка. Таким образом, именно исходная модель изучаемого объекта определяет предмет и основные задачи исследования. Насколько важна она для историка, можно показать на следующем примере.

Как известно, советская медиэвистика пошла по пути преодоления обнаружившихся недостатков и односторонности предшествовавшего ей этапа развития исследований средневековья, в частности английского. «Для этого, — констатирует Е. А. Косминский, — она обратилась к источникам, допускающим массовую статистическую обработку. Отбросив упрощенные обобщения вотчинной теории, советские ученые должны были найти новые определения, которые могли бы внести порядок и единство в бесконечно осложнившийся материал. Такие определения дало им марксистско-ленинское понимание феодального способа производства и учение Маркса и Ленина о докапиталистической ренте. Смена форм феодальной ренты, пережитки дофеодального строя, зародыши докапиталистического развития, часто смыкающиеся с остатками дофеодальных отношений, — вот что определило все разнообразие форм аграрного развития Англии в эпоху классического средневековья. В то же время более пристальный анализ позволил увидеть за внешними формами традиционного обычая бурную классовую борьбу, протекавшую и в манориальной курии, и в королевских судах, и на общинных полях»³³.

Иными словами, подлинным объектом исследования для медиэвистики становятся общественные отношения, которые скрываются за видимыми, эмпирически фиксируемыми с помощью источников формами исторической действительности, их типы, короче — общественно-экономическая формация. То обстоятельство, что понятие общественно-экономической формации было положено в основу интерпретации эмпирического материала, как раз и позволило существенно перестроить анализ аграрных отношений средневековой Англии.

Однако наличием исходной модели исследуемого объекта не исчерпывается вся совокупность средств, необходимых исторiku. В частности, он не может обойтись без развитых представлений об отношении эмпирических объектов к изучаемой исторической действительности.

Все это можно представить в виде схемы:



Здесь I — источник, O — объект исследования, Z_1 и Z_2 — задачи и знания, сформулированные соответственно относительно источника и относительно объекта. Что касается M , то это модель, фиксирующая связь и место того объекта O' , который в настоящее время выступает как источник, в изучаемой исторической действительности. Только благодаря наличию M возможна переформулировка задач исследования и интерпретация эмпирического материала, полученного при анализе источников. I и O' непосредственно не совпадают: I — это настоящее O , O — это прошлое I . Построение M и составляет, по нашему мнению, основное содержание деятельности историков. Рассмотрим это детальнее.

Очевидно, что всякий объект, которым исследователь оперирует как историческим источником или в котором предполагает источник, обладает большим количеством различных параметров. Однако отнюдь не все они выделяются историком. Лишь относительно некоторой части параметров данного объекта историк строит свои познавательные процедуры. Известно, кроме того, что в современной исторической науке довольно широко используются естественно-научные методы исследования: радиоуглеродный, магнитный, дендрохронологический и др. Но, применяя эти методы, историк в то же время не рассматривает их как однопорядковые собственно историческим методам исследования. С его точки зрения, естественно-научные методы дают лишь некоторые промежуточные результаты, которые должны быть еще ассимилированы с позиций самого историка. Б. А. Колчин, например, имея в виду радиоуглеродный метод определения хронологических дат, пишет: «Нужно еще раз напомнить, что

радиоуглеродные лаборатории определяют даты, точнее, интервал времени в абсолютном измерении, когда прекратился обменный цикл, т. е. прекратилась жизнь данного образца растения или животного. А какова связь этого образца с археологическим памятником, принадлежит ли образец ко времени памятника, связан ли он с комплексом явлений, дату которых мы хотим определить, это должен решить археолог»³⁴.

Сказанное позволяет сделать вывод, что объект, выступающий как исторический источник, берется историком совершенно специфическим образом, отличным, скажем, от способа рассмотрения его физиком, биологом, химиком и т. д. Важно также учесть, что способ оперирования данным объектом как историческим источником не есть нечто, заданное природой этого объекта, его формой, строением и физико-химическими свойствами. Остатки античных поселений — исторический источник для историка. В то же время это и строительный материал, пригодный на возведение средневековых (да и не только средневековых) построек.

Какова же в таком случае специфика предмета, в котором работает историк и в рамках которого некоторый объект *x* превращается в исторический источник? Иными словами, чем отличается подход историка к данному *x* от способа рассмотрения его физиком, биологом, химиком, строителем и т. д.?

Интересное рассуждение на этот счет, могущее служить для нас отправным пунктом, находим в работе В. Д. Блаватского «Античная полевая археология»: «Обычный археологический памятник, надлежащим образом раскопанный, зафиксированный и описанный в дневнике, в значительной мере дает своего рода „негатив“ жизни прошлого. Задача исследователя — на основе всестороннего изучения „негатива“ воссоздать „позитив“, т. е. реальную картину далекого прошлого, возможно более полнокровную историю изучаемого памятника»³⁵.

Проведенное В. Д. Блаватским сравнение (с учетом, конечно, условности всякого сравнения) удобно для нас в том смысле, что оно хорошо подчеркивает основное отношение, специфицирующее исторический источник и позволяющее отличить (с определенной конкретизацией) источник от источника, точнее, от других средств познания.

Действительно, как материал негатива важен для нас лишь постольку, поскольку он фиксирует некоторый другой объект, так и эмпирические свойства источника существенны для историка лишь в отношении с другим эмпирическим объектом — элементом исторического прошлого. Итак, пер-

вечно и исходное отношение, с точки зрения которого только и может быть понят исторический источник, есть отношение некоторого фрагмента действительности x (им историк может оперировать актуально) к другому фрагменту реальной действительности — y (последним, конечно, актуально оперировать историк не может). Отсюда следует, что необходимым условием решения историком его задач является наличие у него некоторого описания системы, в рамках которой данный x задан относительно y , т. е. исторического прошлого.

Поскольку исторический памятник всегда есть объект, полученный вне и независимо от задач, которые ставит перед собой историк, возникает необходимость в особой, промежуточной по отношению к этим задачам, деятельности, основная цель которой — установить связи и отношения исторического остатка с действительностью исторического прошлого. Это и есть область работы источниковеда. Исторический источник, по сути дела, продукт деятельности источниковеда. При этом смысл работы источниковеда не меняется от того, имеет ли он в виду историка с его потребностями, или он интересуется историческим памятником самим по себе. И в том, и в другом случае источниковед описывает систему отношений памятника к прошлому, ибо без этого нельзя определить его как исторический памятник. По справедливому замечанию Д. А. Авдусина, историк «как бы создает источники своего исследования»³⁶. Или, как утверждает М. К. Макаров, «исторический источник — это исторический памятник, но уже определенным образом препарированный»³⁷. Из всего этого, между прочим, следует также, что источниковедение и собственно историческое исследование действительно во многом совпадают друг с другом, так как и историк, и источниковед пользуются одним и тем же набором представлений об историческом прошлом, используют одни и те же исходные модели.

Работа источниковеда обычно характеризуется в историографии как «критика» и «интерпретация» источников. В их русле ставится и решается большое количество конкретных задач. Например, определяется подлинность или подложность памятника, является ли он оригиналом или копией, устанавливается содержание текста памятника, восстанавливается правильное чтение текста, определяется время составления памятника, место его возникновения, устанавливается имя автора памятника, достоверность сообщаемых сведений и т. д.³⁸ При этом вопрос об этапах работы источниковеда, ее подразделениях и связях традиционно

остается в историографии предметом постоянных дискуссий³⁹.

Понятно, однако, что, двигаясь в русле гносеологического (методологического) анализа, необходимо рисовать картину работы источниковеда, используя иные представления и понятия, не совпадающие с теми, которыми пользуется источниковед. Так, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что вся совокупность решаемых источниковедом конкретных задач (по крайней мере, большая часть их) в конечном счете сводится к описанию системы, в которой данный материал определен через его отношение к историческому прошлому. Именно наличие такого описания позволяет, с одной стороны, распознать данный материал адекватным для историка способом, с другой — использовать его как источник в предмете собственно исторического исследования.

Рассмотрим фрагмент работы Л. Ф. Силантьевой «Некрополь Нимфея», в которой исследуется один из некрополей Керченского полуострова. «Погребения с сожжением, применявшиеся в некрополе Нимфея, — пишет она, — представляют собой греческий обряд, известный с древних пор как в собственно Греции, так и в греческих центрах Малой Азии. Обряд сожжения упоминается уже в „Илиаде“ при описании похорон Патрокла и Гектора. Если сожжение тела Патрокла можно было бы считать вынужденным, так как прах погибшего героя нужно было отвезти на родину, то погребение Гектора, напротив, говорит об обычности этого обряда при захоронении знатных лиц Трои:

Вынесли храброго Гектора с горестным плачем тroyане;
Сверху костра мертвеца положили и бросили пламень...
Сруб угасил багряным вином, оросили пространство
Все, где огонь развивался пылающий; после на поел
Больше кости героя собрали и братья и други,
Горько рыдая, обильные слезы струя по ланитам,
Прах драгоценный собравши, в копч золотой положили,
Топким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим,
Так опустили в могилу глубокую и, заложивши,
Сверху огромными частыми камнями плотно устлали;
После курган насыпали... (*Илиада*, 24, 784—800).

Описание похорон Гектора замечательно тем, что оно дает яркую и полную картину всего обряда, о котором на основании археологических данных, т. е. сохранившихся остатков погребений, мы имеем только некоторое представление... Из приведенного описания видно, что погребальный обряд состоял из следующих друг за другом действий: 1) сожжение покойного на срубе, 2) собирание жженого праха в

урну, 3) помещение урны в могилу, 4) закладка могилы камнями, 5) возведение насыпи кургана. То же самое показывают нам данные раскопок некрополей Боспора, в том числе Нимфея. 1. Остатки обуглившихся больших брусьев дерева в кострищах свидетельствуют о наличии сруба. 2. Урны, наполненные жжеными человеческими костями, показывают, что последние были собраны из кострища. Правда, вместо „золотого ковша“ применяются в качестве урны большие аттические расписные вазы и другие глиняные или бронзовые сосуды. Покрываются они конусом остродонной амфоры, чтобы ослабить силу давления лежащей сверху земли. Трудно что-либо сказать о применении покрова, упомянутого в Илиаде, так как ткань, осли и употреблялась при погребении, скорее всего не сохранилась. Но что урны в некрополе Боспора иногда покрывались тканями, доказывает открытие в 1834 году одной бронзовой гидрии в некрополе Пангикапея, которая была украшена гирляндой живых цветов и покрыта прозрачной тканью, расставшейся в прах на глазах исследователей.

3. Нередко урны находят в специально вырытых для них углублениях (могилах), покрытых сверху плитами или выложенных камнями.

4. Закладка могилы огромными камнями более обычна при погребениях в каменных гробницах.

5. В большинстве случаев в некрополе Нимфея погребения с обрядом сожжения связаны с курганными насыпями.

Следует обратить внимание еще на одну особенность погребального обряда, описанного Гомером, именно — на заливание кострища вином перед собиранием в урну праха покойного. Не может ли эта черта объяснить скопление большого количества битых амфор, а также и целых кругов из амфор, открываемых в насыпях курганов, где применялся обряд сожжения? Не служили ли эти амфоры для хранения вина, предназначенного для заливания кострища? Не случайно, по-видимому, и постоянное пахождение в насыпях курганов больших битых кратеров⁴⁹.

Поскольку этот пример взят из области археологии, сразу оговоримся, что археологию мы будем рассматривать (п это не противоречит современным научным представлениям) как разновидность историографии. Сошлемся хотя бы на следующее утверждение: «В зависимости от вида источника, — пишет Ю. Н. Захарук, — исторические науки подразделяются на собственно историю, изучающую историю человеческого общества преимущественно на основании письменных источников, и археологию, изучающую конкретные

общества прошлого на основании источников вещественных. В этом единство и различие предметов истории и археологии⁴¹. Аналогичные высказывания можно найти в работах Г. Чайлда⁴², Д. А. Авдусина⁴³ и др.

Обратимся теперь к анализу самого цитированного текста. С нашей точки зрения, зафиксированная в нем работа исследователя в общем и целом относится к предмету источниковедения. Действительно, основная цель этой работы — интерпретация материала археологических раскопок, имеющего отношение к греческому обряду погребения, который (по выражению Л. Ф. Силантьевой) и «представляет собой» этот греческий обряд. Одни элементы археологического материала определяются автором как сруб, другие — как погребальные урны, третьи — как каменная кладка и т. д. Наконец, по поводу тех элементов, которые не удалось определить, высказана гипотеза, что это — амфоры для заливания кострища вином.

Как же строится познавательная процедура, на основании которой сделаны указанные выводы? Суть ее заключается в том, что археологический материал, имеющийся в распоряжении исследователя, сопоставляется с некоторым образцом, или «объектом-дифференциатором». В данном случае функцию дифференциатора выполняет описание погребального обряда из «Илиады». Иными словами, гомеровское описание греческого погребального обряда используется как средство познания.

Важно, что в процедуре сопоставления имеющегося у источникововеда материала с образцом реально используется не весь набор параметров дифференциатора, а лишь часть из них. Не случайно описание похорон Гектора рассматривается как более полное, чем описание любых археологических раскопок. В этой способности сопоставления памятника с объектом-дифференциатором следует искать корни весьма распространенного в историографии представления, что источник есть «часть» прошлой действительности. Оно возникает в результате опредмечивания описанной выше познавательной процедуры в рефлексии источникововеда.

Таким образом, эмпирический объект источникововеда отождествляется не со всем «полем» объекта-дифференциатора, а лишь с его частью. Это может стать предпосылкой ошибок, опасность которых при определенных условиях сводится к минимуму, однако полностью не исключается. Дело в том, что разные объекты-дифференциаторы могут иметь одинаковые фрагменты, и потому возможны ошибки по крайней мере четырех видов.

Так, одна из возможных ошибок — назовем ее «ошибкой модернизации» — совершается тогда, когда археологический материал по некоторым признакам отождествляется с объектом, никоим образом не характерным для исследуемой эпохи, а относящимся к более позднему времени. Примером здесь может служить эпизод с так называемыми «раскрашенными гальками». В 1887 г. в пещере Мас-д-Азиль, в Пиренеях, французским археологом Эдуардом Пьеттом было обнаружено большое количество испещренных различными рисунками обычных речных галек. Пьетт истолковал эти рисунки как цифры, буквы алфавита либо как просто опыты рисования красками, а весь памятник — как огромную первобытную школу. Но другие исследователи опровергали этот вывод с помощью ссылки на верования современных отсталых народов, у которых подобные предметы являются элементами первобытного культа⁴⁴.

Другая ошибка — назовем ее «ошибкой арханизации» — совершается тогда, когда совсем не древний объект (в силу опять-таки совпадения ряда признаков) трактуется как археологический памятник. «Осколки камня, получаемые при выработке каменных орудий, — писал В. А. Городцов, — обыкновенно несут определенные признаки искусственного откола их рукою человека и поэтому служат хорошим признаком мастерских каменных орудий. Но осколки кремня с такими же признаками получают и при современном сооружении молотилок в виде деревянных широких полозьев, подбитых кремнями, обсидианом и другими камнями. Очевидно, найдя осколки кремня на месте современного сооружения молотилок и сравнив их с осколками доисторических мастерских, мы сделаем большую ошибку, если заключим, что как те, так и другие являются остатками мастерских каменных орудий»⁴⁵.

Третья ошибка — назовем ее «ошибкой социализации» — случается тогда, когда объект природного, естественного происхождения интерпретируется как социальный и рассматривается в качестве археологического памятника. Так, следы зубов, оставленные на костях морскими плотоядными животными, очень похожи на следы деятельности человека. Речная галька получает форму, напоминающую первобытные орудия, в результате действия быстрого течения реки и ударов о камни. Этим была вызвана, например, дискуссия, длившаяся более полустолетия, — спор о так называемых «эолитах»: считать ли их делом рук человека или результатом природных процессов.

Из сказанного следует, что возможен и четвертый вид ошибок — «ошибка натурализации», когда исторический па-

мятник, продукт человеческой деятельности; рассматривается как природное образование.

Итак, содержание рассматриваемой познавательной процедуры заключается в сопоставлении имеющегося в распоряжении источниковеда эмпирического объекта с объектом-дифференциатором (эталоном). При этом, хотя эмпирический объект и объект-дифференциатор в целом отождествляются, источниковед может сопоставить со своим эмпирическим объектом лишь часть параметров эталонного объекта. В результате источниковед начинает рассматривать исследуемую действительность как состоящую из двух фрагментов. Характер одного из них определяется всем выбранным для сопоставления объектом-дифференциатором, характер другого — лишь той «областью» дифференциатора, которая непосредственно участвует в операции отождествления с эмпирической данностью источниковеда. В рефлексии источниковеда один из этих фрагментов интерпретируется как «часть», «остаток», «след» второго.

По мере развития источниковедческой практики происходит фиксация объектов-дифференциаторов, обычно применяемых в исследовании. В них фиксируются те признаки, которые непосредственно используются в процедуре отождествления. Это может быть определенный вид каменного орудия, почерка, формуляра документа, словесно-сборная герба и т. д. Отождествляя свой эмпирический объект с таким объектом-дифференциатором, источниковед относит к объекту исследования знания, связанные с дифференциатором.

Исторически сложившийся в источниковедении набор объектов-дифференциаторов мы будем называть «алфавитом» дифференциаторов. В источниковедении он представлен в виде особых описаний, или «прописей», которые даются как тексты на естественном языке и часто сопровождаются изображениями (рисунок или фотография). Примером «прописи» может служить следующий текст: «Для позднего ашеля характерна более полная срабатываемость нуклеусов, их более четкая форма. Они становятся округлыми или овальными. Ударная площадка предварительно выравнивалась. Отщепы получали форму, приближающуюся к равносоставленному треугольнику»⁴⁶.

Приведем еще один пример «прописи», взятый нами из палеографии — области работы с письменными документами, которые анализируются с точки зрения особенностей их почерка. Он представляет собой описание одного из видов западно-европейского письма: «В письме первой полови-

ны XIII в. еще чувствуются отдельные связи с каролингским минускулом, хотя все „готические“ признаки уже явны. Письмо сохраняет четкость и хорошо читается. Буквы вытянуты вверх, но их выносные еще достаточно возвышаются над строкой (пропорция ширины и высоты 2 : 3). Буквы сжаты, однако они стоят достаточно свободно и часто изолированы друг от друга. Расстояние между строками равно одному корпусу буквы, расстояние между словами сократилось, но его хватает для того, чтобы слово могло быть выхвачено глазом из строки. Характерно большое количество почти закругленных линий: полукруглая *b*, *c*, *d*, *e* и очертания буквы *o* закруглены, с небольшим изломом у основания»⁴⁷.

«Алфавиты» эталонов и «прописи» входят в инструментарий источниковедов, усвоение их обязательно для специалиста. Не случайно известный археолог конца прошлого века Флендерс Петри писал: «Наиболее ценным из всех приобретений археолога является опыт. Без твердого знания всех предметов, с которыми мы обычно сталкиваемся в любой древней цивилизации, он не в состоянии понять значение и проникнуть в смысл всего того, что встает на его пути, и нередко впадает в самые нелепые ошибки. Слишком часто облако у него бывает „очень похоже на кита“; повсюду в дохристианскую эпоху он находит крест, выпрямитель древков стрел принимает за церемониальный жезл, пресс для выжимания масла за священный камень, негритянский знак «полшакала» называет „цикадой“, а оправка токарного станка превращается у него в какие-то „обугленные монеты“»⁴⁸.

Формирование различных наборов объектов-дифференциаторов избавляет от долгих поисков таких объектов, необходимым становится и непосредственное, предметное сопоставление эмпирического объекта и дифференциатора. Действительно, в процессе подготовки источниковеда «алфавиты» дифференциаторов становятся достоянием его памяти, т. е. игнорируются. Поэтому его работа, если взглянуть на нее со стороны, может показаться простым наблюдением. Однако выводы из такого наблюдения окажутся совершенно непонятными неспециалисту. Он не увидит в материале памятника того, что видит источниковед. Напротив, для специалиста фиксируемые в наблюдении черты и признаки эмпирического объекта полны значения и «говорят» ему о времени и месте возникновения памятника, его подлинности или подложности и т. д. Деятельность источниковеда в данном случае ничем принципиально не отличается от деятель-

ности распознавания знаков. Действительно, с точки зрения, например, В. А. Городцова, «все эти действия и падеваются чтением (курсив наш.— Г. А.) археологических памятникон на листах (слоях) почвы. Это чтение должно быть столь же точно и связано, как чтение обыкновенной книги. При этом не требуется никаких субъективных вмешательств исследователя, так как каждое явление, каждая вещь должны говорить сами за себя, как буквы и слова, написанные на листах бумаги, говорят читателю все, что им вменено сказать»⁴⁹.

Однако как только историконведу встречается объект, которому нет соответствия в существующем на данный момент «алфавите» объектов-дифференциаторов, познавательные процедуры осуществляются в полном объеме, причем в экстерниоризованном виде. Историконвед начинает поиски уже ассимилированного историческим познанием объекта, с которым можно было бы отождествить исследуемый эмпирический объект, и осуществляет эту операцию актуально, на предметном уровне.

Подтвердим сказанное примером из книги К. Ф. Смирнова «Савроматы». Во многих савроматских погребениях Самаро-Уральской области были найдены каменные столики или блюда, определение которых оказалось затруднено. Вывод, что савроматские блюда представляют собой культовые предметы — жертвенники или алтари, связанное с культом огня, был сделан на основании их отождествления с подобными, уже исследованными объектами других культур. Но «больше других напоминают савроматские алтари на четырех ножках известные алтари огня древнего Ирана в Накш-и-Рустеме и Насаргадах. Они прямоугольной формы, имеют по углам массивные полуколонны на прямоугольных базах. Эта иранская группа ахеменидских алтарей, вероятно, оказала определенное, хотя, может быть, и опосредованное, влияние на создание савроматских алтарей, которые в миниатюре повторяют основные детали их формы. Иранские аналогии лишней раз подтверждают связь некоторых савроматских переносных алтарей с культом священного огня»⁵⁰.

Аналогично обстоит дело и с дешифровкой текста на неизвестном языке. Историконвед вынужден прибегать к порой очень сложной процедуре отождествления такого текста с текстом на известном языке, причем зачастую он начинает с предметного отождествления, скажем, формы и способа написания текста. Так, при дешифровке египетской письменности значение картушей (овалов, которыми обводились

определенные группы иероглифов) было понято лишь после отождествления их с аналогичными «овалами» в китайских памятниках письменности, где они «обрамляли либо собственное имя, либо титул»⁵¹.

Пример с дешифровкой египетского письма показателен и в другом отношении. Известно, что понять его удалось благодаря Розетскому камню, содержавшему одну и ту же надпись на известном (греческом) и неизвестном древнеегипетском языках. Отождествление содержания текстов позволило расшифровать смысл иероглифов. Вот как писал об этом сам Шампольон: «...имя Клеопатра и имя Птолемей, имеющие в греческом несколько одинаковых букв, следовало привлечь для сравнительного сопоставления иероглифических знаков, из которых состоит и то, и другое; и если бы оказалось, что одинаковые знаки в указанных двух именах выражали и в том и в другом картуше одни и те же звуки, тем самым была бы установлена полностью фонетическая природа этих знаков»⁵².

Какие же представления об источнике должны складываться у историка и источникововеда в ходе их работы? Думается, что все изложенное выше позволяет сделать несколько выводов. (Речь при этом пойдет о некоторой идеализированной ситуации, т. е. об исследователях, которые не делают абсолютно ничего за пределами своих непосредственных обязанностей.)

Историк, во-первых, не может обойтись без структурно-функциональных представлений об источнике, ибо эти представления, как мы уже видели, входят в систему его деятельности в качестве необходимого элемента. Без этих представлений он не мог бы интерпретировать полученный эмпирический материал. Во-вторых, он не может обойтись без представлений морфологических, ибо только по материалу он и может отличить источник от неисточника, поскольку структурно-функционально источник определен в той действительности, с которой историк не может иметь непосредственного контакта, а эмпирически доступные связи текущего дня не определяют объект как источник. Наконец, историк необходимо имеет и функциональное представление обо всех без исключения элементах своей деятельности, ибо это как раз и есть тот алгоритм, в соответствии с которым он действует.

Итак, историку необходимы все три типа характеристик источника, причем каждый из них предназначен для решения вполне определенных задач и поэтому относительно обособлен от других. Структурно-функциональные представ-

ления не отменяют представлений функциональных, функционально-морфологических — структурно-морфологических. Все эти подходы в равной степени правомерны и необходимы, и потому их нельзя упорядочить по степени развития от низшего к высшему. Историк не заинтересован в том, чтобы свести их воедино. Кроме того, он имеет свои особые цели и от него нельзя требовать обоснования и систематизации представлений об источнике. Именно по этой причине столь распространены в литературе смешанные определения, в которых разные аспекты и подходы объединены чисто механически, но это и есть видение историка. Оно вполне естественно в рамках исторического исследования.

Однако деятельность источниковеда протекает по-иному. Если историк изучает историческую действительность типа обществопо-экономической формации, то источниковед изучает источники или, точнее, те ситуации, в которых они объективно существовали. Это его область исследований, и ответ на вопрос, какие представления об источнике должны складываться у источниковеда, в свою очередь, зависит от того, как будет определен предмет источниковедения.

Во-первых, источниковедение можно трактовать как область деятельности, продукт которой составляют источники. Исследователь выступает здесь как источниковед-практик. Он должен описать систему, в которой данный материал определен через его отношение к прошлому. Лишь наличие такого описания позволяет использовать памятник в качестве исторического источника. Кроме того, материал памятника необходимо сделать пригодным для оперирования, т. е. «включить» его и в систему связей и отношений с прошлой действительностью, и в систему связей самого исторического исследования. Именно этот тип источниковедческого исследования был рассмотрен выше. Правда, мы не проводили специального анализа еще одного необходимого компонента деятельности источниковеда-практика, а именно системы интерпретационных правил, или «предписаний», которыми он руководствуется в своих выводах, например определяя подлинность или подложность памятника (что не меняет, однако, сути дела).

Во-вторых, источниковед в то же время является и разработчиком методов источниковедческого анализа, т. е. исследователем-методистом. В этом случае он занимается обобщением деятельности источниковеда-практика, выявлением общих принципов, которыми тот руководствуется. К материалу исторических памятников он обращается лишь постольку, поскольку это необходимо для разработки методов источниковедческого анализа.

Наконец, в-третьих, речь может идти о дисциплине, в которой объектом исследования становится исторический памятник. В этом случае исследователь не рассматривает его как источник, а видит в нем самостоятельное явление прошлого.

Первые два варианта не требуют от исследователя каких-либо иных представлений об источнике, нежели те, которые имеются у историка. И только в третьем случае принципы определения исторического источника выступают как генетически связанные и сменяющие друг друга. С одной стороны, это должно означать отказ от чисто утилитарного рассмотрения исследуемой реальности, т. е. интерпретации ее лишь как источника, с другой — необходимость построения исходной принципиальной модели изучаемого объекта. Как уже сказано, для историка подобную роль играет представление об общественно-экономической формации. Нечто аналогичное должен построить исследователь и в данном случае, если он претендует на развертывание соответствующей эмпирической науки. Перед ним стоит задача представить свой объект в виде некоторой целостной, относительно замкнутой и специфической системы, что позволило бы придать статус самостоятельности всему источниковедческому исследованию.

§ 4. Источник как объект гносеологического исследования и его структура

Если историк изучает историческую действительность, то методолог изучает историка за его работой. «С позиций теории, — подчеркивает, например, Г. А. Подкорытов, — мы наблюдаем за действием предмета в действительности, с позиций же метода — за поведением исследователя в процессе познания предмета»⁵³. Однако, определив подобным образом позицию методолога, мы все равно должны будем ответить на вопрос: как описывать познавательную деятельность ученого, и в частности исторический источник?

Казалось бы, больше всего должно удовлетворить гносеологию чисто функциональное определение источника. С одной стороны, очевидно, что гносеолог не может претендовать на выяснение связей, например, древнего манускрипта с прошлым в развитии общества или тем более на определение особенностей бумаги, почерка и т. д. Иными словами, структурно-функциональные и морфологические характеристики источника лежат, строго говоря, за пределами компетенции гносеолога. С другой стороны, если считать,

что основная сфера его интересов — структура познавательной деятельности, ее средства и методы, то именно функциональная характеристика выражает этот аспект источника, его место в научном исследовании.

Такой подход может представляться еще более обоснованным в свете аналогий с определенными другими гносеологическими объектами, сопоставимых по их роли в научном исследовании с источником, таких как знак, прибор, модель и т. д. Чаще всего они носят функциональный характер. Конечно, подобные определения включают, как правило, и структурно-функциональную характеристику. Но и здесь очевидно, что она находится за рамками предмета методологического анализа.

С точки зрения В. А. Штоффа, например, моделью можно назвать «любую систему, мысленно представляемую или реально существующую, которая находится в определенных отношениях к другой системе (называемой обычно оригиналом, объектом или натурой) так, что при этом выполняются следующие условия: 1. Между моделью и оригиналом имеется отношение сходства, форма которого явно выражена и точно зафиксирована (условие отражения или уточненной аналогии). 2. Модель в процессах научного познания является заместителем изучаемого объекта (условие репрезентации). 3. Изучение модели позволяет получать информацию (сведения) об оригинале (условие экстраполяции)»⁵⁴. Аналогичным образом в определениях прибора подчеркивается, во-первых, что «в любом случае прибор представляет собой некоторый материальный предмет, взаимодействующий с объектом исследования»⁵⁵, во-вторых, что он есть «средство наблюдения», «орудие эксперимента»⁵⁶.

Примечательно, что наиболее распространенные определения знака также носят чисто функциональный характер. Так, у А. А. Ветрова читаем: «Чувственно воспринимаемый предмет, указывающий на другой предмет, отсылающий к нему организм или машину, называется знаком этого предмета, а сами ситуации, в которых один предмет функционирует в качестве знака другого предмета, называются знаковыми ситуациями»⁵⁷. Тем не менее такое понимание модели и знака не вполне приемлемо. Укажем хотя бы на то, что с чисто функциональных позиций исторический источник нельзя отличить от прибора, модели, знака и т. д. Более того, с таких позиций нельзя различить источник и вообще всякое другое историческое сочинение, скажем текст автора, являющегося коллегой исследователя, содержание которого проливает некоторый свет на события прошлого. В историко-

графии такого рода тексты принято называть «пособиями». «От исторического источника, — писал М. Н. Тихомиров, — следует отличать историческое пособие, основанное на том или другом историческом источнике», хотя разделение это условно: «один и тот же исторический памятник может являться и пособием, и источником»⁵⁸.

Вероятно, для специалиста-историка это разделение — не столь уже принципиальный вопрос, ибо он всегда имеет вполне определенное мнение об объекте. Напротив, гносеолога может удовлетворить лишь однозначное типологическое решение, так как это и есть критерий эффективности его собственных средств анализа.

С аналогичными затруднениями мы сталкиваемся еще по крайней мере в двух случаях. Известно, что и «первоначальный» историк, и летописец широко использовали в своей деятельности разные документы, свидетельства очевидцев и т. д. Но можно ли сказать, что они пользовались ими как источниками? С позиций сугубо функционального задания источника ответ должен быть положительным. Однако это противоречит реальному положению дел. «В своем отношении к историческому источнику, к своему материалу, — писал Н. А. Рубинштейн, — автор Степенной книги стоит на одних методологических позициях с летописцем-сводчиком. Он не отделяет своего источника, документального материала, текста предшествующего автора от своей авторской трактовки. Ему чужда самая проблема источника, а значит, и самые элементарные предпосылки исторической критики, без которой нет и науки. Только раньше, в летописях, источник подчинял себе автора, теперь авторская схема произвольно разбивает реальную связь документального материала»⁵⁹. Таким образом, применительно к ранним формам историографии об историческом источнике можно говорить лишь условно.

Наконец, тесно связан с этим вопросом и вопрос о принятом в историографии делении источников на «остатки» и «традиции», или (что фактически то же самое) на «непосредственные» и «косвенные» источники. Здесь опять-таки мы сталкиваемся с невозможностью провести однозначное различение исходя лишь из функционального расчленения. Отсюда и происходит, видимо, отмечаемое в литературе противоречие: многие источники считаются одновременно и «традициями», и «остатками»⁶⁰.

Сошлемся еще на одно обстоятельство, показывающее недостаточность чисто функциональных характеристик. Источник с этой точки зрения выступает как нечто эфемерное

и неуловимое, как нечто появляющееся и исчезающее в зависимости от того, включен некоторый объект в акт исследовательской деятельности или не включен. С этой позиции рукописи, лежащие на полках архива, не могут рассматриваться как источники до тех пор, пока не попадут в руки ученого. Мы в таком случае можем говорить о структуре деятельности историка или источниковеда, но не о структуре самого источника. Мы не найдем в нем ни структуры, ни материала, ни самостоятельного бытия.

Итак, что же такое источник с точки зрения теории познания? Что делает некоторую вещь источником независимо от того, лежит ли он в витрине музея или на письменном столе историка? Очевидно, что ответ здесь сводится к следующему: источник становится источником только в системе исторического исследования, где его функция социально зафиксирована. Найденный случайно манускрипт превращается в исторический источник отнюдь не потому, что он просто попал в руки историка. Источником он становится благодаря деятельности источниковеда или историка, выступающего в качестве источниковеда. В нем «кристаллизовалась» предшествующая деятельность источниковеда. Эта деятельность никак не изменила физико-химических свойств данного объекта (исключая процедуры реставрации, консервации и т. п., не являющиеся, строго говоря, познавательными), но только благодаря ей некоторый материал стал источником. В этом смысле источник — вещь «чувственно-сверхчувственная», подобная товару в Марксовом политэкономическом анализе. В нем аккумулирован предшествующий опыт, и поэтому он обладает свойствами, которые никак непосредственно не связаны с его телесной сущностью. Причем обязательным условием является существование системы историографического исследования, воспроизводящей себя в виде некоторого целого. Необходимо также, чтобы использование источников в историографическом исследовании стало постоянно повторяющимся отношением. Именно последнее санкционирует, закрепляет, иначе говоря, нормирует функцию данной вещи — быть источником.

Итак, какие же элементы включает в себя гносеологическая структура исторического источника?

Во-первых, это знания о том, в какую область прошлой действительности данный памятник был включен, с какими обстоятельствами связано его возникновение и т. д. Наличие таких знаний позволяет переходить от описания тех или иных особенностей «тела» источника к описанию исторического прошлого. С этой точки зрения знания о связях источ-

ника с прошлой действительностью оказываются составными элементами его структуры.

Во-вторых, без осознания того, что данный объект есть средство изучения исторической реальности, нет источника. Источник не просто вещь, данная нам в виде конкретного материала, он есть вещь с закрепленными в рефлексии функциями. Поэтому функциональные представления — тоже элемент структуры источника.

Необходимым условием «существования» исторического источника, без которого гносеологическая структура «рассыпается» и источник не удастся представить как стабильное, постоянно воспроизводящееся явление, служит система исторического исследования и исторической науки. Из этого, в частности, следует, что данный документ может лежать на полке архива, но оставаться источником, поскольку в обществе сложилась и постоянно поддерживается система историографической деятельности, т. е. лишь в том случае, если рассматриваемый документ «впитал» предшествующую деятельность источниковеда.

Сказанное позволяет, в свою очередь, сделать несколько выводов относительно принципиальных особенностей гносеологической характеристики источника.

1. Гносеологическая интерпретация источника не совпадает и не должна совпадать с той его интерпретацией, которая дается в трудах историка и источниковеда. Для них источник — это вполне конкретная вещь с конкретными особенностями материала, времени и места возникновения и т. д. Для методолога же источник есть особого рода вещь, гносеологический феномен, свойства которого нельзя обнаружить ни под каким микроскопом. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся в политической экономии. Указав на конкретную вещь, мы демонстрируем здесь не товар, а потребительную стоимость. Продемонстрировать товар, задать его морфологию — значит указать не вещь, а общественное отношение. Известно, что К. Маркс относил изучение товара как вещи (потребительной стоимости) к предмету особой научной дисциплины — товароведения⁶¹, не совпадающего с собственно политэкономическим анализом товара. С точки зрения гносеологического анализа материал исторического памятника — это лишь «вещная оболочка» источника, носитель его специфических свойств. Непонимание данного обстоятельства всегда приводило и приведет историографов к фетишизации источника.

2. По отношению к сложившимся в историографии определениям источника его гносеологическое описание высту-

пает в особой функции — функции «объекта-конфигуратора». Другими словами, оно выступает в качестве системы, позволяющей совместить сложившиеся в историографии определения источника, логически непротиворечиво их связать.

3. Отмеченные выше моменты, характеризующие теоретико-познавательный подход к рассмотрению источника, могут быть использованы при анализе других средств познания, таких, в частности, как прибор и модель. Мы вправе предположить, что указанные объекты имеют однотипную источнику структуру. И в этом смысле нельзя не согласиться, например, со следующим рассуждением: «Если уже у первообытного человека и тем более у патурфилософов Древней Греции мы сталкиваемся с явлениями, которые могут быть сейчас названы моделями, то это отнюдь не значит, что у них имели место метод и деятельность моделирования. Формирование последних тесно связано с рефлексивным осознанием того, что такое модель и какова ее роль в познавательном процессе. Иначе говоря, до тех пор, пока нет представлений о моделировании, нет и моделирования как деятельности и как особого метода. Объекты, которые с нашей современной точки зрения являются моделями, функционировали в познании задолго до того, как человек осознал их роль и значение, но задача их специального построения не была тогда еще сформулирована, а следовательно, отсутствовала и особая, соответствующая этому деятельность»⁶².

Выше уже говорилось, что аналогичный вопрос возникает и применительно к источнику: включала ли деятельность «первоначального» историка и летописца источника как таковые? Более детально этот вопрос будет рассмотрен в следующих главах. Вернемся мы и к проблеме различения источников и пособий, остатков и традиций.

В заключение подчеркнем еще раз, что речь постоянно идет об «идеализированных» историке и источниковеде, точнее, о сферах их познавательной деятельности (в реальной действительности все выглядит, конечно, гораздо сложнее). Идеализация, как известно, играет важную роль в научном познании. Идеальную паровую машину, писал Ф. Энгельс, «нельзя осуществить, как нельзя, например, осуществить геометрическую линию или геометрическую плоскость», тем не менее она «оказывает, по-своему, такие же услуги, как эти математические абстракции: она представляет рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неискаженном виде»⁶³.

Поскольку в советской философской литературе представлены работы, в которых достаточно подробно проана-

лизированы функции научной идеализации⁶⁴, здесь нет необходимости специально обсуждать этот вопрос. Укажем лишь, что нет никаких реальных оснований для отказа от этого проверенного всем опытом современной науки приема исследования и в методологии, тем более что ниже исторический источник будет сопоставлен с другими средствами эмпирического анализа (весьма, конечно, отличающимися от него феноменологически).

ГЛАВА II

ИСТОЧНИК И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЭМПИРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

До сих пор, рассматривая источник, мы практически не выходили за рамки историографии. Источник рассматривался лишь как элемент именно исторического или историко-ведического исследования. Задача настоящей главы иная, а именно взглянуть на источник с некоторой общей позицией, обозначить его место в системе научного познания. Только в процессе такого сопоставления мы получим возможность отобразить его в системе теоретико-познавательных категорий. В противном случае представление об источнике как о гносеологическом феномене будет неполным, односторонним. Уместно сослаться и на традиционную для методологии истории проблему соотношения естественно-научного и исторического познания. Предлагаемое сопоставление источника с такими широко известными средствами познания, как прибор и модель, делает анализ указанной проблемы более предметным.

§ 1. Объекты-посредники в структуре эмпирического исследования

Рассматривая познание со стороны осуществляемых в нем реально процессов деятельности, исторический источник и подобные ему явления можно квалифицировать как средства научного познания. «Известно, — писал В. П. Коппинг, — что мышление возникает на базе труда, и в некотором смысле оно аналогично труду, как бы своеобразно повторяя его. В самом деле, труд предполагает: а) предмет природы, который нужно изменить с тем, чтобы он удовлетворял потребностям человека; б) орудия, которыми человек воздействует на этот предмет, и в) деятельность человека, при-

водящую в движение эти орудия. Мышление имеет: а) объект, на который оно направлено с целью его постижения; б) орудия мыслительной деятельности в форме ранее созданных понятий и в) самую мыслительную деятельность, приводящую человека к новым понятиям и теориям, т. е. созданию новых абстрактных объектов. Между орудиями труда и понятиями, используемыми в процессе мышления, как мы видим, существует некоторая функциональная аналогия. Те и другие являются средствами, инструментами деятельности человека, одни — материальной, а другие — духовной. Те и другие связаны с использованием предыдущего опыта; в одном случае результаты познания свойств и закономерностей природы материализуются в виде орудий труда, в другом — они в качестве категорий выступают ступеньками движения мышления»¹.

Таким образом, средства познания — это такие фрагменты процесса исследования, с помощью и посредством которых в рамках решаемой задачи получается конечный продукт исследования — научное знание. К средствам научного исследования (с этой точки зрения) должны быть отнесены и такие его компоненты, которые опосредуют саму постановку задачи. Давную функцию может, например, выполнять в познании общая теория исследуемого объекта. Как подчеркивается в философской литературе, система научных теорий «нигде не является самоцелью, она выступает средством решения каких-то задач»². То обстоятельство, что ученый ставит вполне определенные задачи, как раз и показывает, что их постановка чем-то обусловлена, нормирована.

Для историка в качестве такого нормативного средства постановки задач выступает в определенных случаях теория общественно-экономической формации или (шире) материалистическое понимание истории. С учетом той роли, которую играет исторический материализм в историческом исследовании, он есть «средство воссоздания, реконструкция конкретного и развивающегося исторического целого»³. Так, формулируя основную проблему своего исследования по истории средневековой Англии, Е. А. Косминский писал: «Не вотчина, не „манор“ станет в центре нашего исследования, и не в них мы будем видеть разгадку общественного строя средневековья. Таким центром у нас будет феодальный способ производства и феодальная рента как характернейшее выражение производственных отношений феодализма»⁴. В результате Е. А. Косминский далеко отошел от традиций своих предшественников — П. Г. Виноградова, Д. М. Петрушевского, А. И. Савица, для которых именно манор олице-

творял всю историю английского средневековья. Но смещение акцента исследования не было случайным: Космический применил иные средства познания. «Важнейшую путеводную нить в наших исследованиях,— подчеркивал он,— составляет метод марксизма-ленинизма, и прежде всего теория общественных формаций, смены господствующих типов производственных отношений»⁵.

Наряду с теоретическими средствами, которые определяют постановку целей исследования, в науке имеются средства, на базе которых создаются те принципы, понятия, идеальные объекты и т. д., которыми пользуется ученый. В научном познании исторически формируется некоторый набор исходных компонентов, из которых по определенным правилам конструируются научные модели. Это функциональное образование, существующее в теле науки,— ее своеобразный «конструктор» — определяет весь процесс научного исследования, что вполне соответствует известному положению: «Наука — прикладная логика».

С этой точки зрения представляется довольно односторонним мнение, «что наука... скорее открывает, чем изобретает, и что ученый скорее подобен Колумбу, нежели Аркрату»⁶. Действительно, «изобретение», конструирование занимают в научном познании едва ли не основное место. Для подтверждения этой мысли сошлемся на Луи де Бройля. «Что касается меня,— говорит этот физик-теоретик,— то я иногда поражаюсь сходству проблем, поставленных природой перед ученым, и проблем, возникающих при решении кроссвордов. Когда мы видим перед собой пустые клетки кроссворда, мы знаем, что какой-то ум, аналогичный нашему, разместил в этих клетках, согласно некоторым правилам, перекрывающиеся слова, и, пользуясь данными нам указаниями, мы пытаемся отыскать эти слова... ученый старается заполнить пустые клетки кроссворда природы так, чтобы образовались осмысленные слова»⁷. И подобные рассуждения в научной литературе не редкость. Так, Ричард Фейнман сравнивает «отыскание законов физики» с детской игрой в кубики, «из которых нужно собрать картинку»⁸.

Но откуда ученый берет чертеж «кроссворда природы»? Ведь ясно, что (в отличие от журнального кроссворда) он никогда ему не дается в готовом виде. Этот чертеж, т. е. научную картину мира, ученый конструирует из того набора теоретических средств, которые исторически сформированы наукой для нужд материальной практики. (Подчеркнем, что различие между каптовским априоризмом и диалектическим материализмом заключается не в признании или непризна-

нии таких средств познания, а в понимании их генезиса.)

Из сказанного следует, что к категории средств научного познания может быть отнесен широкий круг довольно разных явлений. Покажем это на конкретных примерах. «Органическая химия, — пишет Фейнман, — может поспорить с самыми фантастическими страницами детективных романов. Чтобы узнать, как расположены атомы в какой-нибудь невероятно сложной молекуле, химик смотрит, что будет, если смешать два различных вещества!» «Возьмет он две пробирки с веществом, сольет их содержимое и смотрит: если смесь покраснела, значит, к такому-то месту молекулы прикреплен один водород и два углерода; если посинела, то... то это ничего не значит». «Да физик ни о чем не поверит, что химик, описывая расположение атомов, понимает, о чем говорит. Но вот уже более 20 лет, как появился физический метод, который позволяет разглядеть молекулы... и описывать расположение атомов не по цвету раствора, а по измерению расстояний между атомами. И что же? Оказалось, что химики почти никогда не ошибались!»⁹

Если это перевести на абстрактный философский язык, мы опять-таки придем к представлению об опосредованном характере эмпирического познания. В самом деле, объектом исследования для химика являются молекулы, их структура. Именно относительно молекул он формулирует свои вопросы и именно к ним отсылает полученные знания. Но непосредственно он имеет дело отнюдь не с молекулами. Объектами его наблюдения и экспериментирования, т. е. эмпирическими объектами, служат конкретные вещества и их макроскопические видоизменения. В ходе исследования можно поэтому выделить две функционально различные группы элементов: объекты исследования и эмпирические объекты. В рассмотренном случае объект исследования непосредственно недоступен для изучения, знания о нем — это продукты обработки и интерпретации результатов наблюдений и экспериментирования с эмпирическими объектами. Последние, следовательно, выступают здесь как элементы-посредники, а все исследование приобретает опосредованный, двухступенчатый характер. Непосредственно описывается некоторое явление x , но это имеет смысл не само по себе, а лишь постольку, поскольку результаты можно интерпретировать относительно другого явления y . Именно элементы и структуры такого типа и будут нас в дальнейшем интересовать.

Очевидно, однако что представление о посредниках в эмпирическом познании в той форме, как это было изложено, явля-

ется очень общим и охватывает факты, которые в других отношениях существенно отличаются друг от друга. Нетрудно, например, показать, что любое приборное исследование аналогично тому, которое описывает Р. Фейнман. Показания прибора важны нам не сами по себе, а лишь как проявление некоторого другого объекта. Исторический источник, работая с которым историк пытается воссоздать события далекого прошлого, — это тоже посредник, в рамках общей схемы ничем не отличающийся от прибора. В такой же степени это относится и к исследованию какого-либо явления с помощью метода моделирования. «Тот предмет, — пишут И. Б. Новик и А. И. Уемов, — который непосредственно исследуется, называется моделью, а тот предмет, на который переносится информация, полученная при исследовании модели, называется прототипом. Наряду с термином «прототип» употребляются также термины «образец», «оригинал» и т. д. Модель в процессе познания выступает как некоторый заместитель своего прототипа, по той или иной причине недоступного непосредственному исследованию»¹⁰. Разумеется, моделирование имеет место не только в эмпирическом, но и в теоретическом познании. Мы в данном случае имеем в виду эмпирические модели, т. е. такие, анализ которых предполагает процедуры эксперимента и наблюдения.

Итак, и прибор, и модель, и исторический источник — все это объекты-посредники и потому относятся к одной группе гносеологических явлений. И все же интуитивно достаточно ясно, что они существенно отличаются как друг от друга, так и от эмпирических объектов, описанных Фейнманом, причем отличаются не как-нибудь, а именно как гносеологические явления. Очевидно, например, что Фейнман описывает что угодно, но уж никак не моделирование. С этим, вероятно, согласится любой гносеолог, несмотря на всю неопределенность понятия «модель».

Приведем еще один пример, показывающий, насколько разнообразен круг явлений, иллюстрирующих опосредованный характер эмпирического познания. «Когда они, — говорил Платон о геометрах, — пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для диагонали, которую они начертили»¹¹. Платон впервые в истории гносеологии четко противопоставляет здесь реальные и идеальные объекты познания. С этим противопоставлением мы постоянно сталкиваемся и в современной науке.

Конечно, рассуждение Платона нельзя рассматривать как выявление структуры эмпирического исследования, ибо геометры в эту эпоху мыслили уже на достаточно высоком теоретическом уровне. Чертеж у них играл роль не эмпирического объекта, а знаковой модели. Однако в принципе приведенный пример может быть истолкован и в рамках общей схемы, которая нас интересует. Почти в каждой области знания мы сталкиваемся с описаниями некоторых объектов, которые были получены эмпирическим путем. Однако эти описания относятся не к тем или иным конкретным образцам, которые непосредственно изучались, а к некоторым классам объектов или к идеальным объектам исследования. Мы описываем, например, химический состав не тех конкретных образцов кварца или молибдена, которые фактически анализировались, описываем строение не той конкретной органической клетки, которая рассматривалась под микроскопом, а химический состав данных минералов вообще, строение клетки данного типа вообще и т. д. Здесь налицо, с одной стороны, эмпирические объекты x , а с другой — объекты исследования y , причем не все то, что может быть приписано x , переносится на y .

Приведенные примеры позволяют выделить по крайней мере три различных типа опосредования в эмпирическом познании. Везде речь идет об отношении «объект исследования — эмпирический объект». Но в первом случае, как, например, в факте Фейнмана, эмпирический объект — это проявление, феномен объекта исследования. Во втором случае они относятся друг к другу как модель и оригинал, в третьем — как реальный и идеальный объекты, или как идеальный объект и его реализация. Такое расчленение — первое, что бросается в глаза, однако его недостатки тоже в достаточной степени очевидны. Во-первых, не ясно, почему выделены именно три типа. Во-вторых, нет единого основания деления. В-третьих, настораживает возможность пересечения. Например, ничто не мешает тому, чтобы отношение «модель — оригинал» в ряде случаев совпадало с отношением реального и идеального объектов. Наконец, в-четвертых, явно требуется большая детализация, чтобы отличить, скажем, прибор от исторического источника и т. п. Все эти недостатки тесно друг с другом связаны и свидетельствуют о необходимости более глубокого анализа механизмов опосредования в эмпирическом познании. Попытка такого рода и составляет основное содержание дальнейшего изложения.

§ 2. Принципы сопоставления и классификации объектов-посредников

В нашей литературе давно обсуждаются вопросы, связанные с моделированием, с природой идеальных объектов науки, с ролью прибора в научном познании. Что же касается историографии и методологии истории, то здесь одна из центральных проблем — проблема определения, классификации, анализа функций исторического источника. Все эти вопросы интенсивно обсуждаются, но обсуждаются чаще всего порознь, в отрыве друг от друга. Между тем одна из актуальных задач современной методологии — задача сопоставления средств и методов разных наук — постоянно паталкивает нас в случае эмпирического исследования на сравнение источника и прибора, модели и идеального объекта, ибо они функционируют сходным образом, определены в рамках сходных структур познавательной деятельности. Сходство это сплошь и рядом может быть чисто внешним, но именно поэтому оно и бросается в глаза.

Нельзя сказать, что попытка подобного сравнительного анализа совершенно не представлена в литературе. «Если мы попытаемся изобразить схемы естественнонаучного и исторического познания,— пишет, например, И. А. Железнина,— то прежде всего увидим воэде взаимодействие субъекта и объекта. Объект историка — человеческое прошлое — непосредственно не наблюдаем. Между субъектом и объектом стоит исторический источник, который, с одной стороны, является непосредственным объектом познания историка, а с другой — своеобразной формой отражения объективного прошлого, субъективной постольку, поскольку всякий источник является продуктом человеческой деятельности. Опосредованное отражение, особенно на современном уровне развития научного знания, не является характерным только для исторического познания. Так, и физик не непосредственно наблюдает ядерные процессы, а судит о них лишь по показаниям приборов, физиолог изучает, например, глубокие нервные процессы через систему датчиков и т. д.»¹². Однако насколько можно судить, такие попытки скорее исключение, чем правило. К тому же подобные рассуждения не выходят за пределы крайне общей постановки проблемы.

В связи с этим возникает вопрос о путях анализа указанных явлений, объединенных в рамках единого представления об опосредованном характере эмпирического исследования, о путях сопоставления их как элементов-посредников.

Но прежде чем начать анализ данного вопроса, попытаемся предварительно выяснить, чем обусловлено само

свойственное эмпирическому исследованию отношение опосредования. Как нам представляется, его основу составляют определенные общие механизмы научного познания. Дело в том, что любой фрагмент реальности, становясь объектом научного исследования, тем самым приобретает как бы новую форму своего существования, отличную от той, которую он имеет, выступая в качестве объекта практической деятельности. Не случайно становление науки связано с формированием представлений об объектах «самих по себе». Превращаясь в объект исследования, некоторый элемент действительности берется в отношении к специфическим задачам познания, занимает место в системе связей, не совпадающих со связями и отношениями материальной деятельности. Действуя с объектом практической, мы можем изменить его материал, перемещать в пространстве и времени, воздействовать на него другими объектами и т. д. Оперировать подобным образом объектами исследования нельзя, так как само понятие «объект исследования» указывает лишь на функциональное место в системе научного познания.

По-видимому, впервые наиболее четко осознал это различие И. Кант, введший представление о «вещи в себе» и «вещи для нас». Однако, как известно, в кантовской философии это обстоятельство не получило последовательного объяснения, что послужило причиной критики Канта «слева и справа», т. е. и со стороны материалистов, и со стороны идеалистов¹³.

На основании сказанного можно считать, что специфика практических процедур, поскольку они включены в познавательные процессы, заключается в их направленности. Они становятся опосредующим звеном решения познавательных задач. Итак, отношение опосредования связано с относительной самостоятельностью познавательной деятельности, которая есть «деятельность в идеальном плане, деятельность с идеальными образами»¹⁴. Вследствие этого и предметные процедуры с реальной действительностью (оставаясь, конечно, формой материальной деятельности, практики) приобретают специфический характер. Последнее обстоятельство, собственно говоря, и нашло свое выражение в понятии научного эксперимента. «Эксперимент всегда — средство получения некоторой искомой информации, установления фактов, проверки гипотезы — словом, средство для решения определенной познавательной задачи или проблемы, — пишет В. А. Штофф. — Характер такой задачи или проблемы отличает эксперимент от других видов практики. Если целью производства является создание материальных благ, целью

общественной (революционной) деятельности — изменения в общественном строе, то цель эксперимента, в какой бы сфере он ни проводился, — решение определенных познавательных задач, теоретических проблем, поиски ответа на поставленные вопросы»¹⁵.

И действительно, как показывает история науки, эксперимент был вызван к жизни необходимостью решать специфические познавательные задачи и имел своим основанием рефлексию, осознание тех или иных чисто производственных эффектов. Характерно, что первые научные эксперименты по форме часто не отличались от тех актов производства, в рамках которых был обнаружен первоначально тот или иной эффект.

Вернемся теперь к вопросу о принципах сопоставления объектов-посредников. Из сказанного выше явствует, что попытка отличить один вид элементов-посредников от другого сразу же заставляет нас обращаться к связанным с ними онтологическим представлениям. Так, в случае моделирования это были представления о подобии объектов, у Фейнмана же — представления о связях между исследуемым объектом и его проявлениями. В сфере рефлексивного осознания источник, прибор, модель неразличимы. Хорошей иллюстрацией этого является практически полное совпадение имеющихся в литературе определений познавательных элементов-посредников. Поэтому именно онтологические характеристики могут служить основаниями для их спецификации, причем полнота такой классификации предполагает анализ первоисточников систем онтологических знаний, связанных с каждым из рассматриваемых средств научного исследования. Искать их нужно, вероятно, в историческом развитии практической деятельности людей.

Первое, что мы постараемся показать, это то, что основные отношения опосредования, с которыми мы выше имели дело, содержатся уже в наиболее простых и исходных процессах и структурах, связанных с материальной производственной деятельностью людей. Именно представление об общественном производстве в его простейших формах и будет исходной базой для анализа и сопоставления структур опосредования в познавательной деятельности. Следующий шаг — это выяснение путей дальнейшего усложнения и обособления этих структур, перенос их из сферы материального производства в сферу собственно познавательной деятельности. Очевидно, что в рамках настоящей работы этот масштабный процесс может быть рассмотрен только на уровне принципиальной схемы.

Материальную производственную деятельность, в какой бы примитивной форме она ни происходила, можно разбить на отдельные целенаправленные акты, связанные с переработкой определенного фиксированного материала в требуемый продукт. Эти акты не изолированы, а взаимодействуют друг с другом, так как продукт одного — обычно исходный материал или средство для другого. Иными словами, в деятельности можно выделить отношения производства и потребления, причем каждый акт в этом плане может быть рассмотрен с двух точек зрения — и как акт потребления, и как производственный акт. Наконец, вся эта система (и сами акты, и отношения между ними) должна постоянно воспроизводиться, т. е. повторяться с несущественными видоизменениями, и предполагает поэтому фиксацию, хранение и использование каких-либо алгоритмов, хотя бы и в виде навыков действий и вещественных образцов.

Сказанное позволяет выделить в деятельности три основных типа процессов. Во-первых, это технологические процессы, процессы переработки веществ природы и приспособления их к потребностям человека. Здесь те или иные природные объекты вступают во взаимодействие с другими объектами и орудиями труда и видоизменяются в этом взаимодействии. Технологическим процессам соответствуют поэтому определенные связи между объектами, которые опосредованы здесь деятельностью человека. Совокупности этих связей мы будем называть технологическими структурами. Процессы второго типа — это процессы распределения. В ходе воспроизводства деятельности потребляются все новые и новые элементы среды (в качестве исходного материала или средства) и, следовательно, эти элементы постоянно распределяются между различными актами деятельности. Производство в этом плане напоминает живой организм, избирательно перерабатывающий и ассимилирующий среду. Здесь тоже строятся отношения между объектами, состоящие в том, что они замещают друг друга в ходе воспроизводства деятельности. При этом один и тот же объект может быть последовательно, а иногда и одновременно включен в разные акты производства и потребления, выполняя несколько функций. Совокупность таких отношений мы будем называть структурами инверсии и замещения. Наконец, третий тип процессов — это процессы управления, в частности формирование особых устройств социальной памяти, необходимых для хранения и использования накопленного опыта.

Именно процессы управления лежат в основе зарождения и развития познавательной деятельности. Первоначально

они непосредственно подчинены задачам производства. Но в дальнейшем происходит их относительное обособление, и прежде всего, вероятно, под влиянием постоянного развития и усложнения задач систематизации, хранения и передачи накопленного производственного опыта. Не вдаваясь в анализ этих сложных исторических процессов (которые к тому же очень трудно, если вообще возможно, конкретно проследить), мы ограничимся рассмотрением основных эволюций, которые так или иначе имели место в человеческой деятельности.

Первая эволюция — постановка особых познавательных задач. В отличие от задач производственных, ориентированных на получение тех или иных материальных продуктов, познавательные задачи ориентируют на получение знаний. Их постановка предполагает поэтому, что человек в какой-то степени осознал роль знаний в своей деятельности, выделил их как определенную ценность. С этого момента начинает складываться особая форма человеческой деятельности — познавательная. Вторая эволюция — формирование познавательных средств и методов. Первоначально она происходит путем осознания и последующего целенаправленного поиска или воспроизведения стихийно сложившихся ситуаций. Затем эти средства и методы могут стать предметом специальных разработок. Наконец, третья эволюция — формирование онтологизированных систем знания, формирование знаний о вещах как существующих вне и независимо от человека. Исторически первые формы знания — стихийно накопленный производственный опыт в форме рецептов и предписаний, т. е. не знание о природе как таковой, а знание способов действий с природными объектами. Иными словами, человек первоначально еще не выделяет себя из природы, не осознает противоположности своих действий и объективных процессов. Такое осознание будет достигнуто в итоге долгого исторического развития.

Поскольку третья метаморфоза нам особенно важна, рассмотрим ее несколько более подробно. Шердко считает, что онтологизированные системы знания сформировались в XVI—XVII вв., т. е. в эпоху складывания товарно-капиталистической системы общественных отношений. Так, по мнению А. С. Арсеньева, в натуральном хозяйстве средневековья продукт производился в основном только как потребительная стоимость, а это означает, что существовало только его отношение к человеку, а если и возникали отношения между продуктами, то они не носили самостоятельного характера, не превращались в независимую от человека систе-

му вещных отношений. Поэтому для средневекового мышления существовало отношение «человек — вещь», но не существовало самостоятельного отношения «вещь — вещь»¹⁶. Следовательно, «возникновение мира вещных отношений как самостоятельного, независимого от человека и даже господствующего над ним» есть всеобщий результат развития товарного производства как целого¹⁷.

С этим, вероятно, можно согласиться, хотя ясно, что некие онтологические представления есть уже у первобытного человека. Речь может идти только о степени развития этих представлений и об их удельном весе в общей системе мировоззрения.

Итак, мы имеем, с одной стороны, простейшие формы материальной производственной деятельности людей, с другой — развитие структуры современного научного познания. Их связывает друг с другом сложный процесс исторического развития. Среди множества качественных переходов, которые здесь имели место, для нас имеют значение 1) выделение познавательных задач и обособление познания как особой сферы деятельности; 2) формирование средств и методов познания; 3) возникновение оптологизированных знаний, знаний о вещах как существующих вне и независимо от человека. Подчеркнем, что все эти переходы тесно связаны с рефлексией, с осознанием человеком своей деятельности. Именно в рефлексии формируются задачи и методы, именно в ней осуществляется противопоставление деятельности и объекта. Последний момент, однако, можно рассматривать как частичное самоотрицание рефлексии. Если первоначально все человеческое познание можно представить как рефлексию, как осознание деятельности, то с появлением оптологизированных знаний познание объекта и рефлексия стали различными, даже противоположными, хотя и взаимосвязанными процессами.

В свете изложенного можно высказать следующее предположение:

1) отношения типа «объект исследования — модель» в современном познании исторически связаны с процессами распределения в производственной деятельности и с возникающими на этой базе структурами инверсии и замещения;

2) отношения типа «объект исследования — источник» или «объект исследования — прибор» исторически связаны с развитием технологических процессов и технологических структур;

3) противопоставление идеальных и реальных объектов — это результат развития и рефлексивного осознания механизмов социальной памяти.

Попробуем обосновать это более конкретно, имея в виду, что сопоставление объектов-посредников означает, по сути дела, сопоставление определенных системных образований, отнюдь не совпадающих с эмпирической данностью материала, в котором они непосредственно представлены.

§ 3. Типы объектов-посредников

Начнем с моделей. Выше уже говорилось, что в основе моделирования лежат структуры инверсии и замещения, восходящие в своем происхождении к процессам распределения в производственной деятельности. Уже элементарные процессы управления в составе производственной деятельности включают в себя нечто аналогичное моделированию, когда речь заходит о подключении к деятельности новых объектов. Пусть, например, в процессе воспроизводства некоторого акта деятельности объект x замещается объектом y . На каком основании человек это делает? Современный ответ таков: на основании знания о сходстве этих объектов. Это значит, что, зная сходство x и y и успешно осуществив с x определенные производственные операции, человек делает вывод о возможности тех же операций с y . Дело, однако, в том, что представление о подобии, сходстве объектов есть исторически нечто вторичное по отношению к формированию в деятельности структур инверсии и замещения. Первоначально человек не мог делать никаких заключений о сходстве объектов, ибо у него вообще отсутствовали еще онтологизированные знания. Дело можно представить следующим образом. Раньше в деятельности стихийно складывается определенная структура инверсии и замещения. На этом основании формируется совокупность рецептов и предписаний, а затем — онтологизированные представления о сходстве и подобии предметов. Иначе говоря, тот факт, что x можно замещать y , человек начинает истолковывать как объективное свойство этих объектов. Уже на этой базе и после обобщения познавательной деятельности происходит осознание стихийно сложившихся закономерностей получения знаний и формулируется метод моделирования в его современной форме.

Таким образом, формирование модели как объекта-посредника предполагает следующие основные моменты: 1) развитие структур инверсии и замещения в производственной деятельности; 2) формирование на этой основе онтологических представлений о сходстве и подобии объектов;

3) осознание роли этих объективных отношений в процессе исследования.

К этому следует добавить еще одно уточнение. В процессе производства человек либо приспосабливается к тем или иным наличным условиям, либо активно их создает. В познании можно наблюдать то же самое. Нужно отличать поэтому объекты-модели (понимая под ними объекты, специально и целенаправленно созданные человеком) от объектов-аналогов, найденных в окружающей среде. Их функции в научном исследовании совпадают, но в случае модели имеем дело с экспериментом, а в случае объекта-аналога — нет. При использовании моделей некоторый *у* строится таким образом, чтобы соответствовать познавательным задачам исследователя; изменение задач ведет и к перестройке модели. С объектами-аналогами дело обстоит иначе: приходится приводить задачи научного исследования в соответствие с объектом-посредником.

Модель, моделирование не редкость и в историческом исследовании. Вот типичный пример: «Археологи пробовали каменным топором рубить дерево. Оказалось, что сосну диаметром в 25 см можно срубить за 15 минут»¹⁸. Ясно, что здесь наша деятельность выступает в качестве модели деятельности первобытного человека.

Примеры использования объектов-аналогов можно найти и в работе С. А. Толстова «Древний Хорезм». Определяется, в частности, число обитателей большого джаббаскалинского дома: «Количество обитателей дома должно быть очень значительно. Манданские дома — около 11 м в диаметре (около 86 кв. м) вмещают 30—40 человек. Андаманские жилища около 15 м в диаметре (около 154 кв. м) вмещали, по Мэпу, до 100 человек. В манданском доме на одного человека падает таким образом от 2,4 до 3,2 кв. м, в андаманском около 1,5 кв. м. Исходя из этих цифр количество обитателей большого джаббаскалинского дома (около 290 кв. м) может быть определено от 90 до 185 человек. Думаю, что мы вряд ли слишком ошибемся, если примем цифру около 100—125 человек»¹⁹. Следовательно, жилище современных народов, стоящих на уровне первобытного строя, взято здесь как объект-аналог.

Использование объектов-аналогов составляет, по-видимому, фундамент так называемого сравнительно-исторического метода. «...Задача сравнительного метода в том смысле, в каком мы понимаем его, — писал, например, М. Ковалевский, — сводится к тому, чтобы выделить в особую группу сходные у разных народов на сходных ступенях развития

обычай и учреждения, дать тем самым материал для построения прогрессивного развития форм общежития и их внешне-го выражения — права»²⁰.

Обратимся теперь к объектам-посредникам типа прибора и источника. Некоторое подобие связавших с ним познавательных структур можно усмотреть уже в простейших актах управления технологическими процессами. Например, очень часто решение производственной задачи сводится к построению некоторого объекта, скажем хижины, по существующему образцу. Выявляя свойства или функции образца, человек должен реконструировать процесс его производства, т. е. восстановить исходный материал, средства и связывающие их действия. На каком основании он это делает? Разумеется, на основании прошлого производственного опыта. Опыт же может быть выражен либо в форме рецептов и предписаний, либо в виде онтологизированной картины действительности. Если структуры инверсии и замещения ложатся в основу представлений о сходстве, то технологические структуры определяют структурно-функциональные и структурно-морфологические представления о действительности. Рецепты технологических процессов всегда примерно таковы: для превращения объекта x в объект y на него надо воздействовать с помощью z .

На уровне онтологических представлений происходит отвлечение от человеческих действий и мы получаем каузальные описания явлений. Если теперь, выявляя свойства какого-либо объекта, человек реконструирует особенности процесса его возникновения на основании знания «мастерской» самой природы, этот объект аналогичен для него источнику или прибору.

Нетрудно заметить, что в данном случае валидо те же самые принципиальные моменты: развитие технологических процессов и структур, формирование соответствующих онтологизированных представлений, осознание объективных связей в процессе получения знаний. Аналогично тому, с чем мы имели дело в случаях модели и объекта-аналога, здесь также возможны два варианта: экспериментальный и не-экспериментальный. Исследование с использованием прибора или действия ученого-химика, описанные у Фейнмана, относятся к экспериментальному варианту. Исторический источник — вариант без эксперимента, хотя, разумеется, этим не исчерпывается ни специфика прибора, ни специфика источника.

Из сказанного следует также, что модель и прибор, например, могут отождествляться в области рефлексивного

осознания, но они всегда отличны в сфере связанной с ними онтологии. В одном случае мы имеем представления о сходстве, о подобии и т. п., в другом случае — о связи. В этом плане довольно красноречиво следующее определение модели: «*Всякий, использующий систему А, которая ни прямо, ни косвенно не взаимодействует с системой В, для того, чтобы получить информацию о системе В, использует А как модель В*»²¹. И. Б. Новик и А. И. Уемов считают, однако, что «такое ограничение понятия модели излишне, поскольку факт взаимодействия, например, между Землей и Марсом никак не сказывается на функциях Земли в качестве модели»²². Отметим, что эта полемика не затрагивает изложенную нами точку зрения, поскольку мы говорили не об объективных связях, а о соответствующих знаниях. Дело, следовательно, не в том, связаны друг с другом Марс и Земля или не связаны, а в том, нужны или не нужны знания об этих связях для использования Земли в качестве модели.

Перейдем теперь к анализу последнего типа опосредования в эмпирическом познании, т. е. к анализу отношения «идеальный объект — реализация». Здесь все сводится к выяснению того, что такое идеальный объект. Как уже отмечалось, это явление связано с развитием совсем другой сферы деятельности — с развитием механизмов социальной памяти, которую можно представить как набор занумерованных ячеек²³. Пусть номер каждой ячейки соответствует определенному множеству эмпирических объектов. Характеристики этих объектов, установленные в ходе эксперимента или наблюдения, тоже можно занумеровать, а номера занести в соответствующие ячейки. Посмотрим же, как будет функционировать такое устройство в практической деятельности людей.

Каждый исследователь или практик имеет дело с определенным объектом в определенных конкретных условиях. Однако его познание, его деятельность — это элемент, звено общественного процесса. Фиксируя результаты своей работы в социальной памяти, он как раз и включается в этот общественный процесс. Последнее проявляется, в частности, в том, что результат, полученный исследователем А при наблюдении объекта *x*, может быть в дальнейшем использован другим исследователем или практиком В при работе с другим эмпирическим объектом *y*. Но этот объект существует в других конкретных условиях и не может не отличаться от *x*. Возникает противоречие между частным, индивидуальным характером получения и использования знаний и общественной формой их существования. Выход из этого затруднения со-

стоит, вероятно, в разработке особых правил, которые либо не позволяют фиксировать в социальной памяти все без исключения характеристики того или иного эмпирического объекта, либо предписывают использовать имеющиеся знания только при наличии определенных фиксированных условий. Такие правила действительно формулируются, но в основном стихийно, т. е. просто путем отсеивания из ячеек той информации, которая не представляется социально значимой.

Что же такое идеальный объект? С нашей точки зрения, это своеобразная форма рефлексивного осознания указанных механизмов регулирования записи и использования информации в ячейках памяти. Тот факт, что не все, записанное в ячейку памяти с номером i , может быть отнесено к эмпирическому объекту x и наоборот, воспринимается как наличие особого объекта j . Это подтверждается тем фактом, что представления о тех или иных идеальных объектах всегда могут быть расшифрованы и сведены к совокупности правил записи или использования информации. Например, такой идеальный объект, как материальная точка, есть не что иное, как указание на совокупность условий, при которых истинны и могут быть использованы определенные положения механики.

В свете сказанного довольно очевидно, что отношение «идеальный объект — реализация» — это отношение совсем другого рода, чем рассмотренные ранее. Скорее всего, его вообще не следует подгонять под общую схему опосредованного эмпирического исследования. Более правильно, в частности, не эмпирические объекты-реализации рассматривать как посредники при изучении идеальных объектов, а, наоборот, идеальные объекты представлять как посредники в процессе постоянного воспроизводства социальной деятельности людей. Это больше соответствовало бы их мнемологической природе.

§ 4. Относительный характер противопоставления объектов-посредников разного типа

Все сказанное в предыдущих разделах позволяет заключить, что при анализе функционирования объектов-посредников в эмпирическом исследовании нужно исходить из четкого разграничения онтологических представлений и рефлексивного осознания. Действительно, материальная физическая модель какого-либо объекта, построенная человеком, физически может и не взаимодействовать с оригиналом.

Такое взаимодействие совсем не обязательно для ее функционирования, необходимо лишь подобие модели и оригинала. Подобие же обусловлено тем, что модель и оригинал связаны посредством человеческой деятельности, посредством процедур построения модели. Отличие модели от прибора здесь в том и только в том, что эта связь фиксируется не в онтологии, а в сфере рефлексии.

Еще один существенный признак — возможность эксперимента. Иными словами, необходимо учитывать особо, строится ли материальное тело объекта-посредника (а значит, и его связь с исследуемым объектом) самим ученым (паукой), либо мы сталкиваемся с естественным и независимым от воли и сознания людей процессом. Прибор и источник имеют одинаковое гносеологическое строение, и только в плане установления их связи с исследуемым объектом они различны.

Конечно, в сфере источниковедения совершаются и такие процедуры, которые, строго говоря, нельзя называть познавательными, так как результатом их оказываются не знания, а некоторые предметные изменения в историческом памятнике. К таким процедурам могут быть отнесены реставрация, копирование (фотографирование), издание, консервация и др. Анализ этих процедур не входит в круг задач настоящей работы, поэтому мы кратко остановимся лишь на двух моментах.

Первый момент: внося предметные изменения в материал памятника, источниковед отнюдь не «строит» связь источника с объектом исследования, он лишь делает более доступной для наблюдения связь, уже сложившуюся. Поэтому предметные процедуры в историографии опосредуют не отношение источника к прошлому, а отношение исследователя к источнику. Только в таком аспекте предметные процедуры с материалом источника включаются в познавательную деятельность историка, а их характер задается, нормируется потребностями исторического познания. «Реставрировать любой памятник древнего искусства следует лишь настолько, — пишет С. К. Дикшит, — чтобы при взгляде на него было понятно, что это за предмет, а отнюдь не стремиться восстановить его полностью в том виде, в каком он представляется современному археологу. Если же реставратор задается именно такой целью и восстановленные части предмета совсем не будут выделяться, археолог может ошибиться и принять реставрированные части за подлинные»²⁴.

Известно, что существует специальная методика археологических раскопок. Всякий исследователь обязан строго ее

соблюдать именно потому, что в противном случае материалы раскопок будут непригодными для историка. Большинство археологических памятников, добытых археологами-дилетантами или просто кладоискателями, как бы хорошо они внешне ни сохранились, оказывается навсегда потерянным для науки. В частности, материалы раскопок, предпринятых в России в первой половине XIX в., зачастую лишены научной ценности, поскольку соответствующим образом не обработаны. Так, «в 1871 г. на окраине села Гопцы (ныне Украинская ССР) по указанию помещика Г. С. Кирьянова производились земляные работы, в ходе которых были обнаружены необычно большие кости. Оказалось, что это кости мамонта — одного из животных, вымерших 10 тыс. лет назад. Находка показалась Кирьянову любопытной, и он отдал ее в местную школу. Ею заинтересовался учитель истории. Заручившись помощью геолога из Киева, он решил произвести раскопки в том месте, где были найдены кости. Вскоре там были обнаружены остатки палеолитической общины. В связи с несовершенством методов ведения раскопок кости сочли отбросами, грудой палеолитического мусора, оставленного охотниками, съевшими мясо с туш мамонтов. Только в 20-е годы были разработаны более совершенные методы ведения раскопок скоплевий костей мамонта. Один из новых методов раскопок заключался в раскрытии всей площадки поселения вместо раскапывания узких траншей, как делалось раньше. После применения этих методов в Гопцах и других местах стало ясно, что кости мамонта были не просто отбросами, а строительным материалом для сооружения жилищ. Эти жилища имели обычно круглую или овальную форму. Черепа, челюсти, лопатки и другие кости образовывали цоколь. Верхняя часть сооружения, по-видимому, представляла собой деревянный каркас, покрытый шкурами или дерном»²⁵.

Второй момент: предметные процедуры с материалом исторических памятников образуют в сфере историографии особый слой практики, над которым надстраивается и особый вид методических дисциплин. Поэтому обсуждая специфику предметной деятельности с историческими памятниками, нередко дискутируют, включать ли в нее и познавательные задачи. Так, издание письменных исторических памятников всегда сопряжено с решением большого числа сугубо источникововедческих познавательных задач (критика текста, сообщаемых сведений и т. д.). На этом основании в предмет археографии включают подчас чуть ли не все разделы источникововедения, что, в свою очередь, заставляет обращаться к

вопросу о разграничении предметов археографии и источниковедения²⁸.

Причиной возникновения подобных вопросов следует считать непонимание условий постановки познавательных задач в рамках предметной деятельности с историческими памятниками. Эти задачи имеют подчиненный характер по отношению ко всей такой деятельности. Источниковед-практик обслуживает в данном случае другого специалиста-практика, решающего комплекс культурных задач, не являющихся познавательными. Ясно, что методика решения подобных задач постепенно складывается в комплекс методических дисциплин типа археографии.

Резюмируем сказанное. Различие между прибором и историческим источником относительно и сводится в основном к следующему.

1. Прибор используется многократно и в различных ситуациях. Его подключение к тому или иному объекту осуществляется в общем по воле исследователя, в соответствии со стоящими перед ним познавательными задачами. Другими словами, элемент-посредник этого типа целенаправленно включается в систему связей объективной реальности. Исторический источник раз и навсегда «подключен» к исследуемому объекту самым ходом объективного процесса исторического развития, и историк в этом отношении лишен какой либо свободы.

2. Прибор фиксирует в изучаемом объекте строго определенный, заранее предусмотренный и связанный с задачами исследования набор параметров. Напротив, набор параметров, фиксируемых историческим источником, заранее не определен и случаен по отношению к задачам исследователя и исторической науки вообще. Поэтому «показания» разных памятников непосредственно несопоставимы, они находятся как бы в разных предметах.

Аналогичным образом можно сопоставить источник и такие объекты-посредники, как протокол эксперимента или анкета социолога. В соответствии с пунктом 2 они попадают в один ряд с прибором. Действительно, анкета представляет собой набор связанных друг с другом признаков, т. е. вопросов, каждый из которых логически связан с центральной проблемой исследования. В идеале каждый признак анкеты сам по себе является гипотезой или частью ее. Следовательно, включение каждого признака следует обосновывать тем, что соответствующий ответ будет иметь значение для центральной проблемы исследования. Прежде чем приступить к составлению признаков, т. е. вопросов анкеты, социолог,

всесторонне изучив тему по литературе и другим источникам (документы, беседы с компетентными людьми и т. д.), составляет программу исследования; при этом он выдвигает гипотезу и устанавливает перечень факторов, которые так или иначе оказывают влияние на исследуемую установку респондентов и потому, следовательно, должен быть схвачен признаками — вопросами анкеты»²⁷.

Анкета выделяет в разных объектах один и тот же набор параметров, или признаков, связанных с общей задачей проводимого исследования. Источники же, даже в одном и том же объекте, выделяют разные наборы параметров (признаков), никак не связанных с задачами исторического исследования.

Итак, выше было показано, по каким признакам можно различить, с одной стороны, источник, с другой — прибор, анкету социолога, протокол эксперимента. Данное различие, однако, не абсолютно. В тех ситуациях, когда связь объекта-посредника с исследуемым объектом возникает независимо от задач познающего субъекта и когда она не может быть воспроизведена, мы имеем дело с историческим источником.

Показания прибора, зафиксировавшие неожиданный и неизвестный науке эффект, выступают как источник, по крайней мере до тех пор, пока этот эффект не удастся воспроизвести экспериментально.

Фотоснимок некоторого природного явления, сделанный фотолюбителем и попавший в руки естествоиспытателя, становится для него источником. Точно так же образец минерала, случайно найденный и доставленный геологу, становится источником, если, конечно, он соответственно обработан. Причем необходимые для этого процедуры в глоссологическом смысле ничем не отличаются от источниковедческих процедур. Названные явления суть источники, так как для их использования в научном исследовании необходимо построить особую модель, репрезентирующую связь данных эмпирических объектов с исследуемыми объектами.

Следует отметить, что рассмотренные принципы сопоставления объектов-посредников разного типа позволяют довольно однозначно отличить от исторического источника историческое пособие. Труд историка, являющегося коллективной работой исследователя (историческое пособие), — это не источник, поскольку он не имеет «свойства» источника, т. е. присущей источнику структуры. Пособие выступает либо как готовое средство интерпретации найденных памятников, либо как средство постановки задач исследования, либо,

наконец, как средство обоснования полученных с помощью тех или иных источников результатов. Но любое историческое пособие можно превратить в исторический источник, поставив его в онтологическую связь с исследуемым объектом. В этом смысле различие пособия и источника отчетливо. Словом, если связь с исследуемым объектом фиксируется лишь в рефлексии, перед нами пособие, если же и в рефлексии, и в онтологии — перед нами источник.

Что же касается деления источников на «остатки» и «традиции», то, с нашей точки зрения, традиция — это источник, в структуре которого присутствуют две системы онтологических представлений, причем так, что одна из них «вложена» в другую, входит в нее в виде элемента. Например, построив онтологическую модель, показывающую связь и отношения данного материала с прошлой действительностью, мы обнаруживаем, что эта модель сама выступает как материал, который нужно использовать в другой онтологической картине.

Взятый с точки зрения модели первого порядка данный материал обнаруживает «свойства» всякого источника. Здесь он выступает как «непосредственный» источник. С позиций же модели второго порядка он обнаруживает «свойство» быть «косвенным» источником. При этом традицией является не обязательно языковой текст, скажем «История» Тацита. Древнеримская копия греческой скульптуры — тоже традиция.

Таким образом, гносеологическая структура традиции ничем не отличается от структуры остатка. Но она — конкретный вид структур данного типа. Поэтому в рефлексии остаток и традиция неразличимы, противопоставить их друг другу можно только в онтологии.

Итак, исторический источник — наряду с прибором, моделью, протоколом эксперимента и т. д. — можно отнести к группе объектов-посредников. Существенно, что все эти средства познания представляют собой системы, использование которых определенным образом предписано. Они нормируются представлениями двух типов: а) о месте объекта в познавательной деятельности, б) о связях и отношениях объекта в реальной действительности. И первые, и вторые представления суть элементы гносеологической структуры объектов такого типа. Отличия от других видов объектов-посредников (прибора, модели и пр.) следует искать прежде всего в сфере свойственных для каждого из этих средств онтологических представлений. Источник, таким образом, выступает как «кристаллизованный» в конкретном материале

ле исторического памятника норматив, или принцип, познания. В целом же предложенный нами подход представляет собой одно из возможных решений проблемы так называемого «внеисточникового знания»²⁸.

ГЛАВА III

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

Опираясь историческими источниками, исследователь формирует знание о прошлом. Как, однако, он это делает? Посредством каких процедур достигается адекватное представление о минувших эпохах? Иными словами, задача состоит в том, чтобы описать деятельность «исторического разума», эксплицировать ее основные элементы и связи. Понятно, что в ходе подобного анализа нельзя обойти и вопрос о результатах (продуктах) исторического исследования. Является ли получаемое историком знание чем-то однородным и аналогичным (по своим функциям) знаниям биолога, физика, социолога и т. д., или же дело обстоит как-то иначе?

§ 1. Феноменологическая реконструкция прошлого. История, «как это было на самом деле»

На эти вопросы пытались ответить представители неокантианской и герменевтической традиций методологической интерпретации исторического познания. Однако ни та, ни другая, даже если с ними полностью солидаризироваться, не смогли дать исчерпывающих ответов. И неокантианцы, и сторонники «понимающей» историографии фиксировали внимание на аспектах, которые они считали специфическими для исторического исследования, оставляя в стороне (именно в силу этой ориентации) характеристики познавательной деятельности историка как целостной системы. Дильтей, Риккерт и их последователи, как правило, не выходили на уровень реальных исторических исследований и текстов. Фактически они оперировали неким абстрактным представлением об историческом исследовании. Если же реальная практика историка и принималась в расчет, то лишь для подтверждения постулируемых принципов.

В методологической литературе представлен, однако, подход, при котором историческое исследование не противопо-

ставляется другим формам научного познания, по, напротив, постулируется единство научного знания, тождественность основных его структур. Если различия и допускаются, то только в уровнях их развития, в уровне их приближения к идеалу. Так, по мнению А. И. Ракитова, историография от физики, химии и т. д. отличается тем, что представляет собой «слабую версию науки»¹. Критерием в данном случае служит степень развитости теоретического знания. Хотя историография и «располагает большим объемом теоретических знаний», они не соответствуют еще стандартам «строгой теории»².

Из презумпции гомогенности научного знания исходит также известная «теория охватывающего закона», или схема Поппера — Гемпеля. С этих позиций важнейшей процедурой в науке представляется процедура дедуктивного объяснения, а ее логическая структура — одинаковой в естественных и общественных науках: некоторый частный случай подводится под охватывающие (универсальные) законы. Говоря по-другому, «это логическая дедукция особенного явления из общего закона с помощью единичных условий»³. Так, если историк пишет: «Опричнина была учреждена потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему»⁴, то, согласно концепции Поппера — Гемпеля, его объяснение событий подчиняется закону типа «Всякий монарх, обнаруживший оппозицию своей власти, постарается предпринять против нее какие-то меры».

Но можно ли «теорию охватывающего закона» считать адекватной формой отображения логической структуры исторического исследования? Как убежден У. Дрей, нельзя: «...обычное понимание историками задач объяснения *принципиально* отличается от логического выведения поступка некоторого лица из определенных условий в соответствии с законами, имеющими эмпирический характер. Нам представляется, — пишет он, — что теории охватывающих законов недостает должной восприимчивости к тому *понятию* объяснения, которым обычно пользуются историки»⁵. Этой теории Дрей противопоставил «рациональное объяснение»: «Задача объяснения — разрешение какого-то затруднения. Когда историк приступает к объяснению некоторого действия, он обычно сталкивается с целым рядом трудностей, так как он не знает мотивов, лежащих в его основе. Поэтому, для того чтобы понять это действие, он стремится получить какую-то информацию о том, как данный исторический деятель оценивал свое объективное положение (причем сюда

входит и оценка им вероятных последствий различных линий поведения, открытых для него), равно как и информацию о том, чего он намеревался достичь, предпринимая то или иное действие, то есть сведения о его целях, планах или мотивах. Понимание действия возникает у историка только тогда, когда он устанавливает разумность поступков данного человека в свете его собственных представлений и планов»⁶.

Сомнения, которые в связи со всем этим возникают, можно свести к двум вопросам: 1) на самом ли деле оба подхода противоположны друг другу или же налицо известная их несоизмеримость? 2) насколько корректно выделены компоненты деятельности историка, обусловившие появление как теории «охватывающего закона», так и концепции «рационального объяснения»?

Рассмотрим с позиций Поппера — Гемпеля логику рассуждений не историка (что в данном случае существенно), а персонажа чеховской «Драмы на охоте», редактора газеты:

«Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не парочко. Все ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенюпа и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто»⁷.

Легко увидеть, что факт преступления установлен здесь в полном соответствии со схемой «охватывающего закона». Редактор основывает свои заключения на «универсальных законах» поведения человека, совершившего криминальное деяние. Таким образом, логика, приписываемая Поппером и Гемпелем суждению историка, реализуется и в литературных текстах.

Но можно пойти еще дальше. Такова же и вся повседневная жизнь. В этом смысле и маленький ребенок, по мнению Р. Карнапа, следует «охватывающему закону». «Мы

спрашиваем маленького Томми, почему он кричит, и он объясняет это другим фактом: „Джимми ударил меня по носу“. Почему мы рассматриваем этот ответ как достаточное объяснение? Потому что мы знаем: удар по носу вызывает боль и, когда ребята чувствуют боль, они кричат. Существуют общие психологические законы. Они настолько хорошо известны, что предполагается, что даже маленький Томми их знает, когда он говорит нам, почему кричит»⁸.

Какой же вывод следует из всего сказанного? Во всех этих случаях мы имеем дело с обыденным мышлением, или здравым смыслом, с особенностями его функционирования. Более того, если бы стояла задача эмпирического, экспериментального описания таких структур, пришлось бы прибегнуть к соответствующим категориям социальной психологии. Сопремся на мнение Т. Шибутани: «Большинство представлений, лежащих в основе повседневной жизни, состоят из того, что называется «здравым смыслом». Этот термин относится к нашей рабочей концепции реальности. Разумный человек знает, что его не будет приветствовать на улице покойник, чьи останки он только что проводил на кладбище; он знает, что люди не могут проходить сквозь каменные стены; и у него началась бы сильная дрожь, если бы части лица его товарища стали вдруг отделяться друг от друга и размещаться по-новому. Хотя у психотиков и бывают подобные восприятия, считается само собой разумеющимся, что такие случаи невозможны в «реальном» мире. В результате длительного опыта ряда поколений сложились популярные представления, которые выжили, поскольку оказались полезными в повседневной жизни. Хотя такие знания истощны и иногда совершенно необоснованны, мы обычно считаемся со здравым смыслом. Медикам, например, давно известно, что проказа менее заразна, чем туберкулез или сифилис, но люди обычно больше боятся прокаженных и даже изгоняют их из общества»⁹.

Передко утверждается, что между обыденным сознанием, или здравым смыслом, и наукой существует тесная связь. По мнению того же Шибутани, «различие между здравым смыслом и научным знанием только в степени»¹⁰, а согласно К. Попперу, «научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание»¹¹.

Однако между научным познанием и здравым смыслом существуют *качественные* различия. Одним из таких различий, почти предопределяющим все другие, является неспециализированный характер обыденного сознания. Здравый смысл — побочный продукт повседневной практики; его

конституирование происходит сугубо стихийно. Причем бесспорно, что уже на этом уровне складываются основные категориальные расчленения, которыми человек пользуется в повседневной жизни, ибо всеобщие категориальные структуры генетически восходят к практике, к «человеческой чувственной деятельности».

Возьмем, например, категории причины и следствия. В любом акте преобразовательной практической деятельности происходит превращение некоторого исходного материала в продукт. При этом изменение одних сторон объектов и явлений приводит (сплошь и рядом независимо от воли и желания людей) к изменению других сторон. Действуя одними объектами на другие, мы вызываем изменения этих последних. Формами отражения такого рода всеобщих отношений, характеризующих процессы практической деятельности, и являются категории причины и следствия. Не случайно в дефинициях этих категорий чаще всего фиксируется, что причина — это явление, которое вызывает к жизни другое явление или производит в нем изменения. Соответственно следствие — это то, что обуславливается первым явлением. Отмечается также, что сущностью причинности является порождение одного другим, т. е. производство тем, что именуется причиной, того, что называется следствием.

Но при всем том функционирование детерминистских структур на уровне обыденного сознания и в научном объяснении столь гносеологически дистанцировано, что ставить их в одну плоскость, подобно тому, как это сделано в теории «охватывающего закона», неправомерно. И прежде всего потому, что на уровне обыденного сознания, по крайней мере в исторических текстах, к которым апеллируют сторонники «охватывающего закона», нет познавательных процедур в собственном смысле слова. Исследователь не считает своей задачей выявление причинной обусловленности тех или иных событий. В определенном смысле это аналогично соотношению мышления и его законов. Еще Гегель высмеивал мнение, что логика научает мыслить: «Это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии и физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться»¹².

Не случайно методологу, чтобы обосновать модель «охватывающего закона», приходится «анатомировать» деятельность историка. Не стремясь выявлять причинно-следственные отношения, историк не строит и особого предмета исследования. Б. А. Грушин, называя такой вид исторического исследования донаучным, «сугубо описательным»,

полагает, что в нем «вопрос о структуре объекта не ставился настолько, что изучавшие историю исследователи буквально не могли сказать, историю чего они изучают»¹³. Сказано справедливо. Нельзя, однако, видеть в этом проявление некоей научной несостоятельности историка. Дело в другом: иных, «нестандартных» гносеологических критериев требует оценка его деятельности. Поэтому доля истины есть в утверждении А. В. Гулыги: «В истории мы сталкиваемся и с особым рода образным мышлением, которое сродни мышлению эстетическому»¹⁴.

Однако методологический стереотип — видеть во всем этом одну из форм научного описания, присущих эмпирическому уровню познания. Если различия между естественно-научным (физическим) и историческим описаниями вовсе не отрицаются, то принципиального значения им все же не придается. И первое, и второе выглядит как проявления одной и той же сущности. «... В физических описаниях, — считает А. И. Ракитов, — наборы параметров заранее регламентированы теорией и весьма невелики по числу, а в эмпирической историографии на протяжении многих столетий выбор параметров описания диктовался интуицией, личным вкусом, предрассудками, политическими, религиозными и другими установками, личной культурой историка или хрониста и прочими факторами, тогда как теоретические знания оказывали ничтожно малое влияние, поскольку сами еще находились в зародышевом состоянии»¹⁵.

Что же конкретно не позволяет согласиться с этой позицией? Особый статус реальности, с которой имеет дело историк. Это прошлая реальность. Но прошлое не существует в том смысле, в каком существуют объекты исследования физика, химика, биолога и т. д. Его бытие — это бытие «следов» и организованной на их основе исторической памяти. Прошлое, таким образом, это то, что мы реконструируем, т. е. восстанавливаем по сохранившимся следам. Поэтому там, где культура не выработала исторической памяти, там для человека нет и прошлого. Разумеется, речь идет об актуальном бытии прошлого, ибо потенциально оно, поскольку сохраняются «следы», существует, и существует в данной форме объективно. Вместе с тем сами «следы» прошлого (в этом своем качестве) могут быть также идентифицированы только относительно исторической памяти.

Известно, например, что предметы, которые в современной археологии рассматриваются как источники по истории первобытного общества, были издавна известны всем цивилизованным народам. Однако вплоть до XVIII в. они полу-

чали самое фантастическое истолкование. «Каменным орудиям все цивилизованные народы Азии и Европы приписывали божественное происхождение, полагая, что они падали с небес»¹⁶. Они употреблялись в культовых целях как магические или целебные средства, амулеты, становились объектами коллекционирования¹⁷. Даже в начале новых веков в Западной Европе верили, что урны с пеплом, составляющие памятники доисторических погребений, растут в земле, как грибы, особенно во время весенних дождей¹⁸. Лишь в первой четверти XVIII в. окончательно установилось мнение, что издавна паходимые в Европе каменные орудия являются остатками первобытной эпохи¹⁹. При этом в качестве образца для сравнения послужил быт современных народов — американских индейцев.

Одна из главных задач историка, таким образом, есть формирование исторической памяти. Но что она собой представляет? Каковы «ячейки», ее составляющие? Наконец, как историческая память работает?

Историческая память отнюдь не тождественна описанию как одной из научных познавательных форм. И дело не в количестве параметров, которые должен фиксировать в событиях историк, и не в способах регламентации их выбора, как о том говорит А. И. Ракитов. Подобно индивидуальной памяти, память историческая должна воспроизводить целостные образы прошлых событий. Существен именно момент целостности, ибо никакое научное описание к этому не стремится. Любое научное описание действительно характеризует явления и события реальности по некоторому фиксированному набору параметров. Однако способ соединения этих параметров, их упорядоченность для учебного, формирующего описания, более или менее безразличны. Напротив, для историка это главное, так как он создает образы прошлых событий.

§ 2. Феноменологическая реконструкция прошлого. История и искусство

Обычно в методологической литературе обсуждению природы исторического образа переводится в план эстетического. Исторический образ трактуется как нечто родственное и близкое художественному образу, хотя и отличное от него. Вот как понимает это различие А. В. Гулыга: «Исторический образ всегда непосредственно связан с реальным событием. В этом его отличие от образа художественного, представляющего собой отражение жизни, но зачастую

трансформированное, сгущенное и заостренное творческим воображением писателя. В историческом образе вымысел совершенно исключен, фантазия в творчестве историка играет вспомогательную роль — роль своеобразного толчка к интуитивному акту нахождения материала и осмысления его. Писатель создает типические образы, историк ищет их»²⁰. В целом же «эстетическое начало в историческом описании порождается самой действительностью»²¹.

Итак, присутствие эстетического в историографии обуславливается эстетическим строением исторической реальности. Но так ли это? Ведь не считаем же мы всерьез, что, например, само по себе существование львов, зайцев, медведей и т. д. объясняет появление басен, где они фигурируют в качестве персонажей, точно так же, как и наличие сажи и угля отнюдь не делает для нас понятным использование черного цвета в палитре художника. Дело тем более осложнится, если учесть, что историк сплошь и рядом отказывается от использования образных средств. Почему же в одних случаях «эстетическая структура» исторической реальности заставляет историка прибегать к эстетическим средствам, а в других нет?

Отталкиваться, по-видимому, нужно не от эстетического «измерения» исторической реальности, а от задач исторического познания. Апелляция к исторической реальности если и нужна, то только в отношении необратимости исторического процесса, почему и возникает потребность в квазирепроизведении прошлого. Не просто описание, т. е. фиксация каких-либо параметров, события или явления, а восстановление их облика. Используя категории семиотики, а именно классификацию знаков, можно было бы сказать, что продукт исторического исследования рассматриваемого типа составляют знаки-копии. А им присуще определенное сходство с обозначаемым. «Реконструкция прошлого — это описание прошлого, как если бы мы его наблюдали, находясь в прошлом — подчеркивает Э. Н. Лооне. — И проблема изучения исторического познания на этом уровне — это проблема методов реконструкции, проблема изучения приемов и процедур, при помощи которых историки воссоздают картину прошлой действительности»²². Иначе говоря, историк должен обеспечить имеющимся у него средствами «эффект присутствия» в прошлом.

Практически полной аналогией деятельности историка в данном случае будет деятельность палеонтолога. Соответственно аналогичны возникающие перед тем и другим трудности и проблемы. По свидетельству известного американ-

ского палеонтолога Дж. Г. Симсона, «каждый палеонтолог может узнать зуб лошади (*Equus caballus*), даже если он один. Несмотря на различия между домашними породами и одним чудом сохранившимся диким видом, все лошади действительно похожи друг на друга. В этом случае художник может нарисовать правдоподобное изображение животного по одному-единственному зубу, хотя он не будет знать, какой длины и какого цвета была шерсть. В действительности это не будет «реконструкцией» или «реставрацией» животного. Это просто результат определения того, что зуб принадлежит хорошо известной и до сих пор существующей группе животных. Мамонты в отличие от лошадей вымерли. Их зубы напоминают зубы слонов, и из этого факта делается обоснованный вывод, что мамонты по своему облику до некоторой степени напоминали слонов. Тем не менее изображение, основанное на сходстве только по одному зубу, будет, по всей вероятности, далеким от истины. В случае с шерстистым мамонтом, наиболее хорошо изученным из нескольких видов мамонтов, исследователю, восстанавливающему его облик, нет необходимости полагаться на такие сомнительные данные. В Сибири и на Аляске найдены целиком сохранившиеся в мерзлоте трупы шерстистых мамонтов, а в Европе люди каменного века, которые видели шерстистых мамонтов живыми, прекрасно изобразили их на стенах пещер. «Реконструкции» мамонтов, создаваемые современными художниками, — это не подлинные реконструкции по одному зубу или кости, а изображения всего зверя целиком, основанные на остатках из мерзлоты и прижизненных изображениях. Пример с шерстистым мамонтом, несомненно, совершенно особый, и такой метод создания изображений непригоден для подавляющего большинства вымерших млекопитающих, от которых, за весьма редкими исключениями, сохранились лишь кости и зубы. Восстановление облика вымершего животного на основе его кажущегося сходства с каким-либо ныне живущим зверем невозможно при отсутствии достаточно близкого сходства, а таких случаев много. Более того, опыт показывает, что даже при наличии некоторого сходства оно может оказаться поверхностным или вводящим в заблуждение»²³.

Палеонтолог, следовательно, говорит об участии художника именно в реконструкции прошлого. Уместно спросить, в чем же, собственно, проявляется роль художника (а в более общем смысле — эстетическое начало) в воспроизведении прошлого? Приведенный выше текст позволяет понять это: в нем отделяется то обстоятельство, что цель деятельности,

а значит, и ее продукт — в данном случае не знание, а изменение некоторого материала, придание ему определенной формы. Результат деятельности — это аналог, знак-копия другого объекта, но не знание, как таковое.

Однако ясно, что такая деятельность требует иных процедур, иных «проявлений» самого субъекта, нежели решение собственно познавательных задач. Прежде всего она требует вполне определенных умений, которые в древнегреческой культуре охватывались термином «технэ». Во всяком случае, речь должна идти о способности изменять материал согласно идеально положенному плану. Вид материала значения не имеет. Это может быть глина, гипс, мрамор, краски, слова естественного языка и т. п. Но всегда создается некоторые конструкции, артефакты, т. е. феномены, не существовавшие в естественной среде. И важно именно умение субъекта преобразовывать материал, придавать ему желаемую форму.

Еще один существенный аспект — выбор производимых в материале изменений. Конечно, выбор присущ всем видам научной деятельности. «Если бы ученый располагал бесконечным запасом времени, — писал Пуанкаре, — то оставалось бы только сказать ему: „Смотри и смотри хорошо!“». Но так как время не позволяет обозреть все, а в особенности все обозреть хорошо, — с другой же стороны, лучше вовсе не смотреть, чем смотреть плохо, — то ученый вынужден делать выбор. Первый вопрос заключается, следовательно, в том, как он должен производить свой выбор. Этот вопрос равно возникает перед физиком, как и перед историком; с ним приходится считаться и математику, и принципы, которыми должны руководствоваться вы и другие ученые, не лишены аналогии. Ученый обыкновенно следует здесь инстинкту, но, вдумываясь в эти принципы, можно предвидеть, каково должно быть будущее математики»²⁴.

В качестве основания выбора, осуществляемого ученым, как и выбора вообще, выступают ценности. Их совокупность образует особую сферу, или подсистему, научной деятельности. Усвоение аксиологических компонентов научного творчества столь же необходимо для ученого, как и овладение определенным набором процедур и знаний. Борьба же науку на уровне целостной системы, в формировании системы ценностей следует видеть предпосылки и условия ее функционирования и развития. Причем ценностная составляющая познавательной деятельности ученого не должна отождествляться (что нередко и делается ²⁵) с эстетическими компонентами человеческой духовности и интуицией. Но

справедливым будет скорее вывод о том, что аксиологическая сфера научного познания перекрывает всю совокупность систем ценностей современного общества или по крайней мере большую часть таковых, лишь адаптируя последние к запросам и особенностям научного творчества. Очевидно, что познавательная деятельность, как специфическая форма духовного производства, сталкивает субъекта с коллизиями, которые, возможно, не встречаются более нигде или существенно отличаются от того, с чем человек имеет дело в иных областях общественной практики.

Вернемся к деятельности историка. Сказанное выше позволяет заключить, что существуют по крайней мере два отличия ее от обычных процедур научного познания. Во-первых, результатом деятельности историка оказываются определенные перестройки объекта по материалу, требующие от субъекта деятельности соответствующих умений и способностей. Во-вторых, хотя всякий ученый руководствуется ценностями, для историка, занятого «конструированием» образа прошлого, ценности суть средства выбора не продуктов дискурсивного мышления, а тех или иных артефактов.

Теперь мы можем, по всей вероятности, составить более адекватное представление о соотношении искусства и историографии. Дело не в том, что сама историческая реальность эстетически нагружена. Здесь имеет место другое. Деятельность историка и эстетическая деятельность сходны в том, что предполагают перестройку материального объекта, и в том, что они ценностно нагружены. Таковы универсальные характеристики человеческой практики. Внося в действительность те или иные изменения, субъект воплощает в них свои ценностные установки, а значит, осуществляет выбор из всех создаваемых им форм именно тех, которые в наибольшей степени соответствуют его представлениям о пользе, красоте, истине и т. д. Поэтому историк отличается от художника «только» тем, что главной ценностью для него является истина. Он, конечно, ориентируется и на другие ценности, например эстетические, но лишь как на субдоминантные. Картина прошлого, созданная историком, может и должна соответствовать критериям прекрасного, но не более, чем соответствуют и математическая теория, физическая модель, инженерная конструкция и т. п. Что же касается художника, то для него главный регулятив деятельности — прекрасное. Если он и говорит об истине, то только (по-видимому) как о моменте воплощения идеала прекрасного в произведении искусства.

Таким образом, дело вовсе не в том, что «история — особая наука, своеобразный синтез теоретического и эстети-

ческого освоения мира»²⁶. Строго говоря, подобное утверждение есть своего рода методологический оксюморон. Но для историка, формирующего наглядный образ прошлого, основной материал, очевидно, естественный язык. И, как всякий материал, он предъявляет к деятелю свои особые требования.

*§ 3. Феноменологическая реконструкция прошлого.
Проблема нарратива*

Изложенное выше, как нам кажется, дает все необходимые средства и для интерпретации проблемы нарратива — проблемы, которая к середине 1960-х годов завоевала «умы философов англоязычного мира»²⁷. Понятие нарратива весьма неопределенно. Оно «связывается с понятиями рассказа, хроники, генетического объяснения, неопределенного и неточного знания, описания процесса, описания человеческого поведения, упорядочения частей в целое, описания связей обуславливания, составляющих процесс, упорядочения неодновременных событий в одно целое и т. д.»²⁸. Тем не менее существует тенденция трактовать нарратив как гносеологический феномен, свойственный исключительно историографии²⁹.

Более детальный анализ, однако, показывает, что нарратив — это все та же вербальная реконструкция событий прошлого, обеспечивающая в той или иной мере «эффект присутствия». Не случайно, согласно одному из мнений, можно рассматривать «чтение нарратива как аналогию непосредственного зрительного восприятия действительности человеком»³⁰.

Следующая проблема — проблема места нарратива (и вообще реконструкции облика прошлого) во всем множестве историографических задач. В трактовках ее, как нам представляется, имеются две крайности. Одна из них — стремление нивелировать особенности нарратива как познавательной формы. Показательно, например, предложение заменить термин «нарратив» терминами «историко-описательная теория», «повествовательная теория» и т. д.³¹ Вторая крайность — провозглашение нарратива чем-то уникальным, присутствующим только историографической сфере культуры.

Реконструкция прошлого, осуществляемая историком в виде нарратива, представляет собой способ деятельности, разворачивающийся в иной плоскости, нежели те, которые отображаются категориями «описание», «теория», «эпирическое» и т. п. Различие между обычными научными познавательными

ми процедурами и такой реконструкцией прошлого вполне аналогично, например, различию между деятельностью специалиста в области теоретической механики и строительством мостов, зданий, машин и т. п. Но это означает также, что создание нарратива может быть включено в широкий круг задач, решаемых отнюдь не только в историографии, но и в любой инженерной деятельности.

И как инженерия вообще не совпадает с наукой, относительно обособлена от нее, так и «нарративная» история отличается от научной истории, точнее говоря, от познавательной деятельности историка, ориентированной на определенные идеалы научности. В этом, и только в этом, смысле можно говорить об «истории событий и истории структур»³². Действительно, решение научных задач в историографии, в отличие от феноменологической реконструкции событий прошлого, предполагает использование теоретических форм репрезентации исторической реальности, идеальных объектов и т. п., или, другими словами, «структур».

Различие двух видов собственно исторического исследования может быть представлено и иначе. Луи де Бройль, например, писал: «Как и все остальные разделы истории, история наук имеет две стороны: „эрудицию“ и „общие идеи“». У историков эти две стороны соответствуют весьма различным знаниям. Эрудиция, вместе с терпеливым критическим анализом источников, необходима для установления подлинности исторических фактов и их строгой последовательности во времени. Но общие идеи также необходимы, поскольку они позволяют извлечь из истории выводы и уроки, придать ей подлинный интерес, простой перечень фактов такого интереса не представляет»³³.

Таким образом, при всех различиях в формах осознания данного факта собственно историческое исследование видится состоящим из двух качественно отличных сфер. С гносеологической точки зрения это можно объяснить тем, что «теоретическая» история имеет дело со структурными отношениями типа «идеальный объект — реализация», а нарративная не имеет. Действительно, оперируя источниками, в которых прошлая действительность отражается всегда индивидуальным, неповторимым образом, историк стремится выйти из-под власти источника. Это происходит потому, во-первых, что одно и то же событие источники толкуют по-разному, а во-вторых, что с накоплением социального опыта меняются и представления историка о прошлом. Недаром Гете говорил, что каждое поколение должно переписывать историю заново. При феноменологической реконструкции прошлого

историк не использует каких-то особых средств интерпретации. Дело ограничивается простым воспроизведением некоторого фрагмента источника, который рассматривается как более или менее точное «показание» об историческом событии.

Описывая историю боярского рода Вельяминовых, С. В. Веселовский воспроизводит по источнику один из эпизодов этой истории: «Однако конфискацией вотчин дело было далеко не исчерпано, так как главные виновники смуты находились на свободе и продолжали свои интриги. Иван Васильевич оставался в Орде и пользовался там званием тысяцкого. Весьма возможно, что интригами Ивана Васильевича и Некомата объясняется набег татар 1378 г. В бою на р. Воже (в пределах Рязанского княжества) татары были разбиты московскими воеводами, среди захваченных в плен обнаружили „некоего попа Ивана Васильевича тысяцкого из Орды пришедша; бе бо тогда Иван Васильевичъ, тысяцкий, во Орде Мамасве и много нечто построения бысть; и обретоша у того попа злых лютых зелей мешок, и извопросивше его и истязавше, послаша в заточение на Лачезеро“»³⁴.

Основная трудность, с которой сталкивается историк «событий», это не интерпретация материала, а его изложение, систематизация, оформление. Иными словами, это «конструктивные» или «инженерные» по своим гносеологическим основаниям процессы. По-видимому, именно в этом пункте и возникает традиционный вопрос: что такое история, искусство или наука?

Понятно, однако, что чем обширнее имеющийся в распоряжении историка материал, тем труднее его систематизировать. Очень верно сказал об этом Гегель: «Требуется написать обзор всей истории какого-нибудь народа или какой-нибудь страны или всего мира, одним словом, то, что мы называем всеобщей историей. При этом главной задачей является обработка исторического материала, к которой историк подходит со своим духом, отличающимся от духа содержания этого материала. В этом случае особенно важны те принципы, которые автор вырабатывает для себя отчасти относительно содержания и цели самих описываемых им действий и событий, отчасти относительно того способа, каким он хочет писать историю»³⁵.

Первоначально развитие историографии пошло по пути поиска таких средств, которые могли бы служить для организации материала, представляемого историческими памятниками. Характерной особенностью этих средств (схем, моделей) было то, что они служили не для интерпретации ис-

точников, а лишь для их систематизации и оформления. Поэтому все, что в источниках не подходило под заданную схему, оставалось вне поля зрения исследователя.

Так, вся русская история была представлена С. М. Соловьевым в рамках «схемы перехода от родового быта» к «быту государственному», и об этом писал не только сам Соловьев, но и исследователи его творчества³⁶. У В. О. Ключевского, например, сказано: «Когда Соловьев начинал писать первый том своей „Истории России“, процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно и оставалось только изложить его в подробностях... В предисловии к первому тому этот взгляд (установленный в первых трудах историка) тот же, каким находим его 13 лет спустя, когда повествователь, дошедший до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время»³⁷.

Эту же, в сущности, особенность «Истории России» отмечал и А. Е. Пресняков: «С формальной стороны, она как бы узаконивала безразличное пользование источниками за ряд столетий, летописными текстами XII—XVI вв., грамотами XIV, XV и XVI столетий как однородной массой данных для изучения одного исторического явления „Древней Руси“, без учета при их критике разнородных исторических условий, в каких они возникли. Со стороны материальной эта постановка дела исторического изучения русского прошлого не только выдвигала на первый план государственную историю, и даже уже, правительственную историю, но представляла суждение о крайней скудности, слабости и незначительности каких-либо общественных сил и культурных течений»³⁸.

§ 4. Историческое исследование собственно научного типа

Качественно иной характер историческое исследование приобретает с привнесением в него универсальных норм научного познания, с переходом от реконструкции событий прошлого к получению о них знаний собственно научного типа. Суть этого перехода в том, что задается единый интерпретационный принцип для больших совокупностей конкретных событий, а значит, и источников. В индивидуальных событиях прошлого выделяется единый набор повторяющихся признаков, по которому эти события могут сопоставляться строго однозначно. Историк начинает рассматривать свой объект как структуру, и вся его работа приобре-

тает характер «измерения» параметров, выделенных на основе показаний большого числа источников.

В марксистской историографии такая интерпретационная система строится на базе материалистического понимания истории, дающего единый принцип сопоставления фрагментов общественной истории. Как подчеркивал В. И. Ленин, «материализм... выделив производственные отношения как структуру общества» и введя «понятие общественной формации», позволил увидеть в истории повторяемость и правильность³⁹.

К конструированию теоретических моделей (поскольку речь идет о собственно научной, а не нарративной истории) возможны два подхода. Главная особенность первого — интенция на создание теоретических моделей, дающих целостное, «глобальное» отображение истории общества. В марксистской историографии это достигается посредством введения категории «общественно-экономическая формация».

При втором подходе общество не рассматривается как целостный организм и поэтому не создаются адекватные этой задаче модели. Историк в этом случае заимствует теоретические конструкции из демографии, социологии, социальной психологии, экономических наук и т. д. Впрочем, такое заимствование не просто перенос теоретической модели из одной познавательной области в другую. Здесь возникают свои трудности: «На пути слияния истории, антропологии и этнографии в единую науку лежат препятствия, скрытые в самой природе тех факторов, которые являются основными для этих наук, — в понятиях пространства и времени. Искусственное перенесение черт, типичных для одной эпохи, в другую подчеркивает специфику исторического времени; не менее искусственное вычленение этнографических феноменов из окружающей их среды исключает гомогенное понятие пространства»⁴⁰. Поэтому заимствуемая историком модель должна быть перестроена, с тем чтобы включить аспект развития, стать генетической моделью. Осуществить же эту процедуру может лишь историк, так как только он располагает соответствующим материалом. Тем не менее вся сфера исторического познания оказывается дифференцированной соответственно тому числу парадигм, которым на текущий день располагает обществоведение в целом.

Дифференциация исторического знания способна «проецировать» новую проблему. Как пишет лидер французской школы «Анналов» последних лет Ф. Бродель, «современные науки о человеке ставят сегодня один и тот же вопрос: каково место каждой из них в той огромной по своему объему

совокупности старых и новых исследований, необходимость сведения которых в единое целое уже назрела? Устранит ли все трудности гуманитарных наук попытка систематического определения их предмета или тяжелое ощущение кризиса будет все более усиливаться?»⁴¹.

Отдавая себе отчет во всей сложности вопросов, связанных с интерпретацией процессов взаимодействия наук (в частности, здесь возникает проблема редукционизма), рискнем, однако, сделать одно замечание.

Что, собственно, имеют в виду, когда говорят о синтезе исторического знания? Какой может быть форма этого синтеза? Думается, что здесь у нас лишь две возможности. Во-первых, наряду с историческими дисциплинами, описывающими развитие отдельных сторон общественной жизни, допустить существование особого класса дисциплин, изучающих механизмы генезиса общества как целостной системы. В марксизме — это теория общественно-экономических формаций и складывающиеся на ее основе научные дисциплины: политическая экономия, культурология, политология и т. д.

Во-вторых, речь может идти о построении особого методологического средства — модели-конфигуратора, призванной показать соотношение существующих научных предметов (парадигм), границы их взаимоперехода, их иерархию. Действительно, если в естествознании, а точнее, в познании вообще накоплен уже весьма значительный опыт обсуждения путей построения подобной модели (речь идет о традиции, в русле которой сформирована энгельсовская классификация форм движения материи), то по отношению к социальному познанию такого опыта почти нет.

Насколько можно судить, именно в этом направлении движется сам Бродель. «Мне бы хотелось, — пишет он, — чтобы ученые-обществоведы отложили на время свои долгие препарателства относительно границ, отделяющих одну науку от другой, относительно того, чем является или чем не является общественная наука, что входит и что не входит в понятие структуры. Лучше бы они искали теоретические ориентиры, указывающие путь к совместным исследованиям и проблемам, которые могли бы сблизить их. С моей точки зрения, такими ориентирами являются математизация, анализ отношений социальных феноменов к географическому пространству и долговременная историческая перспектива»⁴².

Продолжая рассматривать формы историографии, цель которых не реконструкция прошлого, «как это было на самом деле», а получение отвечающего общим критериям научности знания о нем, следует сказать, что только во втором

случае можно с полным основанием говорить о существовании научного описания в историографии и вообще о применении к ней традиционного гносеологического расчленения на эмпирическое и теоретическое. Историческая наука в этом аспекте не составляет исключения. И соответственно имеющимся в методологической литературе представлениям теоретическое может быть истолковано как установка «на совершенствование, уточнение, развитие аппарата научных абстракций», а эмпирическое — как установка «на применение аппарата этих абстракций для ассимиляции внешнего по отношению к нему материала „живого созерцания“, обеспечиваемого наблюдением и экспериментом»⁴³. Так, в историографии имеется целая область познавательной деятельности, содержание которой составляет разработка теории общественного развития, и в частности проблемы членения всемирной истории.

Например, апеллируя к работам Маркса, членят историю на три этапа — первобытное общество; антагонистическое общество, подразделяемое на две «крупные формы»: «„первую“, включающую все докапиталистические общественные формы, основанные на внеэкономическом принуждении к труду (*рабство и крепостничество*), но вместе с тем еще сохраняющие общину в качестве существенного элемента, и „вторую“, т. е. *капитализм*, основанную на экономическом принуждении; 3) *коммунистическое общество*»⁴⁴. Этот вывод — типичный продукт теоретической работы, что, кстати, совершенно однозначно осознано и зафиксировано его авторами⁴⁵.

А вот пример исследования иного типа. Мы ограничимся лишь тем, что приведем перечень вопросов, на которые оно призвано ответить: «Действительно ли отработочная рента преобладала в Англии XIII в.? Действительно ли „типичный“ манор был господствующей клеткой социальной ткани? Как были географически распределены в Англии различные формы феодальной ренты? Чем обуславливается преобладание той или иной формы в разных районах? Каково соотношение вилланского и свободного держания? Что представляли собою ренты свободного держания и какую роль они играли в манориальной экономике? Какую роль играли барщина и наемный труд в доменальном хозяйстве?»⁴⁶.

Приведенные вопросы отчетливо показывают, что исследователь, руководствуясь некоторой теорией (теория феодального способа производства), предполагает дать отображение определенного этапа социального развития вполне определенного общества. Е. А. Косминский реализует идеал

эмпирического исследования. Результат, к которому в данном случае он стремится, — описание аграрной Англии XIII в. Это действительно форма знания, отвечающая всем критериям научного описания.

Разбираемый пример репрезентативен еще и тем, что дает материал для выявления несостоятельности того плоско-наивного представления, согласно которому эмпирическое есть первый этап научного исследования, когда мы получаем совокупность опытных знаний, фактов, а теоретическое — его заключительный этап, когда полученные на эмпирическом уровне данные «подвергаются дальнейшему преобразованию средствами логики»⁴⁷. Не будь у исследователя определенной теории, определенного исходного расчленения, не были бы сформулированы и те вопросы, которые Е. А. Косминский ставит относительно изучаемого им явления — аграрного развития Англии XIII в. Более того, теория задает характер отбираемого эмпирического материала, а также методы его обработки. «Каким методом должны мы идти в этой работе? Единственно надежным методом я считаю, — говорит Е. А. Косминский, — путь массовых подсчетов, охватывающих значительные, по возможности сплошные территории»⁴⁸.

Иначе в научном познании и не может быть, ибо теория выступает как средство познания, она определяет способ расчленения объекта, характер видения исследуемой реальности. Вместе с тем теория — это форма организации получаемых наукой знаний, познавательного опыта. Именно потому, что в теории происходят систематизация и организация познавательного опыта, наука получает возможность производить новые знания, «выводя» их из теории, не обращаясь непосредственно к эмпирическим методам. Историческая наука в этом смысле не должна считаться исключением. Свойственная ей специфика: генетический тип теории, ограниченность возможностей эксперимента и т. п. — не меняет положения вещей.

§ 5. Проблема исторического факта

Одной из основных категорий, посредством которых в методологической рефлексии историка отображается эмпирический уровень познания, является исторический факт. В литературе ведутся дискуссии по поводу того, какой феномен обозначен этим понятием, каково его место в исследовательской работе историка. Утверждается, в частности, что «здесь

скрыт целый комплекс проблем, далеко не всегда ясных и решенных»⁴⁹. Различные обозначившихся подходов находит выражение в дефинициях исторического факта. «Строго говоря, — полагает, например, А. В. Гулыга, — исторический факт — это лишь источник, подвергшийся истолкованию»⁵⁰. Известны определения иной направленности. Вот как рассуждает, к примеру, Г. М. Иванов: «... мы бы определили исторические факты как констатированные в нашем сознании социально значимые события прошлого, реальность которых засвидетельствована их отражением в исторических источниках»⁵¹. Определения такого типа весьма распространены. Еще Н. Карсев считал, что «исторические факты — это все то, что было в прошлом как бытие существующих, так и когда-то существовавших народов и о чем мы имеем верные известия»⁵². Следовательно, в этих определениях факт отождествляется с событием прошлого; источники фигурируют лишь как средства, с помощью которых фиксируются факты-события.

Интересно, что подобная онтологическая трактовка факта встречает подчас резкую критику. «Социальный факт, в том числе единичный, — пишет В. В. Косолапов, — не является депотатом собственного имени реального события или объекта. Его смысл определяется не существом называемого объекта, а той ролью, которую играет фактическое высказывание в научной теории»⁵³. С его точки зрения, «иное, противоположное, понимание факта как реального объекта — исторического события, иногда встречающееся в литературе, явно тяготеет к платонизму»⁵⁴.

Для полноты картины сошлемся еще на одно мнение. «Дискуссия по вопросу о гносеологической и логической природе исторического факта обнаружила и объективные трудности, с которыми связано его решение, — пишет М. А. Барг. — Одна из них заключается в недифференцированности терминологии, что приводит к постоянному смешению понятий. К категории „исторический факт“ прибегают и для обозначения исторического события (т. е. „факта“ объективной действительности), и сообщения источника (т. е. „факта“, так или иначе отраженного), и, наконец, сообщения (свидетельства), выдержавшего испытание на аутентичность и тем самым ставшего фактом исторической науки»⁵⁵. По мнению же самого Барга, «вопрос о природе исторического факта есть лишь преобразованная форма основного вопроса философии»⁵⁶.

Итак, в чем же причины такой разнородности суждений о категории «исторический факт»? Вызвана ли она какими-то

недоразумениями, непониманием, ошибками или есть следствие определенных объективных факторов? Думается, что ближе к истине последнее. В повсках обоснования такого вывода позволим себе прибегнуть к литературной реминисценции. Не претендуя на роль аргумента, она, тем не менее, позволит придать зримость гносеологической модели, посредством которой, с нашей точки зрения, решаются поставленные выше вопросы. Это известная новелла Акутагавы Рююскэ «В чаше». По сюжету новеллы один и тот же случай, приведший к гибели самурая, описывается разбойником Тадаёмару, женой самурая и вызванным прорицательницей духом самого убитого. Все три их рассказа в очень существенных деталях не совпадают. Акутагава же не показывает, как было на самом деле, поэтому рассказ одного персонажа выглядит не менее убедительно, чем рассказы остальных.

Поучительность новеллы заключается в том, что феномен, обозначаемый термином «исторический факт», воспринятый с разных позиций, приобретает разные «очертания». Разные «персонажи» исторического исследования также по-разному осознают фрагменты своего мира, ибо и в историческом познании видение действительности определяется специфическими чертами практики, опыта, исследовательской позиции.

В самом деле, что такое научный факт в самом общем смысле? Видимо, есть только одно качество, делающее некоторый феномен познавательной деятельности фактом. Говорить о фактах безотносительно к практически-духовному освоению человеком мира бессмысленно, ведь еще Ф. Энгельс отмечал, что «бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где приращается наше поле зрения»⁵⁷. Абсурдно поэтому пытаться давать такое определение факту, которое выходило бы за те границы, где прекращается поле зрения исследователя. А то, что делает факт фактом, есть, по нашему мнению, свойство быть результатом (продуктом) эмпирического исследования.

Выше отмечалось, что эмпирическое исследование всегда представляет собой «наложение» некоторой концептуальной схемы на действительность. Иными словами, объект исследования репрезентирован чувственно данными (фиксируемыми средствами наблюдения) феноменами. Производимое в эмпирическом исследовании знание, соответствующее, разумеется, эталонам научности, нормам научной рациональности, и может быть квалифицировано как факт.

Если теперь согласиться с предлагаемым ходом рассуждений, то разногласия в определениях исторического факта представятся вполне обоснованной, и вот почему.

Во-первых, с позиций источниковеда, — глядящего сквозь призму своей познавательной деятельности, смысл которой заключается во «вписывании» некоторого x в систему исторической реальности, а значит, и в систему отношений исторического исследования, — исторический факт и должен определяться как «факт-источник».

Во-вторых, в историографии существует фигура исследователя, занятого феноменологической реконструкцией прошлых событий, их «изображением» (как если бы это делал некий ученый, свидетель этих событий). Продуктом такой деятельности будет та или иная картина прошлого. Понятно, что специалист, занятый в этой области историографии, определит исторический факт как «факт-событие».

В-третьих, в историографии помимо такой реконструктивной деятельности существует и познавательная деятельность собственно научного типа. Ученый-историк, подобно физику, химику и пр., решая эмпирические задачи, получает в результате эмпирические знания. Эти знания мы должны квалифицировать как исторические факты, хотя это иные факты, нежели те, с которыми сталкивается источниковед и историк, создающий феноменологическую реконструкцию прошлого. Это, согласно терминологии некоторых историков, есть «факт-знание»⁵⁸.

Наконец, нельзя считать совершенно бесспорным утверждение о том, что проблема исторического факта редуцируется к основному вопросу философии. Правда, в такой трактовке эта проблема не имеет непосредственного отношения к историческому исследованию. Она перемещается в сферу оснований исторического познания, становится тождественной вопросу о реальности исторического прошлого, о его существовании и отношении к познающему субъекту. Но это уже область гносеологического анализа. Поэтому и подобная трактовка исторического факта может устроить только гносеолога, а не историка.

ГЛАВА IV

ИСТОРИК И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Проблема статуса объекта в историческом исследовании, т. е. характера изучаемой историком реальности и его к ней отношения, далеко не проста. Эту проблему можно назвать «проблемой исторической реальности» — по аналогии

с философией физики, где давно уже обсуждается проблема физической реальности. На наш взгляд, это нечто большее, чем простое уподобление. Для методологии исторической науки проблема существования ее объекта имеет не меньшее значение, чем для квантовой механики или космологии.

§ 1. Проблема исторической реальности

Восприятие человеком исторического прошлого весьма парадоксально. Герой повести Ю. Трифонова «Другая жизнь», историк, изучающий революционное движение, будучи не в состоянии проникнуть в события прошлого, посещает спиритический сеанс. На этом основании один литературный критик обвинил писателя в мистицизме. Однако внимательно прочтя повесть, можно убедиться, что отнюдь не оккультные мотивы двигали пером литератора. Герой повести относится к спиритам достаточно скептически. Посещение же спиритического сеанса — это выражение минутного отчаяния от непроницаемости прошлого, слабость, подобная той, которая заставляет подчас тяжело больного человека обращаться к знахарям, экстрасенсам и пр.

Совсем иное настроение у героя рассказа А. Чехова «Студент». «Студент духовной академии», пересказывая новозаветный сюжет о трехкратном отречении апостола Петра, ясно ощутил взаимосвязь времен, полную проницаемость прошлого: «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дотронул другой»¹.

Чем же объясняется противоречивость восприятия исторического прошлого? Прежде всего тем, что прошлое никогда не дано исследователю в «живом созерцании», всегда лишь опосредованно, через источники. В этом как раз много общего с квантовой механикой: микромир тоже не дан исследователю «сам по себе», но лишь в его взаимодействии с макроскопическими условиями наблюдения. Это обстоятельство, как известно, породило многолетнюю (не закончившуюся по настоящее время) дискуссию, затрагивающую философские основания физики.

Выявились две конкурирующие гносеологические установки. Согласно первой, «хотя микромир объективен и существует независимо от нас, о его свойствах безотносительно к субъекту просто ничего нельзя сказать; сама постановка

вопроса о свойствах мира „как такового“⁴, объективного мира вне нас, становится неправомерной»². Согласно другой установке, утверждение зависимости наших знаний о микромире от условий наблюдения не нужно «для построения квантовой теории»³, поскольку «с точки зрения соотношения объективного и субъективного моментов квантовая физика принципиально не отличается от классической»⁴.

Легко показать, что в обращении историка к вопросам, подобным тем, которые обсуждают физики, будет не меньше смысла. Приведем следующий выразительный пример, показывающий, что параллели здесь действительно есть. Это анекдот, излагаемый обычно в старых учебниках. «Сэр Уальтер Ралей, известный деятель XVII века, по политическому делу был посажен в Тоуэр. Он вздумал в тюрьме изложить исторические события, в которых он сам принимал деятельное участие. Однако он не закончил этой работы и бросил свой манускрипт в печь под влиянием следующего происшествия. Из окна своей камеры Ралей был свидетелем драки и спора, происходивших на тюремном дворе. На другой день ему пришлось слышать рассказы об этом событии от двух очевидцев, причем оказалось, что каждое из этих лиц представляло ему дело в разном свете, и оба рассказа не соответствовали тому, что видел сам Ралей. После этого инцидента Ралей решил, что если показания очевидцев простого происшествия так недостоверны, то он, как очевидец более сложных исторических событий, тем более не может претендовать на точность и достоверность изложения»⁵.

Характер рассказанного эпизода никак не может послужить аргументом против вывода о том, что проблема исторической реальности значима для самосознания историографии. Не следует ли и для исторической науки сформулировать принцип, согласно которому объект исторического исследования существует для историка лишь в «сплавленном» с условиями его наблюдения виде? Иными словами: вправе ли историк говорить о событиях прошлого «как таковых», независимо от источников, которыми он располагает? Или же ему, вслед за физиками, нужно признать «концепцию объективного мира»?

Все эти вопросы нельзя оставить без ответа, и прежде всего потому, что таковы требования самого научного познания, причем, конечно, не только исторического. «Едва ли, — считает Т. Кун, — любое эффективное исследование может быть начато прежде, чем научное сообщество решит, что располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные

следующим: каковы фундаментальные единицы, из которых состоит Вселенная? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в отношении таких существей и какие методы могут быть использованы для их решения? По крайней мере в развитых науках ответы (или то, что полностью заменяет их) на вопросы, подобные этим, прочно закладываются в процесс обучения, которое готовит студентов к профессиональной деятельности и дает право участвовать в ней. Рамки этого обучения строгие и жесткие, и поэтому ответы на указанные вопросы оставляют глубокий отпечаток на научном мышлении индивидуума»⁶.

Итак, какую интерпретацию исторической реальности следует избрать? Дано ли историку прошлое только в отношении к средствам познания, источникам или же особым причинам отказываться от эпистемологических установок классической науки у него нет?

Внимательный анализ все же показывает, что историческое исследование существенно отличается от познания квантово-механических объектов. Макро- и микровеличины в физике — явления разного порядка. Это два разных мира. Они «живут» по разным законам. Что касается историка, то он относится к тому же миру, к которому принадлежат и исследуемые им события. При всех возможных особенностях — это явления одного порядка. Историк не может непосредственно наблюдать события прошлого, но он может наблюдать аналогичные события, современные ему. В его силах эксплицировать присущие этим событиям инвариантные, независимые от наблюдателя структуры, а вместе с тем он способен фиксировать механизмы, связывающие явления и их отображения. В последнем случае он получает объективные критерии для суждений о характере связи изучаемого события прошлого с источниками.

Понятно, что на место опыта историка может быть поставлен как опыт целого ряда наук (психологии, лингвистики, физики и т. п.), так и социальный, человеческий практический опыт вообще. Не случайно основоположник научной критики источников Лоренцо Валла в качестве первого аргумента в доказательство подложности «Константинова дара» выдвинул утверждение, «что ни один человек в здравом уме и твердой памяти не мог передать свое наследие — Рим — другому лицу. Но если бы и нашелся такой человек, его должны были остановить его сыновья и близкие»⁷. Л. Валла апеллирует, таким образом, к повседневному опыту человеческих взаимоотношений, который, как ему представляется, дает объ-

ективную, независимую от текста памятника картину события.

Нетрудно привести и примеры обращения современного историка к знаниям об объективных взаимосвязях памятника с прошлой действительностью. «Представления об авторской собственности,— говорит Д. С. Лихачев,— сложились исторически. Они были своеобразны в античности и в средние века. Громадное большинство древнерусских книжников, с нашей точки зрения, оказалось бы плагиаторами и компиляторами чужих произведений. Но, будучи и теми и другими, они не выставляли на вновь создаваемых ими сводах, новых редакциях произведений своих собственных имен, а если и выставляли, то не видели в этом нарушения „авторского права“. Это происходило потому, что коллективность творчества, характерная для фольклора, еще не была изжита в Древней Руси. Особенно ярко эта коллективность творчества проявилась в летописании, где каждый летописный свод являлся продолжением и соединением работы многих десятков летописцев. Кроме того, в Древней Руси, как и в античности и на средневековом Востоке, было очень приято подражать какому-нибудь известному автору и выставлять на этом подражании его имя. В Древней Руси существовало множество подражаний Иоанну Златоусту»⁸.

Мы привели соображения в пользу приемлемости для историографии «концепция объективного мира». Правда, повод для возражения как будто появляется в случае, когда памятники прошлого и историк принадлежат к разным эпохам, разным социальным системам. Различие между двумя действительностями, представляющими разные эпохи, в самом деле способно достигать большого контраста. Это касается всех сфер человеческого бытия. Сошлемся на представления о возрасте, в частности детстве, человека. Известно, что «механизмы социализации и символические представления о детстве были в средневековой Европе совсем иными, чем в Новое время. Средневековой мысли было известно понятие «возрастов» или эпох жизни, но за ними не стояла идея развития личности. В живописи раннего средневековья ребенок обычно изображался просто как уменьшенная копия взрослого. Вплоть до XVII века не было специфически детских костюмов: как только ребенок расставался с пеленками, его начинали одевать по соответствующей сословной моде. Не существовало, по-видимому, и специфически детских игр — дети, в меру своих возможностей, развлекались так же, как взрослые»⁹.

В историческом познании, таким образом, есть свой «парадокс часов».

§ 2. «Парадокс часов» в историческом познании

Обращаясь к познанию прошлых эпох, историк оказывается в весьма своеобразной ситуации. Можно сказать, что часы системы, в которой находится наблюдатель, и часы исследуемой системы идут по-разному, т. е. каждая система имеет собственное время. Различие это может быть близким к нулю или достаточно большим, но, поскольку речь идет об историческом познании, оно всегда палицо. На языке обычных представлений это означает, что течение процессов в действительности исследователя отличается от их течения в исследуемой действительности. Это как раз тот случай, когда ссылка на Гераклитову реку особенно уместна.

Но, спрашивается, как в подобных обстоятельствах познание прошлого вообще возможно? Что позволяет историку преодолевать разрыв во времени? Наконец, почему прошлое, т. е. система, часы которой идут в ином ритме, нежели часы наблюдателя, попадает в его поле зрения? Не логично ли предположить, что прошлое, подобно физическим процессам, для фиксации которых недостаточно разрешающей способности человеческих органов чувств и приборов, просто невидимо?

Для ответа на поставленные вопросы необходимо детализировать и уточнить принятую модель. На самом деле имеется не одна пара часов, а два пересекающихся множества. Другими словами, существуют «зоны», где часы наблюдателя и часы исследуемой системы идут синхронно, а также «зоны» с разным течением времени. Этот тезис можно сформулировать и по-другому: происходит «постоянная синхронизация» часов двух этих систем. «Можно, — считает Н. М. Есипчук, — предположить, что в материально-практической деятельности постоянно формируется обратная связь со всей прошедшей историей, буквально с наиболее удаленными истоками человеческой истории. Ведь при таком условии предметом деятельности выступает опыт и через него — прошедшая социально-историческая реальность. Субъект общественной практики предметно наследует, воспринимает, актуализирует и воспроизводит опыт и вместе с тем создает обратную материальную, общественную по своей природе связь с объективной действительностью прошедшего времени, с субъектами, преобразовавшими ее»¹⁰.

С гносеологической точки зрения это означает, что те или иные фрагменты реальности, в которой находится исследователь, могут стать средствами (объектами оперирования)

описания феноменов прошлого. Так, известный археолог утверждает: «Технологическое совершенство палеолитических орудий труда иногда было весьма значительным и требовало определенных производственных навыков, с чем, как правило, сталкиваются современные исследователи в попытках моделировать трудовую деятельность древнего человека. Однако, несмотря на совершенство изделий, они потенциально могли быть изготовлены любым членом коллектива и практически все владели соответствующими производственными навыками. Материалы культурно-хозяйственных типов архаических охотников и собирателей, известные нам по этнографии, свидетельствуют об этом достаточно убедительно»¹¹.

Нетрудно увидеть, что эти выводы сделать нельзя, если не учитывать опыта обращения с современными орудиями. Вместе с тем основанием этих выводов служит здесь допущение о тождестве определенных явлений жизни как сейчас, так и в эпоху палеолита. И хотя историки, как правило, не отдают себе в этом отчета, без такого допущения историческое познание было бы невозможно. Однако, являясь необходимым, оно отнюдь еще не достаточно. В противном случае продуцируемые историком образы прошлого были бы подобны полотнам художников Возрождения на библейские сюжеты, персонажи которых ни по костюмам, ни по другим реалиям быта совершенно не отличаются от европейского горожанина XV—XVI вв. Поэтому второе необходимое условие исторического познания — наличие исторической памяти. Социум, культура представляют собой системы с исторической памятью. Исходная форма такой памяти — совокупность «следов», «остатков» прошлого. Это естественная потенциальная историческая память. Именно ее наличие позволяет судить о социальных реальностях, часм которых асинхронны часам наблюдателя. Правда, для этого естественная потенциальная память должна быть преобразована в искусственную и актуальную. Одной из главных социальных задач историка как раз и является построение актуальной исторической памяти. С ее формированием в общественном сознании появляется категория прошлого, которая и обозначает аспекты действительности, существующие лишь посредством исторической памяти.

Таким образом, видение историком исследуемой реальности всегда «бинокулярно». Свой объект он проецирует на две «системы отсчета»: ту, в которой он бытует в качестве наблюдателя, и ту, которая представлена исторической памятью. Это и создает предпосылки для определенных рас-

согласований. Сошлемся для примера на известную кооперацию «антикваристского» и «презентистского» подходов в историко-научных исследованиях. Каждый из этих подходов возникает вследствие абсолютизации одной из одинаково необходимых историческому познанию позиций.

Вероятно, есть определенный резон в том, чтобы в таком сопряжении позиций увидеть основное содержание принципа историзма. Вряд ли плодотворно то предельно широкое толкование данного принципа, которое превалирует в современной литературе, ведь фактически происходит отождествление историзма со всем категориальным каркасом исторического познания. «„Историзм“ — считает, например, Г. А. Подкорытов, — является понятием ... фундаментальным и синтезирующим, включающим в себя и знания о действительности, и способ ее познания. Историзм — это научный принцип, т. е. исходное положение для получения системных знаний, методологическое требование, предъявляемое к познанию, своеобразное правило осуществления познавательных операций... Историзм требует рассматривать явления в их развитии, обращаться к истории предмета при познании его сущности, учитывать прошлые знания при решении современных теоретических проблем, а исторический метод показывает, как это осуществить. Для выполнения этих задач необходима целая система познавательных средств»¹².

Все это, бесспорно, имеет отношение к историческому познанию. Однако важно выделить здесь главный, так сказать, порождающий фактор. Таким фактором, по нашему мнению, является способ разграничения прошлого и настоящего, т. е. норматив интерпретации событий, находящихся на их «пересечении». Историзм — это определенная форма понимания структуры исторического времени.

Реальность, относительно которой историк строит знание, — явление особого рода. «История, — говорил Маркс, — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»¹³. Но как исследовать саму эту деятельность?

§ 3. Аспекты изучения человеческой деятельности и их взаимосвязь

Обращение к анализу человеческой деятельности ставит исследователя в сложное положение, не получившее еще, как представляется, адекватного осознания. И дело не только в многообразии сторон и проявлений процесса деятельности, порождающем проблему совмещения его теоретических отображений. Подобные трудности присущи по-

званию любой сферы реальности. Кстати, можно отметить, что философия выполняет одну из основных своих социокультурных функций именно тем, что задает понятийную модель для соотношения разных дисциплинарных предметов, складывающихся в познании относительно некоторой объектной области. Довольно часто эту процедуру представляют как «обобщение». Строго говоря, однако, здесь имеет место другое. Посредством философской рефлексии формулируются способы перехода между разными предметными областями, разными парадигмами. В рамках герменевтической модели познания данная совокупность операций должна быть выражена при помощи категорий «понимание», «коммуникация», «перевод». Таким образом, не «обобщение», не «синтез», а построение системы междисциплинарных коммуникаций, — вот призвание философской рефлексии в рассматриваемой ситуации.

Но наиболее принципиальная особенность человеческой деятельности, поскольку она попадает в поле научных исследований, — это не просто многообразие возможных предметов ее анализа. Обстоятельства, с которыми сталкивается исследователь в этом случае, могут быть уподоблены тем, с которыми сталкиваются физики, когда хотят подчеркнуть специфику квантово-механических объектов.

Действительно, в исследовании деятельности возникают два момента, отсутствующие в познании систем недействительной природы. Во-первых, непосредственно данными исследователю параметрами изучаемой реальности оказываются ее «самоописания», т. е. не сама деятельность, а формы, в которых система, осуществляющая деятельность, себя отражает. Но в то же время эти формы отражения отнюдь не могут быть использованы в качестве эквивалента теоретических моделей, применяемых в решении собственно познавательных задач. Сторонники феноменологически ориентированной социологии в данной ситуации — а они ей придают исключительное значение — обычно обращаются к притче о некоем инопланетянине-социологе, посчитавшем, что его ассистент, посланный собрать эмпирический материал о земном обществе и принесший вместо этого полное собрание всех издаваемых на Земле социологических журналов, задание, в сущности, не выполнил¹⁴.

Этот искусственно сконструированный пример хорошо иллюстрирует общую особенность изучения процессов человеческой деятельности, форм ее эмпирической данности. Исследуя любые эмпирические проявления человеческой деятельности, познающий субъект оказывается в обстоятельст-

вах, во многом аналогичных тем, о которых рассказывает притча. Любые феномены, составляющие человеческую деятельность, суть носители «смыслов», т. е. качеств, отнюдь не сводимых к каким-либо вещественным, энергетическим и прочим моментам. С этой точки зрения их природа подобна природе знака.

Во-вторых, оказывается, что соотношения компонентов деятельности определяются именно их «смыслами», а не физическими, химическими и тому подобными качествами. Точнее говоря, смыслами будет обусловлен выбор свойств, по которым явление включается в деятельность. Поэтому, вопреки Дюркгейму, считавшему, что «социальные факты нужно рассматривать как вещи»¹⁵, верно, скорее, обратное: вещи следует рассматривать как социальные факты. Конечно, этот принцип применим лишь к тем исследованиям и соответственно научным дисциплинам, которые ориентируются на специфическое изучение деятельности, т. е. такое, которое не считает своим идеалом «социальную физику».

В практике обществоведения имеют место случаи, когда социальная заданность вещей (а значит, и необходимость ее учитывать) становится особенно наглядной. Соплемяя, в частности, на археологию и напомним те ошибки, которые возникают здесь при интерпретации эмпирического материала: ошибки модернизации, архаизации, социализации и натурализации.

Ситуация, в которых совершаются эти ошибки, показательна своей «пограничностью». Историка (археолога) действительно интересуют отнюдь не все параметры исследуемого эмпирического явления. Вещные свойства ему подчас достаточно безразличны или важны лишь постольку, поскольку позволяют идентифицировать исследуемый памятник. Правда, можно возразить, что в современной исторической науке довольно широко используются естественнонаучные методы анализа, например радиоуглеродный, магнитный, дендрохронологический, когда важны именно вещные свойства памятника. Но, применяя эти методы, историк не рассматривает их как равнозначные собственно историческим методам исследования, ибо они дают лишь некоторые промежуточные результаты, которые еще должны быть ассимилированы посредством нормативов исторической науки.

Но если даже вещи обращены к субъекту не своими вещными свойствами, а экспериментально не фиксируемыми «смыслами», то тем более такая ненаблюдаемость присуща всем другим репрезентаторам деятельности. Таковы, скажем, моральные явления, нравственные поступки. Они тоже ли-

щины «вещества чувственности». «Сами по себе действия в их непосредственно наблюдаемом виде, в физическом смысле не составляют поступка. Безотносительно к норме, к чувственно не воспринимаемой определенной санкции сознания никакое действие — не поступок»¹⁶.

Итак, с этой точки зрения человеческая деятельность оказывается не менее «странным миром», чем мир квантовой физики. Ведь сами по себе вещи не исчерпывают еще деятельность. Поэтому в современной философской литературе отмечается, что имевшие место в прошлом попытки отождествления «материального социального процесса с вещиностью, чувственной данностью вовлеченных в этот процесс предметов», когда «не труд, деятельность, а предметы, вещи объявлялись субстанцией социальных отношений», были проявлениями вульгарного материализма¹⁷. Какими все-таки способами (процедурами) вести научное исследование человеческой деятельности? Может быть, обратиться к опыту изучения микромира с помощью макроприборов? Действительно, можно как будто сказать, что по отношению к процессам деятельности вещи — те же макроприборы. Но эта аналогия будет лишена эвристической значимости, так как «подключение» таких макроприборов невозможно без обращения к тому в них, что как раз чувственно не дано. Иными словами, если в квантовой физике о микрообъекте можно судить по его взаимодействию с макроприбором, то в изучении деятельности ни о каком взаимодействии между компонентами, не обладающими «веществом чувственности», и собственно вещами говорить нельзя. Так, ясно, что между моральной нормой и поступком, называем вещи и ее использованием не существует материальной связи.

Описанные выше трудности могут быть преодолены только одним путем — посредством оперирования «смыслами», т. е. социокультурными формами, придающими вещам их собственно деятельностьную определенность. Смыслы, конечно, нельзя наблюдать, они возникают в актах понимания. Понимание же достигается благодаря тому, что познающий субъект владеет нормами культуры, прежде всего нормами коммуникации, согласно которым совершается деятельность.

Все это ставит исследователя процессов человеческой деятельности в очень своеобразное положение. Оказывается, что в эмпирическом анализе деятельность феномены не могут быть отчуждены и противопоставлены исследователю, подобно тому как квантово-механические объекты нельзя

изучать безотносительно к определенному классу макроприборов. Возникает поэтому вопрос: а возможно ли вообще исследование человеческой деятельности, отвечающее основным критериям научной рациональности?

Хотя положительный ответ на этот вопрос очевиден — он вытекает из опыта марксистского анализа истории, — в методологической рефлексии этот опыт еще не получил адекватного отражения. В подтверждение сказанного сошлемся на развиваемое В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзонем представление о трех аспектах изучения истории. «*Объективно-системный подход*, — утверждают они, — позволяет понять развитие общества как закономерный естественно-исторический процесс; *субъективно-деятельностный* — как процесс и результат человеческой активности; *гуманистически-личностный* — как выявление человеческого смысла истории»¹⁸.

Однако материалистическое понимание истории — это и есть понимание целенаправленной деятельности субъекта как естественно-исторического процесса! «...Понятно само собой, — подчеркивал В. И. Ленин, — что без такого воззрения не может быть и общественной науки»¹⁹. Если история, по Марксу, есть деятельность преследующего свои цели человека, то дело как раз в том, чтобы найти формы научного ее описания, ибо по самой своей сути наука представляет себе реальность в виде совершающегося помимо воли и сознания человека процесса. Поэтому одно из двух: либо «субъективно-деятельностный» подход следует вынести за скобки социальной науки, по крайней мере квалифицировать как особый тип научного знания (об этом мы более подробно будем говорить в следующей главе), либо он означает простую констатацию того содержания, которое представлено тем же тезисом К. Маркса о человеческой истории. Но Маркс, напомним, рассматривает данный факт не как некий особый подход в исследовании истории. «Предпосылки, с которых мы начинаем, — говорится в «Немецкой идеологии», — не произвольны, они — не догма; это — действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это — действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем»²⁰. Иначе говоря, фиксируется лишь определенная эмпирическая особенность изучаемой реальности.

Что же касается «гуманистического» подхода, то оп, будучи, по определению, выражением ценностного, аксиологического отношения человека к миру, никак не может быть спроецирован на плоскость научного анализа (в обычном, стандартном его значении). Другое дело, что сами формы ценностных отношений правомерно рассмотреть в контексте естественно-исторического подхода, т. е. научно. Так, можно показать, как гуманистическое мировоззрение было детерминировано особенностями развития буржуазного способа производства и пр. Более того, за исключением натуралистических школ, вся домарксистская историография была выдержана именно в духе «субъективно-деятельностного» подхода, а «гуманистический» подход был в высшей степени свойствен, например, социалистам-утопистам. Конечно, все стало бы на свои места, если бы речь шла о ненаучных в собственном смысле способах отображения деятельности: литературе, искусстве, морализировании и т. д. Но для подобной интерпретации позиция В. Ж. Келле и М. Я. Ковальсона оснований не дает. Поэтому, с нашей точки зрения, проблема состоит именно в осознании способов перехода от субъективно-деятельностной данности, которой представлена эмпирия социальной жизни, к формам научного, т. е. естественно-исторического ее описания. Но как представить деятельность в виде объективного, подчиняющегося имманентным законам процесса, если ее «материал», ее проявления даны исследователю только в субъективной форме?

Простая редукция человеческой деятельности к отношениям вещей помочь в данном случае не может. Возможен, однако, другой путь построения научного знания о деятельности, удовлетворяющий в то же время критериям научной рациональности. Смыслы, в которых зафиксированы именно деятельностные, социальные качества вещей, можно использовать как средства познания, своего рода индикаторы, показывающие социальные траектории вещей, и тем самым представить весь процесс деятельности в вещной форме. Суть в том, чтобы, оперируя смыслами, выявить и описать законы, которым подчиняются отношения вещей независимо от их «смысловой» данности. Так поступает, например, генетик: наблюдая те или иные изменения фенотипа, он делает вывод о существовании определенных объективных механизмов наследственности. Но таков же и путь отображения деятельности в виде естественно-исторического процесса. Не превращаясь в чисто природный (физический, биологический и т. д.) феномен, человеческая деятельность предстает и как

процесс материальный. Так, имея дело непосредственно со смыслоорганизуемыми структурами (экономическим сознанием) производства, обмена, распределения и потребления буржуазного общества, иными словами — всего его вещного мира, Маркс открыл объективные законы его функционирования и развития. Тем самым история буржуазного общества была представлена в виде естественно-исторического процесса. Показательно, в частности, использование К. Марксом термина «критика» в названиях своих работ, в том числе и «Капитала». Это можно объяснить тем, что эмпирической реальностью Марксова анализа были формы сознания («смыслы»). Именно благодаря такой «критике» Маркс устанавливает подлинные соотношения «смыслов» и вещей.

Вместе с тем смысловые формы независимо от того, являются ли их референтами вещи, или нет, образуют особую реальность, с присущими только ей механизмами существования. Однако если механизмы функционирования и развития вещных аспектов деятельности складываются независимо от «смыслов» и соответственно от их понимания (понимание лишь способ эмпирического восприятия, индикатор вещных отношений), то сами социокультурные формы не могут быть отделены от процесса понимания. Они объективны только по отношению к отдельно взятому индивиду, осуществляющему процедуры понимания. Поэтому исследование деятельности, не нацеленное на то, чтобы представить ее как естественно-исторический процесс (ведь «смыслы» имеют свою собственную, не вещную природу, и именно ими деятельность репрезентирована на эмпирическом уровне), сведется к описанию объективных структур, лежащих в основе оперирования смыслами.

Таким образом, в рамках эмпирических научных форм изучения деятельности принципиально возможны два способа ее теоретического отображения, гносеологически достаточно разнородные: во-первых, естественно-исторический, во-вторых, основанный на традиционной оппозиции «ватура — культура», т. е. культурологический.

Однако одновременно реализовать оба эти подхода нельзя. Начиная движение в русле одного из них, мы тем самым элиминируем другой. Как же в таком случае соотносить результаты, получаемые при том и другом подходе? Основываясь на материалистическом понимании истории, можно утверждать, что структуры, описание которых дает естественно-исторический подход, определяют движение структур, выявляемых культурологическим подходом в про-

цессах деятельности. Это непосредственно вытекает из принципа, согласно которому идеологические отношения представляют собой надстройку над отношениями материальными. Применительно к рассматриваемой ситуации данный принцип означает, что развитие и функционирование деятельности как целостного процесса хотя и предполагает наличие смыслоорганизующих структур, но из них самих по себе выведено быть не может. На уровне целостного процесса деятельность, ее направленность и изменения детерминируются структурами, лежащими в основе оперирования вещами. А эти структуры складываются независимо от структур, задающих оперирование смыслами. Соответственно и тип вторых определяется типом первых, а не наоборот. Говоря еще проще, хотя непосредственно деятельность репрезентирована социокультурными формами (смыслами), содержательно она есть отношение вещей.

Раздел II

СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ГЛАВА V

ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКИ ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ФОРМЫ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ В ИСТОРИОГРАФИИ

Большинство специалистов в области гуманитарного знания (а к нему традиционно относится и историческая наука) склонны так или иначе акцентировать специфику гуманитарии. «Гуманитарные науки,— подчеркивал М. М. Бахтин,— науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, то это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)»¹.

Возможны и иные способы отграничения научных дисциплин, обращенных к миру человека, от наук, строящих себя по образцу естествознания. «Психолог или лингвист, изучающий поведение другого человека,— пишет Р. М. Фрумкина,— имеет дело с объектом, равным ему по совершенству или, быть может, превосходящим его. В силу этого отношение „Исследователь — Объект“ превращается в симметричное отношение между двумя исследователями.

Исследователь I имеет некоторую модель объекта. Но объект, равный Исследователю I по совершенству, сам превращается в Исследователя: назовем его Исследователь II. Имея этот новый статус, Исследователь II получает возможность посмотреть на Исследователя I как на своего рода Объект и построить свою собственную модель Исследователя I.

Тогда перед нами два Исследователя, каждый из которых располагает моделью другого. Ситуация как таковая не нова. Например, диалектолог (Исследователь I) крайне озабочен тем, чтобы его информант (Объект) не превратился

в Исследователя II. Как только информант — посетитель диалекта превращается в Исследователя II, он имеет не только свою модель диалектолога, но может влиять на представления диалектолога о себе — например, подстраиваться под его установки и говорить „как требуется“. В этом случае модель Объекта, которую построит Исследователь I, будет простой функцией того представления о себе, которое Объект — он же Исследователь II — конструирует специально для Исследователя I. Но ведь ситуация „диалектолог — информант“ — просто привычный пример; аналогичный конфликт возникает в любом эксперименте, где экспериментатор и испытуемый — мыслящие структуры. Итак, ситуация не нова, но пов и актуален сам подход.

Подобный подход, показывающий, что мудрость Исследователя не обязательно превосходит сложность Объекта, переводит нас в область иной „космологии“, нежели обжитой и привычной „физический“ космос, куда мы безнадежно продолжаем пытаться поместить такой феномен, как язык»².

Более простым (не столь детализированным) выражением той же самой, по существу, идеи является высказывание известного ориенталиста В. М. Алексеева, обращающегося к исходным принципам китайистики: «Надо превратить китайца одновременно и в объект, и в субъект научного творчества, и только в гармонии этого чередования может зародиться фермент науки, увы, доселе полностью отсутствующей»³.

Если же переводить вопрос в общий план, а именно выяснять, есть ли существенные аргументы для демаркации историографии и дисциплин естественно-научного типа, и если да, то в чем они состоят, нельзя не коснуться двух сложившихся в западной методологии истории традиций.

§ 1. Гуманитарное познание как форма ценностного освоения действительности

У истоков одной из этих традиций стоят В. Виндельбанд и Г. Риккерт, представители баденской школы неокантианства. Как известно, эта школа придавала большое значение борьбе против универсализации гносеологического опыта естествознания, или «натурализма». Радикальное средство такой борьбы видели в отстаивании статуса научности историографии. «Признание за историей научного характера, — писал Риккерт, — означало бы потрясение основных натуралистических понятий. Ибо, при послед-

довательности в мышлении, там, где действительность отождествляется с природой, для истории нет места»⁴.

Историография, будучи по своей гносеологической сущности наукой, кардинально отлична от естественно-научных дисциплин — таково главное утверждение Риккерта. Причем термин «исторически науки» объединяет у него «все те опытные науки, которые не суть естественные науки»⁵. С этих позиций Риккерт полемизирует со всеми, кто, подобно, например, Миллю, постулировал несоответствие историографии идеалам научности и в использовании естественно-научных методов видел средство подъема ее на ступень научной дисциплины.

Что же, по Риккерту, выделяет исторические науки в особую гносеологическую категорию? Прежде всего — способ образования понятий. Он заключается в индивидуализации, индивидуализирующей репрезентации действительности в научных понятиях. «Тот или иной предмет, — пишет Риккерт, — часто интересует нас лишь постольку, поскольку он имеет что-либо особенное, ему только присущее, что отличает его от всех других объектов. Наш интерес, следовательно, и наше знание о нем направлены всецело на его индивидуальность, на то, что делает его незаменимым, и если мы также, конечно, знаем, что и его, подобно всем другим объектам, можно рассматривать как экземпляр какого-нибудь родового понятия, то мы все же не желаем приравнивать его другим вещам, стремимся выделить его из группы; на языке это отражается в том, что мы предмет в таком случае обозначаем не родовым, а собственным именем»⁶.

В противоположность этому естествознание идет путем генерализации: действительность рассматривается с точки зрения общего, повторяющегося, свойственного множествам объектов. Исследуемые объекты выступают как экземпляры общего родового понятия, «которые всегда могут быть заменены другими экземплярами того же понятия»⁷.

Особенности познаваемой реальности сами по себе еще не диктуют выбор исследовательских форм ее отображения. Одни и те же феномены могут описываться как посредством генерализации, так и индивидуализации. Поэтому, в частности, специфику исторических наук нельзя видеть в их обращенности к исследованию духовного, психического. Конечно, говорит Риккерт, всякому ясно, что радость, воспоминание и воля — не такие же явления, как купорос и сахар. Но «натурализм вполне справедливо будет утверждать, что, если духовное... и не есть... тело, оно все же всецело относится к природе и поэтому в одинаковой степени со все-

ми другими объектами природы должно стать предметом единого и однообразного научного рассмотрения. И это не простая лишь теория: практика современной психологии устанавливает достоверность этого утверждения и ставит его выше борьбы различных методологических воззрений»⁸.

Исходя из этой посылки Риккерт, с одной стороны, относит к разряду исторических наук геологию и географию, а с другой — признает, что общественную жизнь можно изучать в рамках той же логики, которой пользуется естествознание. Это — путь социологии. Точно так же двойным образом может развиваться и развиваться биология. Вообще, противоположность исторических наук и естествознания не абсолютна. В «чистом» виде каждая из этих научных форм мыслима лишь как идеал, как предельный случай. Там, где естествознание видит свою цель в изучении индивидуальных объектов, оно превращается в историографию. Но и историография использует генерализацию в качестве средства, как промежуточный этап исследования.

Доминирующее положение метода индивидуализирующего освоения действительности в историографии обусловлено, согласно Риккерту, особенностями ее эмпирического материала. «В отношении метода, — писал он, — отдельные науки являются либо генерализирующими, либо индивидуализирующими. Их материал состоит либо из объектов природы, т. е. действительности, утратившей всякую связь с ценностями, либо из явлений культуры, т. е. действительности, отнесенной к ценностям»⁹. Иными словами, объектом исследования в историографии становятся лишь ценные, значимые с точки зрения общества события и явления. Сама исследовательская процедура, осуществляемая историком, есть процедура отнесения к ценности. Но ценным может быть лишь то, что уникально и неповторимо. Поэтому историография и объявляется историографической наукой.

С момента ее появления неокантовская теория исторического познания (с ее противопоставлением индивидуализирующей историографии генерализирующему естествознанию) была воспринята марксистской критикой как реакция на материалистическое понимание истории, как форма отрицания объективных законов исторического процесса¹⁰. Вместе с тем и в немарксистской методологической литературе идея конфронтации этих двух видов научного познания далеко не всегда получает одобрение. Вот мнение английского этнографа Б. Малиновского: «Базальное различие номотетических и идеографических дисциплин есть философское заблуждение, которое давным-давно должно было исчезнуть;

если бы просто рассмотрели, что это значит — наблюдать, реконструировать или утверждать исторический факт. Суть дела состоит в том, что большая часть принципов, обобщений имплицитно содержится в реконструкциях историка и они по своей природе скорее интуитивны, нежели систематические. Типичный историк и многие антропологи затрачивают большую часть своей творческой работы и эпистемологического досуга на то, чтобы опровергать понятие научного закона в культурном процессе, возводить непроницаемые перегородки между гуманизмом и наукой и утверждать, что историк или антрополог может «вызывать» к жизни прошлое посредством некоего особого проникновения, некоторой интуиции или откровения, короче говоря, что он может полагаться на божью благодать, а не на методическую и кропотливую систему работы»¹¹.

Не подлежит сомнению, что бадецкая трактовка исторического познания (как она представлена у Риккерта и Виндельбанда) оставляет место для критических ожиданий. Но, фиксируя это, было бы ошибкой упустить из виду имеющиеся в ней рациональные моменты. Во-первых, культуре действительно присуще ценностное освоение действительности, противостоящего человеку мира. Это обстоятельство, как мы постараемся показать, не может не влиять на познавательные формы, поскольку последние опосредуют аксиологическое отношение субъекта к объекту. Во-вторых, историческое исследование включает в себя и эмпирическую реконструкцию прошлого, точнее — феноменологическую реконструкцию (выше мы говорили об этом подробно). Феноменологическая реконструкция предполагает описание событий и явлений исторического прошлого в их индивидуальности и неповторимости. Описание Полтавской битвы, например, должно быть таким, чтобы ее нельзя было спутать с битвой при Ватерлоо. Другое дело, сводима ли историографическая деятельность в целом к решению задач феноменологической реконструкции прошлого (в третьей главе мы пытались показать, что это далеко не так).

Вернемся, однако, к ценностным аспектам освоения человеком действительности. Ценности — феномены, в которых находят свою культурную форму сущностные силы человека. Ценностное освоение мира делает его «соизмеримым» человеческим потребностям. Дело в том, что отнюдь не все изменения, приносимые человеком в реальный мир, одинаково приемлемы для человеческой природы. Ценности и выступают в качестве социокультурных средств соотнесения событий и изменений, происходящих во внешнем мире, с миром человека.

Аксиологическое освоение действительности составляет одну из основных функций культуры. В этом, с нашей точки зрения, главная причина того, почему значительная часть определений культуры имеет аксиологический характер. Культура определяется как «совокупность человеческих ценностей, как все то, что возвышает, облагораживает, гуманизирует жизнь и человеческие отношения»¹².

Но тут сразу же обнаруживает себя следующий контраст: идеалы научного познания предполагают отказ от ценностного отношения к реальности. Целью познания провозглашено выявление имманентных, действующих независимо от наших оценок законов. Поскольку некие явления становятся предметом научного анализа, они «извлекаются» из контекста категорий «положительное», «полезное», «бесобразное» и т. п. Уместно в этой связи сослаться на Ф. Энгельса, предостерегавшего, что «апелляция к морали и праву в научном отношении несколько не подвигает нас вперед; в нравственном негодованием, как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом. Ее задача состоит, напротив, в том, чтобы установить, что начинающие обнаруживаться пороки общественного строя представляют собой необходимое следствие существующего способа производства, но в то же время также и признак наступающего разложения его, и чтобы внутри разлагающейся экономической формы движения открыть элементы будущей, новой организации производства и обмена, устраняющей эти пороки»¹³.

Вытекает ли, однако, из сказанного, что ценностные характеристики действительно должны быть противопоставлены научным как ложные — истинным, ошибочные — адекватным? Отнюдь нет. Ф. Энгельс выступает лишь против подмены одного другим. Так, нравственная оценка какого-либо социального явления не должна подставляться на место его научного анализа. Поэтому Энгельс продолжает: «Гнев, создающий поэтов, вполне уместен как при изображении этих пороков, так и в борьбе против проповедников гармонии, которые в своем прислужничестве господствующему классу отрицают или приукрашивают эти пороки»¹⁴.

Таким образом, ценностные критерии весьма существенны и для диагностики социальных болезней, и для мобилизации людей на те или иные свершения и т. п. Вместе с тем справедливо, что наука формирует принципиально иное видение реальности. Социальная действительность с позиций научного (т. е. ориентированного на идеалы естествознания) подхода также выглядит как естественно-исторический про-

цесс. Попытки же привести сюда аксиологические характеристики вступают в противоречие с основными императивами научной рациональности. Хорошей иллюстрацией сказанного может служить полемика В. И. Ленина с Михайловским. «...С точки зрения этого социолога, — говорит Ленин, — не может быть и речи о том, чтобы смотреть на развитие общества как на естественно-исторический процесс... Мало того, не может быть речи даже и о развитии, а только о разных уклонах от „желательного“, о „дефектах“, случившихся в истории вследствие... вследствие того, что люди были не умны, не умели хорошенько понять того, что требует человеческая природа, не умели найти условий осуществления таких разумных порядков. Ясное дело, что основная идея Маркса о естественно-историческом процессе развития общественно-экономических формаций в корень подрывает эту ребячью мораль, претендующую на наименование социологии»¹⁵.

Нетрудно увидеть, что для Михайловского смысл деятельности социолога сводится к оцепке общественных явлений. Поэтому ленинский сарказм вполне уместен: если строить социологию по канонам научной рациональности (т. е. как форму познания объективных общественных законов, управляющих общественными процессами), то, конечно, ценностные их характеристики нужно элиминировать.

Каковы, однако, будут логические следствия того, что действительность осознается с ценностной точки зрения, если фрагменты объективной реальности характеризуются с учетом критериев именно мира человека? Очевидно, что в таком случае субъект не может «пренебречь» чертами индивидуальности и неповторимости исследуемого объекта, ибо с этих позиций не все объекты равноценны. Более того, только в своей уникальности и неповторимости они и приобретают исключительное значение для человека и культуры.

Спрашивается теперь, меняет ли подобное перемещение познавательных акцентов гносеологическую ситуацию радикальным образом? Настолько, что появляется необходимость выделять исследование индивидуальных объектов в особую категорию научных дисциплин?

Отвечая на поставленные вопросы, едва ли целесообразно сосредоточиваться на поисках границ между теми или иными научными подразделениями. Пограничные споры присущи науке не в меньшей мере, чем политике. Существо же дела таково, что имеется особый класс познавательных задач, отличающихся от канонически научных и направленностью своего решения, и результатами. Если в обычном случае

научное знание отражает реальность, как она дана безотносительно к ценностям, то познавательная деятельность рассматриваемого типа заключается именно в осознании мира с позиции человеческих ценностей.

Налицо, таким образом, по крайней мере два момента, отличающие данный способ освоения действительности от стандартного научного. Первый момент: ценности суть феномены, неотделимые от человека, в том числе исследователя. В ценностях «кристаллизован» именно человеческий, а не какой-либо из возможных миров. Поэтому приверженность исследователя определенной системе ценностей оказывается обстоятельством, отнюдь не нейтральным в отношении познания. Особенно наглядно это в ситуациях, когда речь идет об описании чуждых исследователю культур. Этнограф, изучавший жизнь науасов, приводит пример, так сказать, расхождения взглядов на нормы быта представителей двух культур: «Один мой знакомый из племени маклеуга, по имени Кебап, которого я знал как весьма добродушного человека, после острой перебранки со своей женой прибил ее полепом. Ее мясо было затем разделено между жителями деревни и съедено. На мой вопрос, что по этому поводу говорили в деревне, мне ответили возмущенно: „Она была твоей женой или женой Ксбана? Или у вас в деревне (это значит в Европе) все так бестактно, что вмешиваются в чужие семейные дела?“»¹⁶.

Второй момент взаимосвязан с первым: итогом познавательных процедур оказывается не картина действительности, представленная в виде некоторого «естественного тела», а, напротив, действительность оказывается интегрированной в мир человека, т. е. прежде всего отнесенной к ценностям. Соответственно этому воспринимаются и задачи подобного исследования (довольно часто оно получает квалификацию гуманитарного). «Задача гуманитарного знания, — утверждает, например, Н. С. Автономова, — заключается не в фиксации некоей объективно существующей вещи или явления, а в интерпретации мира культуры, породившего именно такого субъекта»¹⁷. Говоря же точнее и в более общей форме, регулятивами описаний такого вида выступают ценности. Ценности детерминируют направленность познавательного интереса, выбор параметров, по которым характеризуется теоретически осваиваемая действительность, их иерархию и т. д.

Неокантианцы отнюдь не случайно апеллировали (для подтверждения своих гносеологических констатаций) к историческому описанию (парративу): его ценностные аспекты

весьма заметны. В самом деле, только «отнесением к особым ценностям» объясняется, скажем, тот факт, что, описывая взятие Тулона, историк обязательно расскажет о Бонапарте, что «под ним была убита лошадь, ему прокололи штыком ногу, он получил коштузию»¹⁸ и т. д. Да и внимание к самой осаде Тулона не может быть объяснено ничем иным, как воздействием системы ценностей, принятых исследователем и выдвинувшей его культурой.

Но точно так же обстоит дело и с явлениями природы. Делать то или иное из них предметом индивидуализирующего описания, отбирать характеристики, по которым оно должно встать, «требует» всегда некоторая совокупность ценностей, выступающая, таким образом, в качестве норматива познавательной деятельности. Вот как, например, мотивируют авторы исследования, посвященного найденному в бассейне Колымы «мамонтенку Диме», свое обращение к этой теме: «Ввиду того особого интереса, который люди питают к выяснению своего происхождения, существенно, что как *Elephantidae*, так и *Hominidae* имеют определенные параллельные тенденции эволюции за последние 5 млн. лет... чему примером служат для ныне живущих видов большая продолжительность индивидуальной жизни поколения, позднее половое созревание, К-тии стратегии отбора, направленный на выживаемость немногочисленного потомства, а также некоторые другие особенности»¹⁹. Словом, поскольку прошлое человечества — ценность, Киргизляхский мамонт приобрел статус уникального явления, стал предметом идеографического описания, получил собственное имя и т. д.

Какой же вывод можно сделать из сказанного? По крайней мере следующий: один из основных способов теоретического освоения реальности — сопоставление ее с наличной системой ценностей. В этом и только в этом смысле данная форма познавательной деятельности может быть эмансипирована от иных форм научного познания. Сами же исследовательские процессы получения новых знаний будут протекать здесь по общенаучным нормативам.

Как уже сказано, ценностное освоение мира — важнейшая функция культуры. С возникновением науки реализация этой функции опосредуется также и формами научного исследования. То, что определяется культурой как ценность, становится затем предметом научного описания, научного — по своим средствам и методам. В область ценностного освоения не может не включаться, конечно, и историческое прошлое, ведь от него в значительной мере зависит настоящее. А это, в свою очередь, означает, что провозглашаемая

неокантовцами принадлежность историографии к разряду историографических наук имеет смысл лишь тогда, когда речь идет об ассимиляции прошлого в категориях аксиологии. Когда же описание прошлого ведется вне и независимо от ценностного отношения к нему, всякие рассуждения об индивидуализирующем методе теряют смысл.

Однако, говоря о ценностном освоении действительности как об одной из основных культурных функций (не случайно столь распространены аксиологические определения культуры), нельзя умолчать о его оппонентах. Они утверждают, что ценностный подход к культуре в некотором смысле антагонистичен собственно научному подходу к ней. Так, имея в виду необходимость зафиксировать исходные принципы научного подхода, Э. С. Маркарян пишет, что его требованиям «не отвечает, в частности, подход, интерпретирующий культуру как явление, изначально и однозначно характеризующееся положительными свойствами. Подобный подход лишает теорию и историю культуры их объективного научного базиса и является результатом смешения двух одинаково необходимых этапов постижения культуры: этапа выделения и осмысления культуры как особого класса общественных явлений и этапа, выражающего практическое отношение к этим явлениям. Если осуществление первого этапа базируется на выделении объективных свойств культурных явлений безотносительно к тем или иным ценностным установкам исследователей, то реализация второго этапа предполагает наличие подобных установок в качестве своего важнейшего условия»²⁰.

С позиций научного подхода культура определяется прежде всего как «специфически человеческий способ деятельности»²¹, как «совокупность устойчивых форм деятельности»²². В целом при таком подходе культура предстает как некий механизм, подчиненный имманентным ей законам, как система. Можно усмотреть даже некоторую «симметрию» между понятиями общественно-экономической формации и культуры. Формация — это общество как целостная система, рассматриваемая в контексте естественного, т. е. как естественно-исторический процесс. Культура — тоже целостная система, но рассматриваемая в контексте искусственного.

Действительно, говоря о естественно-историческом развитии общества, Маркс ставит социальный процесс в один ряд с природными, подчеркивая, что он имеет столь же объективный характер, как и физическая, химическая и другие формы движения материи. Это в принципе безличный

процессе: цели, идеалы, ценности действующих людей полностью элиминируются. Общественная жизнь представлена лишь теми аспектами, которые проявляются независимо от воли и сознания действующих личностей. Поэтому сравнение общества с организмом, фигурирующее в работах К. Маркса и В. И. Ленина, не просто метафора. Речь опять-таки идет о необходимости «высветить» именно естественно-исторический характер развития общества.

Когда же мы оперируем категорией «культура», социальный процесс рассматривается как «производство» его людьми, как процесс и результат осознанной и целесообразной деятельности. Однако и в данном случае налицо факторы, обуславливающие эту деятельность, определяющие формы сознания и выбор цели. Совокупность указанных факторов, таким образом, действует, «преломляясь» через волю и сознание людей, и поэтому требует адекватной категории для своей репрезентации. И, с нашей точки зрения, такой категорией может быть категория «культура».

Как, однако, быть с аксиологическим подходом к интерпретации культуры (в том числе и в дефинициях), когда культура рассматривается как «совокупность человеческих ценностей, как все то, что возвышает, облагораживает, гуманизирует жизнь и человеческие отношения»²³? Имеет ли этот подход к пониманию культуры какие-либо разумные основания или от него следует отказаться как от не соответствующего требованиям научной рациональности? Отнюдь не следует, и вот почему.

Во-первых, система ценностей образует одну из основных подсистем культуры, функционирование которой подчиняется определенным закономерностям, в том числе принципу детерминации материальным производством. Достаточно полные определения культуры, конечно, должны этот факт учитывать. Понятно также, что аксиологическая составляющая культуры может и должна становиться предметом научного исследования и описания.

Во-вторых, нужно учитывать наличие в культурологии двух хотя и различных, но одинаково приемлемых эвристических установок. Речь может идти о морфологии (строении, составе и т. п.) культуры и о ее функционировании. Понятно, что в последнем случае невозможно отвлечься от форм целостной деятельности, свойственных исследуемой культуре, здесь не может не фигурировать то, что с позиций описываемой культуры считается полезным, нравственным и т. п. Иначе дело обстоит в тех культурологических исследованиях, цель которых — описание механизмов функцио-

вирования и развития аксиологических систем. Подобно политической экономии, отвлекающейся от всех вопросов, касающихся потребительских свойств товаров, культурологические исследования этого типа элиминируют моральные, эстетические и прочие характеристики, которыми культура наделяет явления действительности.

Вернемся теперь вновь к вопросу о специфике гуманитарного знания. Из сказанного следует, что имеется целый класс познавательных задач, отличающихся (по своим логическим основаниям) от стандартных научных задач. Действительно, всякое научное исследование, ориентированное на идеал рациональности, который сформировался на базе развития естествознания Нового времени, рассматривает свой объект без учета его ценностных характеристик. Культуролог же имеет дело с ценностно окрашенным миром. Это, в свою очередь, требует от ученого не только готовности к возможным ценностным коллизиям (подобным тем, что возникли при описании быта папуасов маринд-аним), но и способности понять мир чужих ценностей. Далее, «отпесение к ценностям», т. е. аксиологическое освоение действительности. Процедуры такого рода опять-таки не свойственны познанию, отождествляемому с наукой в ее каноническом понимании. Физик или химик, исследующий свойства и состав алмаза, оставляет конечно, без внимания те злодеяния и преступления, которые совершались во имя обладания им. Зато для историка вопрос о справедливости либо несправедливости войны, преступности или прогрессивности определенного политического режима отнюдь не маловажен.

Если теперь обратиться к поставленному вначале вопросу о специфике гуманитарного познания, то ее вполне можно усмотреть в формах ценностного освоения действительности. Там, где в познании эти формы занимают господствующее положение, есть основания говорить о гуманитарных научных дисциплинах, ибо в ценностных феноменах человек и его мир находят наиболее соответствующее себе выражение.

§ 2. Понимание как специфическая особенность гуманитарного исследования

Существует, однако, еще одна тенденция в интерпретации специфики гуманитарного знания — связывать ее с категорией «понимание». Как писал Дильтей, «природу мы объясняем, душевную жизнь — понимаем»²⁴. В процедуре понимания видят, таким образом, наиболее емкое выражение свойственного именно гуманитарным наукам под-

хода к изучению действительности. Причем — и это характерно для современных исследований по методологии науки — существует тенденция сближать, а иногда даже фактически отождествлять данную традицию с той, в которой историография трактуется как «отношение к ценностям». Иллюстрацией здесь может служить рассуждение вроде следующего: «Смысловая детерминация, ценностная причинность — это те познательные приемы, которые отличают поиск гуманитария»²⁵. Или такое: «Понимание, т. е. реконструкция личностных измерений объективаций деятельности»²⁶.

Мы будем исходить из того, что при всей близости обеих традиций отождествлять их неверно. Имея области пересечения, в ряде отношений аксиологический и герменевтический подходы (назовем их для краткости так) достаточно далеко расходятся. В чем же конкретно можно видеть специфику гуманитарного познания, если связывать его в основном с категорией «понимание»?

Складывающаяся в ходе общей эволюции методологической рефлексии герменевтическая традиция ныне представлена в двух контекстах. В рамках первого контекста предпринимаются попытки осознать посредством герменевтических представлений процессы, происходящие в современном буржуазном обществе²⁷, т. е. интерпретировать отчуждение, разобщенность индивидов, утрату ими общих верований и ценностей и др.

Второй контекст — это уже собственно проблемы познания. Герменевтика интерпретируется либо как философия и методология гуманитарного познания, либо как теория познания вообще, в пределе — как глобальная философская система (например, у Хайдеггера). Особенно оживленно обсуждаются герменевтические проблемы в рамках историографии, правовых наук, социологии, искусствознания. Делаются попытки проанализировать в герменевтическом аспекте и процессы естественно-научного познания. Но чаще всего проблему понимания связывают с практикой историографии, с гуманитарными науками.

Однако и такие герменевтические разработки не представляют собой чего-то единого. По своей гносеологической направленности они явственно подразделяются на два вида. Первый из них имеет отчетливую методическую окраску: герменевтика рассматривается как техника, метод понимания и истолкования текста. Акцент делается именно на принципах, «канонах», которые следует соблюдать интерпретатору, чтобы добиться адекватного понимания некоторого

текста, а значит, и стоящей за ним культуры. Эта линия берет свое начало от Ф. Шлейермахера. Главное его требование к герменевтическому исследованию — преодолеть «герменевтический круг». Дело в том, что прежде, чем исследовать текст, мы всегда некоторым образом его понимаем. Затем исследуем уже как-то понятый текст. То, что, казалось бы, нужно получить в конце, мы имеем вначале. И от этого никуда не уйти, ибо нейтрального, абсолютного понимания быть не может. Кроме того, чтобы истолковать отдельные компоненты текста, мы должны понимать его в целом. Истолковывая же отдельные компоненты, уточняем общий смысл. Совершаются два встречных движения: от целого к части и от частей к целому. Но и выйти из этого круга тоже необходимо. Поэтому Шлейермахер считает, что цель и идеал исследования, основанного на понимании, — достижение полного тождества (специальности) с автором текста, так сказать, повторение (обратным ходом) творческого акта создателя текста. Только так можно выйти из герменевтического круга. Интерпретатор, идя этим путем, сможет, уже изнутри, увидеть то, «на что до сих пор смотрел извне, каждое слово автора, любой его стилистический оборот будет восприниматься им в том же самом множестве оттенков, какое вложил сюда творец»²⁸.

Последний по времени импульс разработка герменевтики как методической дисциплины, как техники понимания получила в трудах Э. Бетти. Намеченные Шлейермахером пути преодоления основной, с его точки зрения, антиномии понимания, полюса которой составляют текст и его интерпретатор, конкретизируются Э. Бетти в виде четырех канонов герменевтики. Два канона касаются текста, а два других обращены к его интерпретатору. Все эти каноны и должны служить средствами ориентации в «споре субъективности, неотделимой от спонтанности понимания, и объективности, чуждой выявляемому смыслу»²⁹. В исследуемые смысло-содержащие формы нельзя привносить не присущие им элементы; отдельные элементы текста нужно понимать исходя из общей его взаимосвязи; необходимо стремиться к конкретности; наконец, интерпретатор должен выработать в себе психологическую и этическую установку, направленную на достижение адекватного понимания текста³⁰.

Иную, не методическую, а, так сказать, онтологическую направленность герменевтическая проблематика приобретает в трудах Дильтея. Не формулировка предписаний, которым нужно следовать в акте понимания, а сам процесс понимания, его природа, закономерности, границы и т. д. — вот

что интересует Дильтея. Разработка герменевтической проблематики становится у него аспектом решения глобальной задачи — «критики исторического разума», т. е. обоснования историографии и вообще гуманитарных наук. Познавательная «клеточка» гуманитарного знания, по Дильтею, — процедура понимания. Если Шлейермахер «за текстом» видел авторскую индивидуальность, и только, то Дильтею видит за ним историю, социальный процесс, в который погружены и текст, и автор текста, и сам исследователь. Дильтею поставил также вопрос об объективности и общезначимости герменевтических процедур³¹.

Следующий шаг в разработке герменевтической проблематики был сделан представителями феноменологической философии и вообще теми философами и методологами, кто шел от идей Гуссерля. Для них главным стало то, что у Дильтея только намечено. Их занимали следующие вопросы: почему возможно понимание вообще? Почему и откуда в человеке берется знание о существовании других «я»? Каким должно быть устройство бытия, чтобы понимание стало возможным? Таким образом, в рамках феноменологической школы проблемы герменевтики разрабатываются как преимущественно онтологические проблемы. Общий вывод здесь сводится к тому, что «герменевтичность» свойственна самому бытию, есть его объективная характеристика. Бытие, иначе говоря, имеет герменевтическую структуру. Понимание, например, согласно Хайдеггеру, представляет собой изначальную открытость бытия³².

Хайдеггер в отличие от Дильтея, исследуя феномен понимания, много внимания уделяет языку. Язык превращается у него в главное условие понимания. Поскольку существует некоторый герменевтический универсум, в который мы объективно погружены, бессмысленно стремиться выйти из герменевтического круга. Этого сделать нельзя, как нельзя, положим, вылезти из собственной кожи. Поэтому дело не в том, чтобы выйти из герменевтического круга, а в том, чтобы правильно в него войти.

Таким образом, если Шлейермахер и Дильтею видят задачу в том, чтобы выйти из герменевтического круга, то Хайдеггер — в том, чтобы войти в него, соблюдая некие правила. Думается, однако, что Хайдеггер не совсем прав, критикуя все сказанное до него по поводу герменевтического круга. Проблема понимания, как она ставилась Шлейермахером, содержала один важный аспект, утерянный Хайдеггером. Действительно, если понимание изначально составляет предпосылку всякого исследования текста, то само

исследование можно представить как выход из круга понимания в узком смысле этого слова, так как в любом случае исследователь не ограничивается просто пониманием, а ставит перед собой какие-то задачи, видит мир иначе, чем автор текста, оперирует понятиями своей науки, которая обладает собственной онтологией, выступающей в качестве предпосылки исследования.

Конечно, войти в круг, т. е. осуществить слияние «горизонтов понимания» по Хайдеггеру, — это тоже проблема. Но он, видимо, не прав, противопоставляя одну проблему другой. В одних ситуациях, следовательно, проблема состоит в том, чтобы выйти из герменевтического круга, в других же — чтобы в него войти. При этом выйти за пределы круга понимания в абсолютном смысле, конечно, нельзя. Такой выход (если его можно так назвать) осуществляется лишь тогда, когда проблема понимания элиминируется, т. е. на путях естественно-научного понимания.

Таким образом, у Хайдеггера противопоставлены друг другу два равнозначных подхода к процедуре понимания: с одной стороны, методический, а с другой — такой, из которого прагматический момент элиминирован, когда процедура понимания рассматривается «сама по себе».

Последними фундаментальными работами в области герменевтики стали работы Г. Гадамера. Важнейшая среди них — «Истина и метод. Основные черты философской герменевтики»³³. Гадамер, опираясь на идеи Хайдеггера, пытается трансформировать его герменевтическую онтологию в философию гуманитарного познания вообще (эти вопросы Хайдеггера особенно не интересовали).

Если у Бетти речь идет о технике, методике изучения культурных феноменов, то Гадамер строит герменевтику как учение о некоторых исходных принципах познания духовных образований. В частности, в работах Гадамера много места отводится анализу роли и значения «предпонимания», или, как он выражается, «предрассудка». Это предварительное понимание, или «предрассудок» (в данном случае сам термин не содержит в себе негативного оттенка), предшествует исследованию, представляя собой исходную установку интерпретатора.

Итак, каково же идейное содержание герменевтики? Центральная ее проблема — проблема понимания. Категория «понимание» — опорная категория герменевтического анализа. Что такое понимание? Понимание, говорят специалисты по герменевтике, — это «схватывание» смысла³⁴. От понимания отличают «истолкование». Истолкование есть

переработка (с учетом имеющихся познавательных средств) уже понятого материала. Истолкование считается «объясняющей переработкой понятого»: «истолковывается уже понятый мир».

Понимание отличается и от объяснения. «Объяснение означает каузальное сведение некоторого единичного феномена ко всеобщим законам»³⁵. Но понимание стоит вне каузального объяснения. Конкретное историческое событие или произведение искусства, допустим «Пьета» Микеланджело, «Фауст» Гете или Четтая симфония Бетховена, не могут быть никогда адекватно объяснены только через каузальное сведение к факторам, которым обязано данное произведение искусства своим возникновением. Даже если бы были известны все причины, чья игра вызывает их возникновение, то смысловое и ценностное содержание этих произведений еще никаким образом не было бы тем самым схвачено. Но всякое произведение искусства может быть понято, т. е. раскрыто в своем смысловом содержании, своей художественной ценности и духовной силе³⁶. Правда, существует еще некоторое «первоначальное» понимание, которое предшествует методологическому противопоставлению «объяснения» и «понимания»³⁷.

Понимание, таким образом, есть схватывание смысла, а смысл нельзя выявить чисто теоретически: он открывается в практике, в обиходе, в деятельности с вещами. Какое-нибудь орудие труда становится понятным только из наблюдения за его практическим применением.

Понимание имеет структуру диалога, оно требует активного личностного отношения, учета того, что стоит за текстом, в частности личностных качеств его автора. Историческое понимание ничем существенным не отличается от любого понимания, присущего человеческой коммуникации, но в историческом понимании существуют временной, культурный и духовный разрывы³⁸. В связи с этим вводятся два тоже опорных понятия: «мир понимания» и «горизонт понимания». Понимание теперь трактуется как включение некоторого единичного смыслового содержания в смысловую всеобщность — мир понимания. Насколько можно судить, мир понимания — это ассимилированный, освоенный человеком мир, так сказать, мир человека, культура в широком смысле этого слова. Мир понимания историчен: историчны способы мышления, ценности и т. д. Взятый с точки зрения функционирования, с точки зрения его роли в процессе понимания, мир понимания выступает как «горизонт понимания»³⁹.

Отсюда вытекает традиционное для герменевтики пред-

ставление о герменевтическом круге, о фундаментальности круговой структуры понимания. Утверждается, что интерпретация не приводит к пониманию, она всегда предполагает предпонимание, означает переработку понятого, объясняющую переработку понятого.

С этих позиций много внимания уделяется историческому пониманию, т. е. пониманию прошлых культур, отличных от современных, в какой-то мере чуждых им. Другими словами, ориентация герменевтики прежде всего на историографию, историческое познание сохраняется. Проблема формулируется так: «Если каждый может понимать только в пределах исторического горизонта своего времени с его формами мышления, способами видения и представлениями, то как может происходить понимание прошлого, исторического свидетельства или литературного произведения древности, которые своим происхождением связаны с очень отличными от нашего современного горизонтами?»⁴⁰.

Как уже сказано, принципиального различия с разговорными, непосредственными формами понимания историческое понимание не имеет. Поэтому основные структуры, которые присущи непосредственному пониманию человека человеком, присущи и историческому пониманию. Различие лишь в том, что в одном случае речь идет о живом человеке, в разговоре с которым взаимное понимание развивается, в другом случае наличие лишь мертвое, окончательно фиксированное свидетельство, иногда в виде письменного текста, создатель которого не вступает в разговор с адресатом, поэтому наша интерпретация не может быть расширена, слова автора текста не могут быть разъяснены, а возможные недоразумения не могут быть устранены.

Главное условие исторического понимания — глубокая общность человеческого опыта и представлений, которая связывает людей через века и расстояния. Вместе с тем сам интерпретатор прорабатывает опыты обращения с людьми, вещами, сам участвует в человеческой коммуникации.

Как осуществляется понимание? Шлейермахер и Дильтей исходили из того, что интерпретатор должен отождествить себя с автором текста. Гадамер и современные представители герменевтической традиции критикуют эту установку. Смысл их рассуждений состоит в следующем. Если бы я мог идентифицировать себя с другими, я бы отказался тем самым от самого себя. Это было бы уже не «мое» понимание. Я должен выслушать другого именно как другого. Я должен его понять, оставаясь в своем времени и опираясь на мое чувство прошлого⁴¹.

В противовес принципу конгенитальности, Гадамер вслед за Хайдеггером выдвигает принцип «сглаживания горизонтов». Что это такое? Интерпретатор в поле собственного мира понимания должен реконструировать (насколько это возможно) мир понимания, в рамках которого возник изучаемый смысловой феномен. Причем дистанция между этими мирами должна быть сохранена «в том смысле, что я не должен принимать точку зрения другого, я не должен присваивать образ мышления, оценки, убеждения автора текста»⁴².

Ставится вопрос и о «мере» адекватности понимания. Уже Шлейермахер требовал того, чтобы истолкование обеспечивало такое понимание текста, которое лучше авторского. Как ни парадоксально это требование, но в нем есть резон, так как многое из того, что входило в мир понимания автора текста, не осознавалось им. Интерпретатор же может это вскрыть. Кроме того, сам создатель текста мог не знать многого, что нам сейчас известно. Мы видим дальше последствия событий, происходивших при жизни автора текста. Поэтому любой текст раскрывается в каждую эпоху по-новому. К тексту можно обращать новые вопросы, рассматривать его в новых связях, открывать смыслы, о которых его автор и не подозревал⁴³.

Понимание — исторический процесс. Некоторый исторический текст сам есть элемент исторического процесса. Он влияет на исторический процесс, отражается и «живет» в нем. Он получает разные интерпретации, в которых раскрываются его смыслы. Тексты как бы сами себя истолковывают. Так, произведения Аристотеля или Платона читались в разные эпохи по-разному. И эти истолкования мы можем учитывать в своей интерпретации. Понимая текст, мы включаемся в некоторую традицию, которая образует «герменевтическую арку», т. е. постоянно существующую линию коммуникации между эпохами. Только потому, что существует традиция, потому, что в ней живет смысл, понимание и становится возможным⁴⁴.

Ясно, что проблемы, обсуждаемые в современной герменевтике, не пусты, не иллюзорны, хотя элементы идеалистической иллюзорности в них и содержатся. В самом деле, мы окружены текстами и сами представляем для других людей в некотором роде тексты. С текстами имеют дело литературовед, историк, социолог и т. д. Все они строят свою работу на основе текстов. Так и в обыденной жизни: происходят некие реакции между текстами и воспринимающими их людьми, возникают недоразумения, вызванные непониманием. В этом смысле понимание столь же всеобщее, как и обмен ве-

пств. Для социальной жизни оно не менее значимо, чем, скажем, наследственность для органического мира.

Все сказанное дает веские основания отнестись серьезно к дискуссиям по поводу правомерности выделения гуманитарных дисциплин в качестве гносеологических феноменов. Как писал М. М. Бахтин, «текст — первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины»⁴⁵. Следовательно, акт понимания — это фундамент гуманитарного познания: «повсюду действительный или возможный текст и его понимание»⁴⁶. Понимание имеет диалогическую природу, а поэтому «исследование становится спрашиванием и беседой, т. е. диалогом»⁴⁷. В отличие от гуманитарных «точных наук — это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъект — познающий (созерцающий) и говорящий (высказывающий). Ему противостоит только безгласная вещь»⁴⁸.

Итак, все дело в феномене понимания, в природе текста как социокультурного явления. Но отличается ли положение исследователя, ищущего дело с текстами, от положения естествоиспытателя? Такие вопросы уместны тем более, что существует тенденция интерпретировать в герменевтических категориях и процессы естественно-научного познания. «В последние годы, — говорит И. С. Алексеев, — герменевтика обнаруживает отчетливо наблюдаемую экспансию на „науки о природе“, хотя ревнители чистоты традиций, находящиеся в явном большинстве, резко и аргументированно протестуют против нее. Примечательно, что в самосознании ученых-естествоиспытателей, рефлектирующих по поводу собственной работы, также отчетливо вырисовывается проблема возможности понимания природы. В период кризиса „старой“ квантовой теории, когда все усилия физиков понять, что такое атом, оказывались тщетными, перед ними во весь рост встала рефлексивная проблема — понять, что такое понимание. На своем профессиональном рефлексивном жаргоне естествоиспытатели всегда видели смысл своих исследований в достижении понимания природы»⁴⁹. Более того, утверждается, что «далеко идущая методологическая и гносеологическая автономизация гуманитарных наук от естественных является неплодотворной с точки зрения современной теории науки; недопустимо и противопоставление гуманитарного „понимания“ естественно-научному объяснению»⁵⁰.

Однако «неопределенность» подобных констатаций очевидна, а это заставляет считать поопределенными, неоднозначными сами подходы, лежащие в их основе. В каких от-

ношениях, по каким параметрам нельзя противопоставлять гуманитарное и естественно-научное знание? Один ли смысл вкладывают в термин «понимание», скажем, физик В. Гейзенберг и литературовед М. М. Бахтин? Вот как В. Гейзенберг (в книге «Часть и целое») излагает свою позицию в одном из разговоров с В. Паули: «Однажды Вольфганг спросил меня... понял ли я эйнштейновскую теорию относительности, игравшую такую роль на семинаре Зоммерфельда. Я был в состоянии ответить лишь, что я этого не знаю, поскольку не ясно, что, собственно, означает слово „понимание“ в естествознании. Математический остов теории относительности не представляет для меня трудностей, но при всем том я, по-видимому, так еще и не понял, почему движущийся наблюдатель под словом „время“ имеет в виду нечто иное, чем покоящийся. Эта путаница с понятием времени остается мне чуждой и пока еще невразумительной. Но если математический каркас тебе известен,— возразил Вольфганг,— то ты ведь можешь для каждого данного эксперимента рассчитать, что будет воспринимать или измерять покоящийся наблюдатель и что движущийся. Ты, кроме того, знаешь, что у нас всех есть основание считать, что действительный эксперимент приведет точно к тем результатам, которые предсказывает математический расчет. Что тебе еще нужно? В том-то и трудность для меня,— отвечал я,— что я тоже не знаю, что еще может быть нужно. Но у меня такое ощущение, что я в известном смысле обманут логикой, с какой действует математический каркас. Или, если хочешь, я понял теорию головой, но не понял сердцем. Что такое «время» я, конечно, знаю и даже еще не учившись физике, и наша мысль, наше поведение всегда предполагает это понятие времени. Когда же мы утверждаем, что это понятие времени необходимо изменить, то мы уже не знаем, являются ли наш язык и наше мышление пригодными инструментами для успешной ориентации. Речь и мышление станут ненадежными, если мы станем изменять столь основополагающие понятия, а ненадежность несовместима с понятностью»⁵¹.

В чем же подоплека отмеченных трудностей и недоумения? Чтобы на это ответить, нужно, видимо, проанализировать более детально процедуру понимания, да и все проблемы специфики гуманитарного познания. По нашему мнению, специфика гуманитарных наук действительно заключена в понимании, а не, допустим, в том, что исследователь и объект исследования сопоставимы «по совершенству», как это утверждает Р. М. Фрумкина. В гуманитарных дисциплинах нельзя говорить об объекте исследования в том смысле

де, как его понимает физик (естествоиспытатель вообще). Более соответствующей особенностям гуманитарного познания представляется интенция, выраженная в следующем суждении: «Все нравственное включает в себя и идеальное как важнейший момент. А все идеальное, все относящееся к сознанию воспринимается не чувственным путем. Оно воспринимается разумом, мыслью. Из этого проистекают большие основания и для эмпирического, и для теоретического познания морали, а также для гармонического развития того и другого»⁵². Точно так же текст — как эмпирическая реальность, с которой оперируют, — дан исследователю иначе, нежели явления природного мира.

Текст является вещью «чувственно-сверхчувственной», точно так же как и стол, когда он делается товаром (если использовать известный пример Маркса). Деятельность с текстом, его восприятие определяются отнюдь не физическими свойствами материала, в котором он представлен, а факторами совершенно иной природы: нормами социальной коммуникации. Быть текстом и означает принадлежность к миру социальной коммуникации. Опирируя текстом по нормам коммуникации, свойственным той или иной культуре, субъект *понимает* его. Понимание, таким образом, есть взаимодействие субъекта с текстом по нормам социальной коммуникации, оперирование текстом как единицей социальной коммуникации. Вместе с тем, конечно, это и эмоциональное восприятие и рефлексивное осознание этого взаимодействия. Поэтому *понимать* можно только текст. Понимание — это характеристика отношения субъекта, владеющего нормами коммуникации данной культуры, к построенному по данным нормам тексту.

Из сказанного следует, что категории «понимание» может быть придано и более общее значение. Через эту категорию можно характеризовать исходное отношение исследователя к любым культурным феноменам, ибо здесь предполагается овладение нормами той культуры, в поле которой возникло изучаемое явление. Поскольку непосредственной данностью для исследователя социальной реальности являются нормы культуры, становятся ясными как действительная причина стремления вообще считать «пониманием» познание социальной действительности, так и психологический аспект интерпретаций этого процесса, выражаемый посредством понятий «вчувствование», «вживание» и т. д. В самом деле, понимание оказывается «актом жизнедеятельности» исследователя, неотделимым от его субъективности. Исследователь становится «органом», средством исследования. Понимать —

значит владеть нормами данной культуры, быть включенными в нее, жить в ней.

То, что гуманитарий выступает и в функции средства познания, т. е. «прибора», — совершенно чуждо естествознанию. (Следует оговориться, что имеется в виду человек в качестве познающего субъекта, а не с точки зрения его физиологических, физических и тому подобных характеристик, которые, конечно, могут выступать в приборной функции и в естествознании.) Поэтому результаты гуманитарного исследования находятся в прямой зависимости от того, насколько сам исследователь овладел нормами коммуникации изучаемого им социального мира, насколько он может в него включиться. Такое включение, или, как говорят, «оживание», не несет в себе ничего мистического и трансцендентального, даже если речь идет о мире давно исчезнувшем, о культурах, прекративших свое существование. Оно означает способность присвоить нормы исследуемой культуры, как всякий человек присваивает в ходе социализации нормы своей собственной культуры.

В случае с исчезнувшими культурами возникает необходимость в их исторической реконструкции, т. е. деятельности, которая отнюдь не сводится к решению собственно познавательных задач, как не сводится к ним, допустим, и реконструкция памятников прошлого. В таком случае можно говорить о своеобразной имитации включения исследователя в культуры прошлых эпох. Вот что, например, рассказывают об одном из флорентийских гуманистов Никколо Пикколи: «У него в доме было бесчисленное множество бронзовых, серебряных и золотых медалей, много античных бронзовых фигур, много мраморных бюстов и других достойных вещей. Пикколи носил подобие тоги, часами говорил на языке Цицерона, старался уподобить древнеримским образцам свой быт и повадки. Даже трапезы он до мелочей обставлял на классический лад. „Было благородным удовольствием смотреть на него за столом, таким он был античным“»⁵³. Такую имитацию нельзя, понятно, считать универсальным способом овладения прошлой культурой. Но ведь и современные археологи пытаются имитировать некоторые стороны образа жизни первобытного человека. Кроме того, своего рода имитацию «прямого» присвоения культуры прошлого представляет собой (об этом говорилось в третьей главе) «нарративная» история.

Однако, как уже отмечено выше, о понимании говорят и применительно к природе. Приводя старое выражение «чтение книги природы», находят в нем не только метафоры-

ческий смысл. Природа тоже представляется как «текст». Но допустимо ли это?

Думается, если природа и представляет собой «текст», то текст, созданный отнюдь не по нормам социальной коммуникации. Место последних занимают здесь независимо от воли и сознания человека действующие законы и механизмы. Поэтому, как верно заметил В. Паули в разговоре с В. Гейзенбергом, «понять природу — это ведь значит действительно заглянуть в ее внутренние взаимосвязи, точно знать, что мы познали ее скрытые механизмы. Такое знание не дается познанием одного отдельного явления или одной отдельной группы явлений, даже когда мы открыли в них определенный порядок; оно приходит лишь благодаря тому, что познается как взаимосвязанное и редуцируемое к одному простому корню огромное множество опытных фактов»⁵⁴.

Итак, понимаемые «книги природы» есть нечто иное, чем понимание обычного текста. Это нет и быть не может в естествознании. Говоря словами Коллингвуда, оно было бы возможно «лишь в том случае, если бы явления, происходящие в природе, представляли собой действие какого-нибудь мыслящего существа или существ, а, изучая их, мы смогли бы выявить, каковы были выражаемые ими мысли, и обдумали бы их снова сами»⁵⁵.

Другое дело тексты, в которых зафиксированы результаты научного исследования. Они действительно представляют собой фрагменты, «живущие» по законам социальной коммуникации, в данном случае научной, а «в этой жизни» имеют место все герменевтические эффекты.

Возвращаясь теперь к разговору Гейзенберга с Паули, мы можем сказать, что Гейзенберг продемонстрировал нам различие двух видов понимания: «понимания природы» (в том смысле, как об этом говорит В. Паули) и понимания текста, т. е. понимания в собственном смысле. Гейзенбергу трудно понять текст, которым представлена теория относительности в культуре, но он хорошо воспринимает ее как математическое построение. Следовательно, вся трудность понимания в первом смысле для него заключена в истолковании обыденного языка.

Чем, однако, объяснить то, что никаких проблем не возникло у В. Паули? Видимо, на этот вопрос можно дать единственный ответ: Гейзенберг здесь не только физик, но и методолог, ибо его вопрос «что такое понимание?» есть вопрос методологический. А выход на методологическую позицию означает обращение к общекультурному контексту, и прежде всего к социальной коммуникации. В этом кон-

теоретическая теория относительности действительно трудна для понимания. Не случайно ведь множество научно-популярных и философских работ посвящено ее разъяснению. Текст, представляющий теорию относительности в культуре, построен по «нестандартным» нормам коммуникации, отсюда и трудности его восприятия.

Итак, в познании социальной реальности налицо аспект, отсутствующий в исследовании природных объектов. Эмпирически текст (как, впрочем, и любой артефакт) дан исследователю совсем иначе, нежели явления естественного мира. Исследователь текста оказывается «включенным» в изучаемую им действительность, в естествознании же она противостоит ему как нечто объективное. Поэтому известную максиму Дюркгейма: «Социальные феномены суть вещи, и они должны изучаться как вещи» — нужно заменить прямо противоположной: «Вещи суть социальные феномены, и они должны изучаться как тексты».

Из этого вытекает целый ряд следствий применительно к гуманитарному познанию, его результатам и их функционированию в социальной практике. Прежде всего, из гуманитарного исследования (в отличие от естественно-научного) личностные моменты в принципе не элиминированы. Далее, гуманитарное исследование требует от ученого определенной «настройки», своего рода аутотренинга, примером чего могут служить «герменевтические каноны» Э. Бетти. Но самое главное заключается в том, что на «выходе» гуманитарного исследования мы всегда получаем новую организацию «герменевтического универсума» или его части. Под герменевтическим универсумом в данном случае понимается вся совокупность присутствующих какой-либо культуре смысловых образований. Вместе с тем происходит определенная перестройка системы коммуникаций, т. е. получается новый способ оперирования тем или иным текстом (артефактом) или классом текстов (артефактов). Если, таким образом, вся совокупность «наук о природе» ориентирована на управление естественными процессами, то гуманитарное знание — на управление герменевтическим универсумом, системой социальных коммуникаций.

Что же касается статуса герменевтики — является ли она особой наукой, отраслью философии или специальной методикой, — то по этому поводу нужно заметить следующее. На текущий день герменевтика, конечно, еще не наука. Но, думается, возможно формирование в будущем особой научной дисциплины — гуманитарной теории социальных коммуникаций, предметом которой станут инвариантные ас-

пекты любых форм понимания. Мыслимо также развитие герменевтики как техники и методики гуманитарного исследования. Наконец, может быть выделена в особую сферу философской рефлексии герменевтическая проблематика, хотя с ней нужно проделать ту же работу, какая была проделана Марксом и Энгельсом с гегелевской философией. Иными словами, герменевтику нужно переинтерпретировать с позиций исторического материализма, очистить от тех мистификаций, которые внесли в нее представители германоязычной традиции, например Хайдеггер. Мы и пытались наметить пути такой переинтерпретации герменевтики в последнем параграфе предыдущей главы.

Заметим в заключение, что оба выделенных контекста (аксиологический и герменевтический), с которыми должна соотноситься историография, поскольку ставится вопрос о ее гносеологической специфике, пересекаются, так как ценностные феномены и отношения становятся доступными для исследователя лишь посредством процедуры понимания. А это в какой-то степени аналогично тому, что имел в виду Ф. Энгельс, говоря: «Мы никогда не узнаем того, *в каком виде* воспринимаются муравьями химические лучи»⁶⁶. Подобным же образом мир ценностей определенной культуры становится доступен лишь тому, кто включен в нее, присвоил ее себе, овладел присущими ей формами коммуникации.

ГЛАВА VI

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Между вопросами «что такое история?» и «зачем нужна история?» существует тесная взаимосвязь: ответ на первый вопрос прямо зависит от того, как будет решен второй. Но если вопрос «что такое история?» отсылает нас в область гносеологического строя историографического исследования, его организации и т. д., то вопрос «зачем нужна история?» обращен к особенностям функционирования исторического знания в обществе, культуре. Чтобы, таким образом, составить представление о характере задач, решаемых историком, о средствах и методах, которые он использует, о соотношении исторических дисциплин и т. п., необходимо отдать себе отчет и в социальных истоках исторического знания.

§ 1. Является ли история «наставницей жизни»?

Нетрудно увидеть, что социальная реальность дает массу примеров апелляции к прошлому. Историческое знание используется человеком для самых разнообразных целей, в очень разных контекстах. Уже Александр Македонский, готовя свой персидский поход, ссылался на необходимость отомстить за поругание греческих святых во время палестинского похода Ксеркса, а Цицерон, как известно, суд потомков ставил гораздо выше, чем мнение современников.

Последующие эпохи демонстрируют факты значимости исторического знания с еще большей выразительностью. «В „войне за прошлое“, — пишет современный историк, — сражение велось буквально за все утекшие века российской жизни: западники и славянофилы толковали о варяжских и киевских князьях; декабристов волновали новгородские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Грозном, одновременно вписывал его в историю русской общественной мысли XIX столетия, так же как Пушкин, завершая „Бориса Годунова“». Почти теми же словами говорит современный американский писатель Гор Видал: «Американская история стала сегодня полем битвы»².

В нашей и зарубежной художественной литературе произведения на исторические сюжеты сейчас чрезвычайно распространены. Можно сослаться и на популярность международного жанра, представляющего собой постоянно звучащее «эхо» прошлых событий. Периодически возникающие дискуссии о границах допустимого и недопустимого в современном прочтении классики, о традициях и новаторстве — явления того же порядка. И здесь речь идет, по сути дела, об отношении к прошлому. Вот как, например, звучали центральные вопросы прошедшей на страницах «Литературной газеты» дискуссии о личных архивах: «В чем состоит наш долг перед историей? Не нарушаем ли мы его, равнодушно относясь к письмам, дневникам, записям рядового человека нашего времени? Как сохранить рукописные документы, которым суждено представлять двадцатый век в будущем?»³.

Подчас даже стилистически художественные произведения ориентированы на нормативы исторического описания (феноменологической реконструкции). «Моим однополочанам — и фронтовым, оставшимся в живых, и тем, кто обрел бессмертие на поле брани, и нынче живым законным наследникам нашего героического прошлого — посвящаю я свою новую книгу о войне. Работая над ней, я старалась избегать даже самой маленькой беллетристики жизненного материа-

ла. Действительные события описаны здесь такими, какими они были, во всяком случае — такими, какими их сохранила память»⁴.

Однако еще Аристотель видел в такой ориентации особенность именно историографии, т. е. особенность, отличающую ее от художественного творчества (поэзии): «... историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть»⁵. Наша же писательница претендует на стиль творчества, исконно свойственный историку.

Примеры заинтересованного отношения к историческому прошлому легко умножить, причем зачастую это примеры и конфликтов по поводу истолкования прошлого. Нередко полемика вокруг минувших событий приобретает даже международные масштабы. Так, представители Ирландии и Нидерландов при ООН заявили протест по поводу проведения под эгидой этой организации намеченных мероприятий в честь 500-летия со дня открытия Америки Колумбом. Свой протест они обосновали тем, что викинги в конце X в., а ирландские монахи еще в VII в. опередили испанцев.

Интерес к историческому прошлому обнаруживается даже на уровне социальной психологии, становится модой. «„Ретро“ в моде! „Ретро“ — самый популярный стиль в искусстве, музыке, одежде, — слышим мы повсюду голоса. Об этом сообщает, улыбаясь с экрана телевизора, ведущая телевизионной программы „Песня“. Об этом постоянно напоминает реклама. „Новые модели телефонов — в стиле „ретро““. Мы читаем о „ретро“ в газетах, журналах, слышим по радио, с эстрады, наконец, сами говорим о „нем“, осуждаем „его“ и, приравниваясь к нему, срочно меняем одежду, прически, обувь, мебель. Только бы успеть, только бы идти в „погу“ с этим заманчивым стилем „ретро“»⁶.

Эти ретроспективные устремления, естественно, не могут не отражаться и в формах общественного самосознания, основанного на рациональном мышлении. Более того, в современной буржуазной культуре обращение к историческому прошлому трактуется подчас как некий глобальный процесс, затрагивающий к тому же сам способ мышления.

Чем же объяснить эти и подобные факты? Какую роль в социальной практике, в культуре играет историческое знание? В частности, каковы причины роста или, напротив, падения интереса к прошлому?

Еще в древности укоренилось в качестве ответа на этот вопрос цидероновское: *Historia magistra vitae est* («История — наставница жизни»). Иными словами, историография ценна тем, что позволяет извлекать из реальной истории уроки. В дальнейшем эта трактовка прагматической функции историографии воспроизводилась (в той или иной форме) почти всеми, кто затрагивал вопрос о социокультурном статусе исторического знания. «Крупные ошибки в прошлом очень полезны во всех отношениях, — писал, например, Вольтер. — Нельзя не напоминать вновь и вновь о преступлениях и несчастиях, причиненных бессмысленными распрями. Бесспорно, что напоминание о них мешает их повторению»⁷. А по мнению Карамзина, «правители, законодатели действуют по указаниям истории»⁸. И список подобных суждений легко продолжить, доводя его до наших дней.

Существует, однако, и прямо противоположное мнение (правда, оно высказывается гораздо реже). Наиболее известной его формулировкой можно, по-видимому, считать следующее рассуждение Гегеля из «Лекций по философии истории»: «Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать такие решения, которые вытекают из самого состояния. В суматохе мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с живучестью и свободой настоящего»⁹. Почти дословно повторяют Гегеля Ш. Манглау и Ш. Сеньобос: «Думать, что история даст практические наставления (*Historia magistra vitae*), уроки, которыми могут немедленно воспользоваться в жизни отдельные личности и народы, — это не более как устаревшая иллюзия; дело в том, что условия человеческих действий редко бывают достаточно сходными в различные моменты для того, чтобы „уроки истории“ могли непосредственно примениться»¹⁰.

Как же разрешить обнаруженную дилемму («история учит» — «история не дает никаких уроков»)? Или она неразрешима?

Если обратиться к реальной истории, т. е. непосредственно к деятельности «преследующего свои цели человека», не-

трудно увидеть: аналогия к историческому опыту здесь встречаются довольно часто. В. И. Ленин в «Философских тетрадях» сопровождает приведенное выше мнение Гегеля замечкой: «Очень умило!»¹¹. Кажалось бы, Гегель, а вслед за ним и В. И. Ленин отрицают возможность использования исторического опыта. Однако в произведениях В. И. Ленина легко обнаружить множество рассуждений, содержание которых заключается как раз в аргументации «от исторического опыта». Приведем лишь несколько примеров. «История учит, — пишет Ленин, — что ни один угнетенный класс никогда не приходил к господству и не мог прийти к господству, не переживая периода диктатуры, т. е. завоевания политической власти и насильственного подавления самого отчаянного, самого бешеного, ни перед какими преступлениями не останавливающегося сопротивления, которое всегда оказывали эксплуататоры»¹². В другой работе сказано: «Весь опыт мировой истории, как и опыт русской революции 1905 года, учит нас...: *либо* революционная классовая борьба, побочным продуктом которой *всегда* бывают реформы (в случае исключительно успеха революции), *либо* никаких реформ»¹³.

Множество рассуждений, касающихся исторического опыта, можно найти в ленинских работах, отразивших, например, политическую борьбу вокруг Брестского мира: «... военная история говорит яснее ясного, что подписание договора при поражении есть средство собирания сил»¹⁴. Причем Ленин имеет в виду исторический опыт отнюдь не только недавнего времени. Так, в полемике о Брестском мире он говорил: «Кто хочет учиться у уроков истории, не прятаться от ответственности за них, не отмахиваться от них, тот вспомнит хотя бы войны Наполеона I с Германией»¹⁵.

Итак, является ли все-таки история «наставницей жизни»? По нашему мнению, ответ на этот вопрос не может быть однозначным, поскольку неоднозначен сам термин «опыт». Гегель, несомненно, прав, говоря, что в своих действиях люди исходят из конкретных условий и интересов дня, а не из исторического опыта, если понимать под ним источник целеполагания и соответствующее собрание предписаний. Но история и ее опыт диктуют, что и как делать в определенный момент. Исторический опыт не содержит рецептов. Так, заключение мира между Советской Россией и Германией в 1918 г. определялось вовсе не тем, что в прошлом имелся аналогичный опыт, но трезвым и точным анализом реальной исторической ситуации. Тем более что противники Брестского мира тоже ссылались на известный исторический опыт: опыт победных войн, которые в конце XVIII в. вела революцион-

ная Франция против коалиции феодальных монархий Европы. Попытка жить по заранее данным образцам, как и всякий шаблонный подход, в истории, в политике приводят к неминуемым поражениям.

История поэтому *не учит* в том смысле, что не дает шаблонных ответов на вопросы и вызовы современности. Она *не учит* тому, какие задачи должно ставить перед собой каждое новое поколение. Тем более история не способна подсказать конкретные способы решения этих задач.

История оказывается *magistra vitae* в другом смысле. Когда — на основе анализа сложившейся обстановки и с учетом интересов определяющих ее социальных групп — цели общественного действия сформулированы, исторический опыт действительно может оказаться очень полезным. Полезным как обоснование правильности сделанного выбора. И чем масштабнее задачи, чем больших усилий от народных масс требует их реализация и чем более непредсказуемы результаты их деятельности, тем ответственнее выбор и тем «сильнее» он должен быть аргументирован. Исторический опыт, таким образом, может быть фактором исторического действия в том смысле, что способен укрепить «дух» социального субъекта. Из истории извлекают уроки, у истории учатся, но лишь в том смысле, что укрепляются в вере в те ценности и идеалы, которыми данное сообщество руководствуется в своей социальной практике. История дает опыт выбора. Выбор, который сделали на основании каких-либо общих ценностей прошлые поколения, служит уроком для выбора, который осуществляют последующие поколения.

Правда, в гегелевском рассуждении по поводу исторического опыта можно заподозрить наличие еще одного контекста. Дело в том, что это рассуждение в определенном отношении прямо соответствует смыслу философской концепции истории, построенной Гегелем. С точки зрения абстрактного историзма дух творит историю согласно божественному плану, а история каждого народа есть осуществление его особой идеи. И хотя «идея уплачивает дань наличного бытия не из себя, а из страстей индивидов»¹⁶, она есть нечто навязанное, данное индивидам заранее. Конкретные личности, таким образом, являются рупором истории. Она ими «говорит». Отсюда понятно, что услышать и адекватно выразить «зов» истории гораздо важнее и значимее, чем искать ее уроки.

*§ 2. Историческое сознание
как форма общественного сознания*

Материал предыдущего раздела позволяет взглянуть на историческое знание и его место в культуре с более общих позиций. Речь должна идти не об историческом знании в узком смысле слова, а об *историческом сознании*. Дело в том, что в общественном сознании имеется целый комплекс взаимосвязанных форм, или структур, и лишь одна из них — историческое знание как таковое. Здесь вполне уместной будет аналогия с эстетическим сознанием: как искусство не сводимо к эстетике или искусствоведению, так и историческое сознание далеко не исчерпывается формами историографии. Напротив, генеалогический анализ историографии как научной дисциплины будет малопродуктивен без учета генетических и актуальных взаимосвязей ее с другими феноменами, образующими в совокупности историческое сознание.

Необходимо также выработать общее представление о «напоминании» исторического сознания как формы общественного сознания, его строении и т. д. Скажем, нельзя согласиться с попытками разграничить историческое сознание и историческое познание лишь по тому основанию, что второе есть результат специализированной познавательной деятельности, подчиняющейся определенным специфическим нормативам, тогда как первое — продукт стихийного процесса духовного развития некоторой социальной общности. В таком свете историческое сознание видится как род познавательной деятельности, хотя и в меньшей степени соответствующей идеалам рациональности, нежели историческое познание в собственном смысле слова. «Историческое сознание, — утверждает А. И. Ракигов, — всегда вырабатывается в большей или меньшей степени членами данного общества как социально-экономической и этической целостности, хотя при этом они, разумеется, не сознают в отчетливой рациональной форме тех критериев, установок и правил, которым подчиняется их собственное историческое сознание. Напротив, историческое познание как подструктура исторического сознания, служащая, по существу, тем же функциям, гораздо более рационально и на определенных этапах развития оказывается совершенно рациональным.носителем этой исторической рациональности становится особая профессиональная группа — профессиональные историки, целиком или преимущественным образом занятые историческими исследованиями. Результаты их деятельности — исторические знания — включаются в содержание различных форм обществен-

ного сознания, образуя их внутренние структурные элементы и выполняя определенные функции, присущие этим формам»¹⁷.

Эта трактовка исторического сознания неприсмлема уже потому, что источником историографии она объявляет «познавательное удивление»¹⁸. Осознание прошлого оказывается продуктом некоего «чистого» интереса, пробуждаемого самим фактом изменчивости социальной реальности. Такая позиция представляется аисторической. «Пытливое стремление познать», «исторический интерес», с которых якобы начинается историография, на самом деле итог длительной эволюции особой сферы культуры, функционирование которой детерминировано нуждами общественной практики и «проецицией» которой становится историческое сознание. Оно предшествует историческому познанию, но не как донаучная форма — научной, а как некоторое социокультурное образование, включающее в себя на определенном этапе своего развития познавательную компоненту. Интерес к прошлому вырастает не из самой познавательной способности, а из потребностей развивающегося исторического сознания. Верно, конечно, что этот интерес не является результатом «абстрактного отношения к вечным и неизменным культурным ценностям»¹⁹, но истинно и другое, а именно несоответствие двух линий эволюции — исторического сознания и «научно-исторического мышления». В этом смысле исторический интерес первичен по отношению к научным формам историографии. Он инспирируется историческим сознанием, отражающим, в свою очередь, определенные стороны общественной практики.

Все это позволяет прийти к выводу, что механизмы исторического познания следует изучать исходя из определенного представления об историческом сознании, о его структуре и функциях. И вновь уместна аналогия с эстетикой. «Дифференцированной науки эстетики со своими „категориями“ ранее нового времени... не было»²⁰, — отмечает С. С. Аверинцев. Но отсутствие научной эстетики вовсе не означает отсутствия самих эстетических категорий, а следовательно, эстетического сознания. Напротив, «отсутствие науки эстетики предполагает в качестве своей предпосылки и компенсации сильнейшую эстетическую окрашенность всех прочих форм осмысления бытия (как, напротив, выделение эстетики в особую дисциплину компенсировало ту деэстетизацию миропонимания, которой было оплачено рождение новоевропейской „научности“ и „практичности“»²¹.

Несмотря на недостаточную точность этого тезиса (собственно научная эстетика возникает гораздо позднее, а фи-

философская — намного раньше: уже Сократ говорит о прекрасном «самом по себе»), общая его значимость сомнений не вызывает. Научные формы историографии вырастают на сложившихся много раньше структурах исторического сознания, как бы надстраиваясь над ними.

Существование исторического сознания для внимательного наблюдателя общественной жизни стало очевидным фактом достаточно давно. Уместно сослаться при этом на культурное наследие Н. Г. Чернышевского. Не будучи специалистом-историком, не занимаясь специально логико-гносеологическим анализом исторического познания, он тем не менее коснулся таких фундаментальных проблем методологии истории, само осознание которых можно рассматривать как достигшие, не утратившие своего значения до настоящего дня.

Прежде всего нетривиален общий подход Чернышевского к оценке места и роли историографии в социальной культуре. Характерно, например, следующее рассуждение: «Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком, но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно»²². И это отнюдь не риторика, но твердая убежденность в том, что историческое сознание совершенно необходимо для развития и общества, и личности.

Реконструируя взгляды Н. Г. Чернышевского на историческое сознание, можно установить, что он отстаивал, в сущности, следующие тезисы.

1. История как наука, составляя важную часть исторического сознания, его не исчерпывает, ибо, говоря словами Грановского, «пелая отрицать в массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основании сохранившихся преданий о прошедшем»²³.

2. Важнейшая функция истории — формирование картины исторической связи, особого моста «прошлое — настоящее — будущее». Так, говоря о перспективах развития исторической науки, Грановский (в котором Чернышевский видел «истинно современного историка»²⁴) писал: «История делается в высшем и обширнейшем смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собой взаимодействии»²⁵.

3. Историческое сознание есть фактор, опосредующий социальную практику и в определенном смысле ее детермини-

рующей: «Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего»²⁶. (Правда, говоря об «истинной цели истории — служить истолковательницей настоящего»²⁷, Чернышевский понимает это в том смысле, что история Рима, например, может служить средством объяснения и даже точного прослеживания истории современной Франции или Англии ²⁸.)

4. И сама социальная практика воздействует на историческую мысль, возбуждая в ней ответные реакции. Так, «владычество французов в Западной Германии и уничтожение Пруссии возродило в немцах любовь ко всему, что более или менее носило отпечаток французских нововведений, пробудило симпатию к старым славным временам немецкой империи, когда Оттоны были могущественнейшими государями Западной Европы, когда французские короли были переломными незначительными князьями, возродило воспоминания о временах Арминия, сокрушившего завоевателей, пришедших из Галлии, о временах, когда сыны Германии покорили Галлию и Италию и германская народность торжествовала над юго-западными своими соперницами»²⁹.

5. Чрезвычайно важно, чтобы историческое сознание общества стало достоянием личности, превратилось для нее «в личное воспоминание»³⁰. История должна стать «самой популярной из всех наук, призывающей к себе всех и каждого»³¹. И не должно быть исторических сочинений, написанных в духе плоской кабинетной премудрости, рассчитанных лишь на узкоцеховое употребление³².

Итак, можно сделать следующий общий вывод: Чернышевский (по крайней мере, имплицитно) выделяет в духовной жизни общества, в человеческой культуре особую реальность — историческое сознание. Оно пронизывает и связывает человеческую историю в нечто целое. Эта «связь в человеческой истории» есть своего рода диалог настоящего с прошлым. А возможен такой диалог потому, что в культуре, в общественном сознании действуют механизмы трансвременной коммуникации, в частности историческая наука. Причем это подлинно культурный универсум, проявлением которого оказываются исторические романы, памятники старины и т. д.

Существованием исторической коммуникации обусловлена и возможность исторического познания. Эту связь времен, думается, совершенно отчетливо видел Н. Г. Чернышевский. Подтверждением этого служит следующее: «„Афиняне победили персов при Марафоне“ — достоверно это или сомпи-

тельно? „Греки победили персов при Саламине“; „греки победили персов при Платее“ — и т. д., и т. д. — возможно ли образованному человеку иметь хотя малейшее сомнение в достоверности этих его знаний, сформулированных этими простыми, краткими словами? — Подробности наших сведений, например, о Марафонской битве, могут и должны быть предметом проверки, и многие из них, казущиеся очень достоверными, могут оказаться или сомнительными, или неверными. Но сущность знания о Марафонской битве уже давно проверена каждым образованным человеком, проверена его чтением не то что лишь рассказов собственно об этой битве, а всем его чтением, всеми его разговорами, всеми его знаниями о жизни цивилизованного мира, — не прошлой только, но, главное, нынешней жизни цивилизованного мира, — той жизни, в которой фактически участвует он сам. Если б не было Марафонской битвы и если бы не победили в ней афины, весь ход истории Греции был бы иной, весь ход всей следующей истории цивилизованного мира был бы иной, и наша нынешняя жизнь была бы иная: результат Марафонской битвы — один из очевидных для образованного человека фактов нашей цивилизации. А к таким крупным фактам примыкают факты, достоверность которых непоколебимо опирается на их достоверность. И что же такое оказывается относительно наших исторических знаний? В составе их бесспорно находится много, очень много сведений недостоверных, очень много ошибочных суждений; но есть в их составе такие знания, достоверность которых для каждого образованного человека так непоколебима, что он не может подвергать их сомнению, не отрекаясь от разума»²³.

В современной литературе по поводу исторического сознания, поскольку оно выделяется как самостоятельное явление, говорится, например, что «этим понятием охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспринимает и оценивает) свое прошлое, — точнее, в которых общество воспроизводит свое движение во времени»²⁴. Подчеркивается также особый статус исторического сознания: «Историческое сознание может быть сопоставлено с такими широко известными формами общественного сознания, как правовая, нравственная, национальная и др., но не поставлено в один ряд с ними. Если каждая из этих форм представляет одну из плоскостей человеческого отношения к наличной действительности, историческое сознание вводит в эти отношения дополнительное измерение — время. Причем способ введения этого «четвертого измерения» бытия неодинаков в раз-

ных типах и в различные периоды развития общественного сознания»⁸⁶. Историческое сознание как форма общественного сознания, таким образом, носитель комплекса представлений, которые можно выразить понятием «историческое время».

Мнение об особом статусе исторического сознания оправданию, но требует известных оговорок. Оно действительно не находится на одной оси с политическим, правовым и моральным сознанием. Но к этому ряду не относятся и наука, философия, религия. Эти формы общественного сознания не образуют единой группы.

Формы общественного сознания различаются в первую очередь тем, что каждая из них привносит один из необходимых, адекватных миру человека способов освоения действительности, ориентации в ней. Формы общественного сознания потому и определяются как формы, что специфика отражения действительности, культурной ассимиляции мира выступает в них на первый план. Благодаря им человек способен «видеть» моральные, эстетические, правовые и прочие феномены.

Каждой форме общественного сознания присущи свои категории (которые и отличают ее от других форм). В политическом сознании — это власть, государственный интерес, политика, в праве — закон, в морали — добро, зло, совесть и т. д.

Данные виды сознания можно анализировать исходя из разных предпосылок, абстрагируясь от тех или иных их социальных проявлений или, наоборот, учитывая их. (Обоснование уже сложившихся, а также возможных подходов относится к компетенции исторического материализма.) Так, смысл одного из подходов заключается в том, что категориальные структуры исследуются в относительном обособлении от реальных социально-исторических процессов. Это могут быть философская рефлексия, а также исследования в рамках предметов собственно научных дисциплин, в частности психологии. Жан Шапке исследовал нравственные суждения детей, их представления о нравственном и безнравственном поведении и т. д. Анализ суждений детей о справедливости распределения, т. е. о том, как следует распределять награды и наказания между членами группы, показал следующее. «На первой стадии (до 7—8 лет) ребенок склонен считать „справедливыми“ или „правильными“ любые поощрения и наказания, которые решает назначить уполномоченное лицо, даже если при этом наказание за одно и то же преступление оказывается неодинаковым, любимцы получа-

ют чрезмерное поощрение и т. д. На второй стадии (от 7—8 и примерно до 11—12 лет) ребенок становится яростным поборником равноправия: ко всем необходимо относиться одинаково, независимо от обстоятельств. На третьей стадии (от 11—12 лет или около того) ребенок смягчает требования равенства беспристрастностью — чем-то вроде релятивного равноправия, при котором строгое равенство иногда может слегка нарушаться во имя высшей справедливости»³⁶.

Иной подход — анализ форм сознания в контексте социально-исторической практики, т. е. с учетом реальных поступков и действий людей, которые иногда весьма не соответствуют требованиям нормы и идеала. Это область общественных отношений и соответственно их изучения. Можно, например, говорить о моральном сознании, о том, каковы представления людей о добре и зле, чести, справедливости и т. д., а можно описывать нравы, т. е. реальное поведение людей.

Формы общественного сознания можно также изучать в плане способов фиксации их в культуре, их воспроизводства и трансляции. Моральное сознание запечатлевается в виде катехизисов, заповедей, традиций, обычаев; для политического и правового сознания — это конституции, кодексы законов и т. д. Все это составляет аспект культуры; в данном отношении формы общественного сознания являются и формами культуры. Как язык есть материальный носитель мысли, так и культура — носитель общественного сознания. Культура с этой точки зрения представляет собой совокупность отчуждаемых, интерсубъективных средств функционирования и развития общественного сознания.

Наконец, представления разных классов о добре, прекрасном, истине и т. д. можно рассматривать как идеологические построения.

Из сказанного явствует, что имеются по меньшей мере четыре достаточно разных и специфических подхода, позволяющих охарактеризовать формы общественного сознания по их «морфологии». В рамках первого осуществляется выделение набора категориальных структур, присущего именно данной форме общественного сознания; второй подход фиксирует, как эти структуры реализуются в социально-исторической практике; третий подход — рассмотрение данных структур в плане их культурных воплощений; четвертый — обращение к философским, научным и идеологическим формам, т. е. к сфере специализированного «производства» сознания.

Особый план составляет анализ функций форм общественного сознания в жизнедеятельности общества. В данном отно-

пении наука, например, отличается от искусства, мораль — от религии и т. д.

В связи со всем этим возникает вопрос: как вообще можно сгруппировать все формы общественного сознания? С нашей точки зрения, такая группировка должна опираться на представление о человеке как субъекте деятельности, общения и познания. Тогда систематизация форм общественного сознания будет производиться в зависимости от ориентации на одну из этих его ролей. Таким образом, можно разбить формы общественного сознания на три группы.

Первая группа — формы общественного сознания, являющиеся регулятивами человеческой деятельности, опосредующие отношение человека к тем изменениям, которые он вносит в окружающую среду. Очевидно, что человек должен нести в мир не любые возможные изменения, а только те, которые адекватны его человеческой сущности, не враждебны, но комплиментарны ей. К этому следует добавить, что человек-деятель в принципе всегда ощущает дефицит информации о возможных последствиях своих действий. К формам общественного сознания, интегрированным в процессы управления деятельностью, следует отнести экономическое сознание, историческое сознание, искусство и религию.

Оперируя экономическими категориями (товар, стоимость, прибыль и т. д.), общество оптимизирует свои усилия и затраты на создание материальных условий жизни.

Эстетическое сознание и его категории (прекрасное, безобразное) призваны подчинить изменения, вносимые человеком в объективную реальность, человеческой «мере». Пояснить сказанное можно, в частности, следующим: «Носителем... эстетической ценности выступает именно формальная сторона объекта, которая не управляется при этической или утилитарной ориентации ценностного сознания. Пожалуй, только в наше время наука сумела объяснить, почему формальные качества обладают таким большим значением. Это сделала кибернетическая теория информации. Она показала, что жизнь вообще, а человеческая, социальная жизнь в особенности, есть процесс постоянного получения информации из внешней среды и одновременно процесс управления и самоуправления на основе этой информации. Эффективность деятельности зависит, следовательно, от того, в какой мере той или иной системе удается преодолевать господствующую в мире тенденцию к энтропии, т. е. к неупорядоченности, хаотичности, дезорганизованности, добываясь (бессознательно или сознательно) все более высокой степени организации и упорядоченности данной системы. Таким образом, упоря-

доченность и организованность как качества формы играют огромную роль во всякой жизнедеятельности, в том числе и в жизнедеятельности общественного человека»³⁷.

Весьма специфические функции в деятельности человека выполняет и религиозное сознание. «Всякая религия, — писал Энгельс, — является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму небесных»³⁸. Современным вариантом этого тезиса можно считать следующий: «Человек — это животное, разрешающее проблемы. Что делать и что думать, когда отказывают другие способы решения проблем, — вот сфера религии»³⁹.

Вторую группу форм общественного сознания образуют политика, право, мораль. При известной автономии данных элементов это единая система, регулирующая взаимосвязи между людьми как субъектами деятельности. Политическое сознание опосредует отношения людей по поводу власти в обществе. Право включено в процессы регулирования отношений между людьми там и постольку, где и постольку они выступают в качестве граждан государства. Моральное сознание регулирует взаимоотношения людей как личностей.

Третья группа — наука и философия. Между этими формами общественного сознания также существует тесная связь — как генетическая, так и актуальная. Но если наука есть форма познания действительности, в рамках которой мир отражается в виде объективного, подчиняющегося имманентным законам процесса, протекающего независимо от утилитарных, эстетических и других запросов человека, то философия — форма рефлексии, самосознания. Именно поэтому основной вопрос философии — вопрос об отношении материи (т. е. объективной реальности, данной человеку в ощущениях и существующей независимо от них) к сознанию.

Подчеркнем, что границы между выделенными совокупностями форм общественного сознания достаточно подвижны и относительны. Социальную жизнь, например, можно представить как деятельность (подобная абстракция встречается в работах К. Маркса). Тогда все формы общественного сознания окажутся включенными в процессы управления деятельностью. То же самое происходит, когда объектом деятельности становится человек, личность: ценности, регулирующие отношения между людьми, становятся элементами норм деятельности. Примером этого может служить запрет на эвтаназию (убийство из милосердия) в медицине.

Взаимосвязи между различными формами общественного сознания меняются и исторически. Их относительная дифференциация, столь характерная для культуры современного общества, произошла сравнительно недавно — сопелемся на тот факт, что наука в значительной мере продукт Нового времени. Особым синкретизмом отличалась культура первобытного общества. Применительно к ней вообще нельзя достаточно строго говорить ни об искусстве, ни о философии как таковых. Исторически меняется и роль тех или иных форм общественного сознания в универсуме культуры. Яркий пример этого — античность: «Античная философия очень эстетична. Это не случайно — ведь античная эстетика, вообще говоря, представляет собой не что иное, как *эстетику жизни*. Не в смысле внешнего украшения и не в смысле даже просто эстетической сферы, хотя бы и более глубокой, чем простое украшение, — нет, она хочет по своим законам организовать самую жизнь, ее субстанцию. Она есть теория этой жизни. И мир, абсолютное объективное существование которого так или иначе проповедовали все философы (как те, кто в качестве примата ставили материю, так и те, для кого, наоборот, идея была над материей), воспринимался как нечто эстетически прекрасное. У стоиков, например, лантейстически и фантастически трактуемая природа представлялась тем не менее художественно-говорящей, и именовали они ее „художницей“. Можно сказать, что в античности философия и эстетика представляли собою одно и то же. Античная эстетика была не чем иным, как учением о выразительных формах того же единственно сущего космического целого, философски трактуемого»⁴⁰.

§ 3. Историческое сознание и историческое время

Вернемся, однако, к вопросу об историческом сознании и поставим вопрос о его соотношении с другой, близкой ему категорией — категорией исторического времени.

Следует принять во внимание, что идея о наличии у социального бытия собственного времени и пространства и о том, что «история в не меньшей мере, чем физика, является наукой о времени»⁴¹, лишь сравнительно недавно вошла в круг культурологических идей. «В прежних теориях истории, — пишет, например, А. Ф. Лосев, — проблема времени почти не играла никакой роли. При современном же состоянии науки проблема времени стала весьма популярной и даже, можно сказать, модной»⁴².

Как отмечается в современной философской литературе, «актуальность разработки проблем социально-исторического времени и пространства обуславливается не только познавательно-методологическим интересом к ним. Названные категории, в особенности категория «время», играют важную роль в мировоззрении, в категориальном каркасе культуры, ибо посредством понятия времени в сознании человека оформляется понимание направленности естественных и общественных процессов, отношение к настоящему, прошлому и будущему, определяется смысл человеческого бытия»⁴³.

Историческое время отнюдь не совпадает с измеряемым приборами, выражающим величину длительности природных событий физическим временем. Не репрезентируется историческое время и простой хронологической последовательностью исторических событий (фактов). Напротив, социально-историческое время определяет характер восприятия и интерпретации природных ритмов, составляющих основу физических измерений времени. В этом отношении различие между выражением «Гораций умер на пятый день до декабрьских календ, когда консулами были М. Марций Цезарийон и Г. Асиний Галл» и выражением «Гораций умер 27 ноября 8 г. до н. э.» отнюдь не сводится к разнице способов датирования определенного события — смерти римского поэта Горация. В данных формулах зафиксированы разные типы восприятия «абсолютного» астрономического времени. Но эти формулы суть формы, в которых заключена «сущность» исторического времени, так что в эпохи, в которые сделаны эти констатации, историческое время течет по-разному. Можно поэтому сказать, что историческое время есть присущий данному обществу способ (норма) интерпретации событий в категориях прошлого, настоящего и будущего.

Отсюда, однако, вовсе не следует вывод о чистой субъективности социально-исторического времени. Историческое время того или иного типа нельзя ввести подобно тому, как вводится, например, летнее время. Оно есть проявление объективных параметров общественного развития, «выражает последовательность, повторяемость, длительность, ритмы и темпы социальных процессов»⁴⁴. Формы исторического времени навязываются индивиду с той же силой, что и представления о прекрасном, безобразном, полезном и т. д. Иными словами, работа механизма «социальных часов» не зависит от индивида. Вместе с тем социально-историческое время может стать для субъекта предметом глубоких переживаний.

Восприятие и осознание индивидом исторического времени следует, по-видимому, отнести к разряду высших прояв-

лепий человеческой духовности. Вот как, например, описывает свое переживание исторического времени современный писатель: «Что было там, на расстоянии в десять веков, в столице маленького народа на острове Хонсю? Это так же невозможно постичь, как и жизнь людей на острове Сицилия две с половиной тысячи лет тому назад, во времена Эмпедокла, или — еще глубже — в века, когда жила в Египте Нефертити... До наших дней дошли ничтожные по сравнению со всей тогдашней жизнью черты, они и составляют тот фундамент, на котором историки возводят здание прошлого, — призрак, схему, причем даже этот призрак все время меняет очертания. Вглядываться в него так же мучительно, как смотреть на звезду. Там, за сотни световых лет от нас, происходит нечто, чего никто не знает, а ты тщешься представить себе тамошнее солнце и все, что вокруг, и такая невозможная тоска охватывает тебя, что, кажется, бросился бы паземь и проклял бы себя за то, что уже не имеешь дикарского права считать звезду просто красотой небесной или знаком вседержителя. Чувство невозможности войти в мпупувший мир похоже на стенокардию, болезненное стеснение в груди, предвестник смерти. Остановись, мысль, ты ужасна! А она обтекает запрещающие, она находит себе путь, и опять ты трешь лоб, хватаешь источники на всех доступных тебе языках, пытаешься разведать, как они там жили, на этой Сицилии, на этом Хонсю. Ведь они же были люди, такие же, как и ты, и они исчезли, как если бы и не было ни их мыслей, ни их страданий?!»⁴⁵.

Любопытно, что некий читатель, посчитав данные строки слишком жестокими, не щадящими чувства больных, написал об этом письмо в журнал «Здоровье», призывая на помощь клиницистов. Показателен и ответ врача от имени редакции: «Как читатель должен сказать, что сравнение это не показалось мне ярким, убедительным. Оно неудачно уже потому, что неточно. Почему невозможность вернуться в прошлое должна восприниматься как болезнь, как предвестник смерти? Видимо, писатель исходил из своих личных ассоциаций, а с позиций современной медицины такое сравнение совершенно неоправданно. За последние годы кардиология сделала гигантский шаг вперед. Велики наши успехи в борьбе с ишемической болезнью сердца — со стенокардией, с инфарктом миокарда...»⁴⁶ Известная анекдотичность ответа лишь подчеркивает социокультурную природу исторического времени, а значит и форму его восприятия. Ясно, что боль, о которой говорит писатель, не имеет никакого отношения к медицинской патологии. Здесь она не более

чем метафора. Но и на взгляд, например, химика, который всегда только химик, даже самое выдающееся произведение живописи — не более чем набор определенных химических элементов и их соединений.

Структуры исторического времени выполняют существенно важные социальные функции. Они выступают как факторы адаптации общества к условиям жизни, влияя на постановку и выбор целей, обеспечивают единство и преемственность деятельности общества. Имется прямая связь между характером целей деятельности, а следовательно, формами социальных процессов (будет ли развитие общества поступательным, динамичным или же застойным) и историческим сознанием общества. Точно так же существует прямая зависимость между уровнем развития исторического сознания и уровнем социального (морально-политического) единства общества. И это понятно. Поскольку социальной группе (классу, народу) приходится решать разные задачи, поскольку в ходе их решения происходит смена поколений, очень важно, чтобы новые поколения принимали задачи, поставленные предыдущими поколениями, как свои собственные. Иначе говоря, историческое сознание обеспечивает единство процессов деятельности, так как сами деятели сменяются.

Благодаря структурам исторического сознания деятельность не прерывается, а социальная группа, осуществляющая ее, не распадается. В известном отношении наличие исторического сознания, возможно, даже более важно, чем, допустим, общий язык, ибо, как известно, существуют разные народы, говорящие на одном языке, и порой один народ говорит на разных языках. При этом чем масштабнее решаемые сообществом задачи, тем настоятельнее потребность в адекватном отражении исторического времени. И здесь уместно сослаться на мнение Н. И. Копрада: «Время, в которое мы живем, исключительное. Это безусловно один из важнейших по своему историческому значению поворотных моментов всемирной истории; будущее, возможно, покажет, что даже самый важный из пережитых до сих пор человечеством. Естественно, что в такой момент мысль невольно обращается к вопросу о смысле истории: так бывало всегда во время крупных исторических поворотов»⁴⁷.

Определенные формы исторического сознания задают и вполне определенное отношение к действительности. В одних случаях это динамическое восприятие мира, в других — статичное, косное. Поэтому К. Леви-Стросс различает общества «горячие» и «холодные». «Горячие» общества ориентированы

на изменения. Меняются вещная среда, нравы, обычаи, взгляды, язык, т. е. эмпирическая реальность. Именно в таком обществе живет большинство человечества со времен неолита. Главная особенность «холодного» общества — способность не изменяться. Таково первобытное общество в ранние эпохи его существования⁴⁸.

Сознание первобытного человека статично и «циклично». Оно ориентировано не на изменение среды, а на удержание ее в неизменном состоянии. Неизменны и цели деятельности. Первобытное общество лишь воспроизводит себя. Не воспринимая мир как нечто меняющееся, общество не думает и о том, чтобы его изменить. Первобытное сознание в сущности, аисторично. Если историческое (ориентированное на изменение действительности) сознание «присваивает» историю, то аисторическое сознание «бежит» от нее. Носитель аисторического сознания — миф. В первобытном обществе аисторическое сознание представлено «мифом вечного возвращения», доминирующим, впрочем, и в общественном сознании более поздних эпох.

Такой тип мировосприятия был присущ джайнизму и буддизму, культуре Древней Греции и Рима, культурам народов Центральной Америки и др. Ацтекам, например, было свойственно циклическое видение мира. Они жили в постоянном ожидании страшной катастрофы (всеобщего пожара), парализовавшем мышление и сковывавшем их активность. Эти циклы представлялись им достаточно короткими, так что каждые 52 года они ждали конца света и каждый раз готовили себя к самому худшему, впадая в тотальную апатию. К тому же они верили в мифическое предсказание о том, что из-за океана явится белый бог, который в свое время научил их многим умениям и который должен был вернуться, чтобы победить ацтекских богов. Во время вторжения конкистадоров все это, как полагают историки, ослабило волю ацтеков и их последнего вождя Монтесумы, что послужило одной из причин быстрого завоевания огромной империи кучкой авантюристов⁴⁹.

В шорах циклического видения действительности нельзя заметить, что исторические события происходят в определенное время, в определенном месте и потому неповторимы. Кажется, что человек живет во вневременной вечности, но «растянутой» в большой цикл. Нет и чувства времени, ощущения дистанции между событиями.

«Миф вечного возвращения» теряет свою силу лишь в Новое время. На смену идее циклического времени приходит идея линейного времени, т. е. представление о том, что

социальные изменения имеют направленный характер. Конечно, определенный отход от диалектического видения мира имел место и раньше. Направленность событий в будущее утверждала, например, христианская доктрина истории; неповторимость исторических событий подчеркивал Августин и т. д. Однако вплоть до Нового времени историческое сознание было интегрировано в религию, а она не исключала «интервенции» божественных сил в ход событий и т. д. Секуляризация социального времени — явление весьма позднее. Она происходит не ранее XVII—XVIII вв.

В целом концепции исторического времени, сформировавшиеся в эту эпоху, имели следующие особенности.

1. Если раньше представления о направленности исторического процесса складывались стихийно (опосредуясь формами мифологического, религиозного сознания), то теперь образ истории формируется сознательно, целенаправленно. Представления о историческом времени освобождаются от мифологического, религиозного покрова.

2. Эти концепции приобретают историкофилософский характер. Они уже продукты философской рефлексии и возникают вне и независимо от решения эмпирических научных задач в сфере социально-исторического познания. Более того, между познавательными процессами этих двух типов существует определенный антагонизм.

3. Они формулируются с позиций философского идеализма. Это означает, что источник, движущие силы, механизмы социальных изменений видятся в человеческой духовности.

4. Социософские концепции, как правило, не содержат адекватных категориальных средств ассимиляции, с одной стороны, нового, неповторимого, а с другой — возвращения к уже апробированному в истории. Иначе говоря, господствующим методом мышления становится метафизика. Лишь в гегелевской философии, в частности в философии истории, она уступает место диалектике.

Теперь, чтобы выявить предпосылки, обусловившие переход к качественно новым типам исторического сознания, присущим марксизму, нужно учесть несколько обстоятельств. Прежде всего, революции в Европе и Америке не привели к реализации социальных идеалов Нового времени. Вместе с тем капиталистический способ производства вызвал к жизни социальные силы, заинтересованные в радикальном изменении общественного порядка. В сфере философской рефлексии это отозвалось углублением внимания к проблемам исторического времени. Начиная со второй половины XVIII в. центральной философской проблемой становится проблема

человека и его бытия в мире. Философия XIX в. делает акцент на моментах динамики человеческого существования.

Принципиально новое, что внес в решение этих проблем марксизм, — это последовательная линия на научность интерпретации структур исторического сознания. Не менее важно и то, что в марксизме была создана теория именно социального времени. Если в домарксовской философии и предпринимались попытки выработать научное понимание исторического времени, то они выливались в сугубо натуралистические концепции. На социальную действительность переносились нормативы естествознания. Общество и его история мыслились как простое продолжение и часть природной истории.

К. Маркс впервые сформулировал основания подлинно гуманитарной историографии, т. е. научной теории социального развития, способной в то же время учесть, что человеку, в отличие от природных явлений, присущи сознание и свобода. Марксом же была сформулирована научная исследовательская программа истории человеческого общества, образцы реализации которой даны, например, в «Капитале». В общем можно сделать вывод, что марксизм разработал последовательно научную концепцию социально-исторического времени, концепцию, позволившую дать научный ответ на вопрос о прогрессе в узком смысле этого слова. Вопрос о направленности социального развития: существует ли движение от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному, и если да, то каковы его содержание и критерии, — оказывается аспектом общей теории социального развития, и ответ на него зависит от результатов познавательных процедур, а не от субъективной оценки.

Вместе с тем надо подчеркнуть, что формирование научной теории социального развития не означает, что идеалы, оценки и другие проявления человеческой субъективности не должны нас теперь интересовать. Напротив, все это играет в сфере исторического сознания одну из главных ролей, обуславливая, в частности, отношение к прошлому как к целостности. Но этим суть дела, конечно, не исчерпывается. Аксиологические структуры опосредуют всю совокупность оценок происходящих событий, формируя тем самым историческую память.

Разрыв общества с традиционными формами быта, ускорение социального прогресса провоцируют различные драматические конфликты. Одной из иллюстраций скачкового может служить своеобразная, хотя и надолго забытая концеп-

ция Николая Федоровича Федорова. Возродившийся сравнительно недавно интерес к его идеям хотя и привел к переизданию работ Н. Ф. Федорова⁵⁰, не вылился, к сожалению, в достаточно адекватные их интерпретации.

§ 4. Феномен прошлого в учении Н. Ф. Федорова

Одна из центральных идей Н. Ф. Федорова — идея супраморализма. «Супраморализм — это долг отцам-предкам, воскрешение — как самая высокая и безусловно всеобщая нравственность, естественная для разумных и чувственных существ, от исполнения которой, т. е. долга воскрешения, зависит судьба человеческого рода»⁵¹.

Сама мысль о всеобщем воскрешении для всякого знакомого с христианской мифологией не содержит, очевидно, ничего оригинального. Повлзла, поразительная по крайней мере для современников, заключалась в том, что воскрешение объявлялось «делом не чуда, а знания и общего труда»⁵². Более того, оно рассматривалось в контексте естественной эволюции природы, «переходящей из бессознательного состояния в сознательное»⁵³.

Принцип супраморализма замыкает, делает элементами одной системы философско-историческую и натурфилософскую компоненты «философии общего дела». С одной стороны, этот моральный императив обоснован природным бытием человека: «Рождение есть приятие, взятие жизни от отцов, т. е. лишение отцов жизни, — откуда и вытекает долг воскрешения отцов, который сынам даст бессмертие»⁵⁴. С другой стороны, «человек, сознающий себя смертным, сознающий, следовательно, свое единство со всеми умершими, может смотреть на природу, как на средство воскрешения»⁵⁵. А чтобы реализовать эту интенцию, человечеству понадобится овладеть природными процессами во всем их объеме — как на атомно-молекулярном, так и на космическом уровнях. В свою очередь, смыслом человеческого существования, смыслом истории становится «объединение сил для возвращения жизни отцам»⁵⁶. Тем самым будет преодолен слепой характер социальной эволюции, ее антагонизм, или «побратство».

Принципиальный вопрос, с ответа на который должен, по-видимому, начинаться всякий анализ «Философии общего дела», — это вопрос о характере интеллектуальной конструкции, созданной «московским Сократом». Причем оценка должна быть целостной, а не замыкаться на отдель-

ные идейные составляющие, так как достаточно очевидно, что речь идет о едином мировоззренческом комплексе.

В имеющейся (очень небольшой по объему) литературе концепция Н. Ф. Федорова квалифицируется подчас как «своеобразно-фантастическая утопия»⁵⁷. Есть, однако, основания сомневаться в справедливости подобной оценки. Утопия ли это и можно ли, отнеся философию Н. Ф. Федорова к жанру утопии, выразить тем самым суть его учения?

На поставленный вопрос следует, видимо, ответить отрицательно. Речь с самого начала должна идти не об утопической, а о собственно философской системе. Конечно, одно вовсе не исключает другого. Классический пример — утопия идеального государства у Платона. Но ведь никому не приходит в голову считать на этом основании Платона утопистом. Философ по преимуществу и Федоров.

Во-первых, он совершенно явственно и последовательно отталкивается от европейской философской традиции (Сократ, Аристотель, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше), противопоставляя ей собственные решения. Он либо опровергает ее постулаты, либо полемизирует с возможными следствиями из них. Во-вторых, утопия всеобщего воскрешения выступает здесь в качестве средства решения собственно философских проблем, во всяком случае в характерном для Федорова их понимании: «Если философию определить как науку о вопросах (проблемах), то все вопросы могут быть соединены в один вопрос: о смерти и жизни, что отвлеченно можно выразить вопросом о бытии и не-бытии»⁵⁸.

С этим опять-таки можно соглашаться или не соглашаться, но бесспорно, что проблемы типа «космос и человек», «смерть и жизнь», «смысл жизни» — исконно философские и в некоторых философских системах они главные, центральные. Достаточно сослаться на христианский эволюционизм Тейяра де Шардена или экзистенциализм.

Таким образом, судить об идейном наследии Федорова нужно не по законам утопического жанра, а по законам, которым подчиняются генезис и развитие философской рефлексии. Хотя два ряда этих законов оказываются подчас очень близкими, полного совпадения между ними отнюдь нет.

Сама идея всеобщего воскрешения представляет собой, конечно, утопию в прямом, «словарном», смысле этого слова (фантазия, вымысел, несбыточная мечта). Воскрешение в физическом, телесном смысле невозможно в силу необратимости физических процессов, а значит, необратимости и направленности времени. Думать, что умерших предков можно воскрешать, собрав рассеянные во вселенной частицы их

праха, столь же наивно, как и ожидать превращения ртути в золото, воздействуя на нее философским камнем.

Однако человек — это ведь не величина, тождественная определенному физико-биологическому материалу. Такой материал — лишь носитель особого социального качества, которое, по Марксу, и составляет сущность человека. Это качество формируется и развивается через социально организованную деятельность, делая его посетеля «совокупностью всех общественных отношений». И такими ли уж фантастическими и утопическими будут выглядеть представления Н. Ф. Федорова, если их рассмотреть в данном контексте?

Насколько реалистическим и человечным может быть такое отношение к предкам, мы почувствуем, читая Андрея Платонова: «Мертвые не чувствуют нашей любви к ним. И все же без них — без наших отцов, героев и учителей — наша жизнь была бы невозможна ни в физическом, ни в духовном смысле. Поэтому правильное отношение к нашим предкам и предшественникам, всякая память о них имеет глубокое прогрессивное значение. Без связи с ними (в смысле продолжения их исторического дела), без живой памяти о них люди могли бы заблудиться на протяжении одного текущего века и озвереть: человеческий, коммунистический мир может быть построен лишь союзом многих поколений»⁵⁹.

Но не будет ли натяжкой трактовать «Философию общего дела» в духе нашего понимания исторического времени? Дать вполне однозначный ответ позволяют тексты самого Федорова, в которых супраморализм сплошь и рядом выглядит чуть ли не метафорой исторического времени, например: «Настоящее есть сын, а Прошедшее, то есть история, — отец и мать»⁶⁰. Вообще, переход от понятий «Философии общего дела» к понятию связи прошлого, настоящего и будущего совершенно естествен и органичен. Это хорошо видно из следующего, например, фрагмента: «Не ясно ли, что при отрицании жизни отцов и воскрешения их наша собственная жизнь становится вопросом, делается бессмысленной и невыносимой; наступает уже не разочарование в ней, а отрицание ее, пессимизм. Неудовлетворенность настоящим и безнадёжность, безотрадность Будущего — вот роковое следствие отречения от родного Прошедшего, от истории жизни и смерти отцов наших. Это и есть Страшный Суд Истории над тем, кто, поглощенный игом Настоящего, не видит двух окружающих его бесконечностей: Минувшего и Грядущего — и ставит себя выше тех, кому мы обязаны жизнью»⁶¹.

Как уже сказано, в современной философской литературе все чаще подчеркивается значимость категории социаль-

по-историческому времени для культуры и мировоззрения, для разработки методологических проблем социального познания. Более того, налицо рост общественного интереса к различным аспектам, характеризующим течение исторического времени. Именно в контексте данных проблем следует, с нашей точки зрения, рассматривать учение Н. Ф. Федорова, основные его идеи.

Но как быть с той специфической формой, в которой они представлены? Ведь нельзя не признать, что, бездумно восприняв, концепция Н. Ф. Федорова дает известные основания для поверхностных, а подчас и нелепых истолкований. Назвал же ее один современный литератор «философией воскрешения мертвецов»!

Почему Федоров стал вдруг рассуждать о долге воскрешения, жизни и смерти? Было ли это данью каким-то приходящим обстоятельствам, проявлением испорчено-индивидуального восприятия мира, чем следует пренебречь, сосредоточив внимание на существе дела?

Ответим вопросом на вопрос: насколько ли более смысла в учении, согласно которому «воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля — смертью воды» и т. д.? Очевидное, казалось бы, возражение должно состоять в том, что античные натурфилософы впервые увидели мир как процесс, процесс бесконечного и необходимого превращения, и что наивный способ выражения этой великой идеи обусловлен уровнем развития тогдашнего общества. В условиях, когда в культуре не сформировались еще абстракции типа «процесс», «движение» и т. п., репрезентаторами диалектики только и могли быть модели подобного типа. Здесь действует тот же закон, который заставляет человека Нового времени воспринимать мир как огромный механизм, а современного — искать всюду информационные процессы и ядерные превращения. И тем не менее нельзя ли во всем этом усмотреть определенной аналогии с коллизиями, приведшими к возникновению «Философии общего дела»?

Обратимся к отношению «прошлое — настоящее», которое составляет основной предмет размышлений Н. Ф. Федорова, привлекает его внимание в не меньшей мере, чем процессы стихийного возникновения и уничтожения вещей — внимание греческого философа эпохи классики. Наивно было бы полагать, что все сводится к движению по шкале времени. Напротив, сама эта шкала есть аспект совокупного социального движения, точнее процессов преемственности и воспроизводства социальной жизни сменяющимися друг друга поколениями.

Каждое последующее поколение не только приобретает вещи (производительные силы) и культурные формы, созданные предыдущими поколениями, но и более или менее активно к ним относится. Здесь имеют место своего рода искусственный и естественный отбор, реконструкция, т. е. восстановление тех или иных вещей и культурных форм по их остаткам и т. д. Наконец, в этих процессах содержатся волевые, этические компоненты, т. е. отношение настоящего к прошлому определяется некоторой системой ценностей. Так, лейтмотив творчества Федорова — постоянное подчеркивание враждебности «торгово-промышленной цивилизации» памятникам прошлого: «Промышленная цивилизация, если она верна себе и последовательна, может считать прошедшее лишь в смысле утилизации и эксплуатации его настоящим»⁶².

Процессы социальной преемственности, о которых идет речь, имеют основополагающее значение для общественной жизни. «Благодаря тому простому факту, — писал Маркс, — что каждое последующее поколение находит производительные силы, приобретенные предыдущим поколением, и эти производительные силы служат ему сырым материалом для нового производства, — благодаря этому факту образуется связь в человеческой истории, образуется история человечества»⁶³. Эта связь порождает свое отражение, которое есть не что иное, как историческое сознание. Оно представляет собой, как выше было показано, специфическую форму общественного сознания, не отличающуюся по статусу, допустим, от морали, религии или экономического сознания. Историческое сознание и соответствующие ему подсистемы культуры (музеи, образование и т. д.) обеспечивают коммуникацию между сменяющимися друг друга поколениями, заполняя возникающие здесь разрывы, фиксируют определенную направленность деятельности в историческом времени.

Таким образом, структуры, в которых представлено социальное время, — это необходимая составляющая общественного сознания. Причем формирование собственно исторического мышления вовсе не означает конца мышления амсторического. В любую эпоху они переплетаются в различных пропорциях. Кроме того, научная историография — лишь высшая ступень эволюции историзма. Поэтому наряду с ней в культуре функционируют и обыденные представления о прошлом. Это могут быть образы религиозного сознания, искусства и философии.

Представим теперь, что такая сложная социокультурная реальность становится объектом синкретической медитации, когда философско-этическое, художественно-образное, науч-

ное и даже мифологическое восприятие исторического времени еще не разведены, не акцентированы и взаимодействуют по законам свободной ассоциации. С точки зрения современного человека, подобный тип мышления представляет собой, конечно, реликт, нечто близкое тому способу видения мира, который был свойствен натурфилософам древности. Однако нет оснований отрицать возможность его возрождения и в эпохи более поздние, существенно отличающиеся от античности экономическим и духовным укладом. И думается, что общие принципы интерпретации «Философии общего дела» не могут быть правильно сформулированы без учета данного обстоятельства.

Действительно, во Вселенной древнегреческих философов первоначала (вода, огонь, земля, атомы) органически включены в единый космический процесс вместе с Любовью и Враждой, Жизнью и Смертью, Богом и Прекрасным, управляются всеобщим Логосом и т. д. Но сквозь это переплетение атических, физических, теистических и тому подобных субстанций просвечивают подчас идеи огромной мощи, например представление о мире «как самосолидающем, самоуправляющемся процессе»⁶⁴.

Во многом аналогично этому разворачивается и философская рефлексия Н. Ф. Федорова: природа, ее самосознание, самоуправление, жизнь и смерть, любовь и долг, «всплошная сила времени», наука, искусство, религия становятся проявлением мировой тотальности. Есть здесь и фактор, который, подобно логосу греков, обуславливает всю мировую динамику, — «воскрешение»: «Только святейшее дело, воскрешение, движимое всех объемлющей, родственной любовью, соединяет и объединяет предыдущие с последующими и, даруя тому и другому бессмертие, превращает умирающее Прошлое и рождающееся Будущее в непрерывно живущее Настоящее»⁶⁵.

Однако, как уже выше отмечено, речь идет вовсе не о библейском чуде. Задачу предпологается решать средствами науки и инженерии. Эту задачу можно считать исторической реконструкцией, т. е. восстановлением прошлого по его следам. Окружающая нас действительность содержит частички прошлой жизни, как, допустим, валуны несут следы оледенения. Зная современное состояние и историю каждой такой частички, зная законы сохранения и исчезновения следов, силы, управляющие веществом, и т. д., можно воспроизвести прошлую реальность⁶⁶. В частности, центрами воссоздания (а не только собирания, хранения и изучения) прошлого должны стать музеи.

Казалось бы, все сказанное не открывает ничего нового по сравнению с тем, с чем сталкивается, решая свои профессиональные задачи, всякий историк. Опираясь источниками, т. е. определенным образом препарированными и изученными «следами прошлого», он осуществляет историческую реконструкцию. Различие, однако, есть. Оно заключается в том, что Федоров имеет в виду предельный случай реконструкции — абсолютно полное воссоздание прошлого, или (за неимением иного термина) «воскрешение». Отсюда понятно, почему «вопрос о воскрешении есть теллурико-солнечный или даже теллурико-космический»⁸⁷: абсолютная реконструкция неминусово должна предполагать и абсолютно полное овладение мировым процессом. Но именно здесь заключен наиболее парадоксальный момент «Философии общего дела»: задаче воскрешения должны быть подчинены все силы и ресурсы объединившегося человечества, и даже «рождение детей заменится здесь воскрешением родителей»⁸⁸.

Тем не менее уже сама эта парадоксальность заставляет искать для нее вполне рациональное объяснение. И в соответствии с намеченным выше подходом «Философию общего дела» следует, по нашему мнению, рассматривать как оригинальную форму рефлексии над историческим временем.

Будучи проявлением необратимости процессов социальных изменений, взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего вообще относится к числу важнейших факторов общественного бытия человека. В определенном смысле «вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка (или увеличивающегося единообразия — энтропии)»⁸⁹. Причем эта общая устремленность культуры может выражаться, конечно, в различных формах и с различной интенсивностью.

Есть, видимо, несколько моментов, обусловивших столь ярко выраженную «антиэнтропийную» направленность учения Федорова, и основой — уплотнение социального времени, т. е. возрастание темпа социальных изменений. Последнее же всегда ведет к увеличению давления на прошлое, поскольку появление нового означает отрицание, разрушение старого. Продукты деятельности предшествующих поколений становятся объектом преобразования в значительно большей мере, чем это имело место в условиях застойного, традиционного быта. Выход за пределы традиции (как основной организующей формы жизнедеятельности) меняет историческую ситуацию прежде всего в том плане, что прошлое перестает быть высшей ценностью, главным ориентиром ее. На первый план выдвигаются ценности иного рода:

утилитарные, экономические и т. п. Этот-то подчас весьма болезненный поворот и может порождать представление о «принципиальной и практической враждебности или равнодушии» к прошлому «торгово-промышленной цивилизации»⁷⁰. Вместе с тем это должно кем-нибудь приводить к появлению мировоззренческих альтернатив, главный смысл которых — обеспокоение ценностями прошлого. И наиболее выразительный пример этого — «Философия общего дела».

Другое существенное обстоятельство (помимо разрушения традиций) — процессы секуляризации культуры. Утрата религией, выступавшей длительное время в качестве последнего основания наличной системы ценностей, доминирующего положения в культуре воспринималась зачастую как крушение самой этой системы ценностей. Характерный пример — этическое воззрение Ф. М. Достоевского, считавшего, что «смерть» бога ведет к вседозволенности. Поэтому императив всеобщего воскресения может быть истолкован как поиск вперерелигиозных форм, призванных компенсировать потерю прошлым ореола святости. Оно вновь становится высшей ценностью, поскольку превращается в высшую цель, осуществлению которой должны быть подчинены все силы и ресурсы объединившегося человечества.

Итак, к каким же выводам позволяет прийти все изложенное выше? Главное, на наш взгляд, то, что историографию нельзя рассматривать в качестве абстрактной познавательной формы, призванной удовлетворить «природную» любознательность человека. Ее возникновение и функционирование в системе духовного производства обусловлены процессами жизни исторического сознания. Историческое сознание — это относительно самостоятельная область культуры, обеспечивающая преемственность и направленность человеческой деятельности, характер ее динамики. Именно механизмы исторического сознания (отражающие, конечно, потребности общественной практики) потребовали на определенном этапе своего развития копирования научных форм историографии, точно так же, как, например, на известной ступени социальной эволюции алхимия превратилась в химию.

Становясь элементом исторического сознания, его подсистемой, научные формы историографии во многом определяют характер исторического мировоззрения, но, во-первых, не исчерпывают его и, во-вторых, сами испытывают воздействие со стороны исторического сознания в целом. Наряду с этим обретение научной историографией относительной самостоятельности приводит в действие ее собственные потребности и интенции, фиксируемые в том числе и структурами познавательной деятельности, и способами ее организации.

ГЛАВА VII

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ

В общей системе историографического исследования исторический источник используется по-разному. Если с ним имеет дело историк, то это объект-посредник, если — источниковед, то тогда, как было показано, в трактовке его деятельности принципиально возможны три варианта. Мы различали позиции источниковеда-практика, продуцирующего исторические источники, источниковеда-методиста, разрабатывающего методики источниковедческого анализа, и источниковеда-учебного, для которого исторический источник есть объект исследования. Рассмотрим же, каково реальное положение дел в этой отрасли историографии.

Но прежде необходимо сделать одно уточнение. Переводя историческое исследование в план анализа типов решаемых в нем задач, мы тем самым изменим сам гносеологический предмет. До сих пор постоянно речь шла о непосредственных процессах функционирования исторического исследования, о том, как, какими средствами решает историк свои задачи. Вопрос же о типах задач — это вопрос о структуре организации научного исследования. Науку иногда сравнивают с машиной, производящей знания. Если принимать это сравнение, то следует различать «конструкцию», «принципиальную схему» того целостного образования, которое мы называем наукой, и реальные процессы познания, протекающие в ней.

Рассмотрим теперь некоторые гносеологические характеристики источниковедения, причем такие, которые позволили бы представить его место в системе научного знания.

§ 1. Дискуссии о предмете источниковедения

Оговоримся сразу, что мы не стремимся дать исчерпывающий анализ всех точек зрения на предмет источниковедения, рассмотрим лишь наиболее распространенные.

В системе историографических исследований существует весьма обширная область, где познавательные процедуры направлены не на события прошлого или прошлые общественно-экономические формации, а на объекты, непосредственно данные историку и рассматриваемые им как «остатки» прошлых эпох. Сюда относятся нумизматика, сфрагистика, дипломатика, палеография, летописеведение и т. д. — коми-

лексе дисциплин, традиционно называемых вспомогательными. Но у специалистов нет единого мнения насчет того, что такое само источниковедение. Для одних оно комплекс источниковедческих дисциплин, для других — главная из вспомогательных исторических дисциплин¹. Словом, «спор об определении предмета „источниковедение“ и о задачах источниковедения, об объеме понятия „источниковедение“ тесно смыкается со спором о том, является ли источниковедение вспомогательной или специальной исторической дисциплиной»².

Заменить традиционный термин «вспомогательные» термином «специальные исторические дисциплины» впервые у нас предложил М. Н. Тихомиров³. Разумеется, речь идет не просто о терминах, а о попытках более адекватно представить место источниковедения в ряду других дисциплин историографического цикла, в частности выделить его как вполне самостоятельное подразделение исторической науки.

Существует множество определений источниковедения. Однако при всем их разнообразии можно указать на три основных подхода, которые так или иначе в различных сочетаниях присутствуют в литературе.

1. «Источниковедение, — пишет А. Д. Люблинская, — представляет собой вспомогательную историческую дисциплину, задачей которой является подбор исторических источников, их научная систематизация и критическое изучение... Изучая содержание источников, подвергая их критическому анализу, классифицируя и располагая их в определенную систему, источниковедение доставляет материал для исторического исследования»⁴. Характерная особенность такого подхода — выделение предмета источниковедения лишь как некоторой эмпирически данной области познавательной деятельности, как результата сложившегося в историографии разделения труда. Источниковедение определяется не как особая наука, а скорее как тот раздел исторического исследования, который в прошлом веке назывался «историческая критика». В целом же можно считать подход Люблинской вполне соответствующим тому, что выше было названо позицией источниковеда-практика. Он выражает и фиксирует видение исследователя, избравшего основной своей задачей «продуцирование» исторических источников.

2. Источниковедение определяется как «специальная или вспомогательная историческая дисциплина, которая разрабатывает методы изучения и использования исторических источников»⁵. Действительно, с гносеологической точки зрения данное определение привносит в понимание предмета

источниковедения существенно новый момент. Оно предполагает различение тех процессов познавательной деятельности, продуктом которых является сам источник, и ее методов. Одно дело, когда речь идет о разработке каких-либо методов, другое — об их применении непосредственно в деятельности. Определения первого типа (п. 1) не учитывают этого различения. Между тем оно позволяет отличить источниковедение как научную дисциплину от собственно истории. Историк, конечно, сплошь и рядом обрабатывает свои источники, но из-за этого он отнюдь не превращается в источниковеда, хотя и пользуется методами источниковедческого анализа. Напротив, источниковед потому может считаться специалистом в своей области, что его непосредственная задача — разработка методов анализа источников, и специалист-историк, если брать идеальный случай, этим заниматься не должен. Сказанным, однако, вовсе не снимается вопрос о специфике тех задач, которые приходится решать в источниковедческом анализе, идет ли речь о специалисте по методам такого анализа или о собственно историке.

Можно предположить, что выделение источниковедения в качестве самостоятельной методической дисциплины вызвано именно спецификой источниковедческого анализа. И представляется отнюдь не случайным, что два подхода к пониманию предмета источниковедения чаще всего объединяются в рамках одного определения, например: «Среди вспомогательных исторических дисциплин особое место принадлежит источниковедению, задачей которого является выявление исторических источников, их научная систематизация, критический анализ, разработка методов изучения и использования источников и, наконец, конкретное и всестороннее выявление того, что могут дать источники для освещения истории человеческого прошлого»⁶.

Таким образом, определения второго типа соответствуют позиции источниковеда-методаста, именно его специфическому подходу к задачам источниковедения.

3. Известен и еще один подход. Так, согласно А. Ц. Мерзону, источниковедение «призвано установить закономерности возникновения и развития источников различного типа, показать обусловленность их содержания конкретной исторической обстановкой»⁷. Сходным образом определяет источниковедение и М. А. Варшавчик: «Предметом источниковедения являются не просто „сами источники“, а закономерности возникновения исторических источников и отражения в них явлений объективного исторического процесса»⁸.

Как видим, отличие этого подхода от первых двух заключается в том, что источниковедению задается уже не как су-

глубоко методическая дисциплина, а как наука о «законах» некоторой области действительности. Палица, следовательно, попытка определить предмет источниковедения аналогично тому, как это имеет место во всякой развитой науке. Правда, поскольку нам известно, в источниковедении нет ни одного убедительного примера реализации подобного подхода. Вместе с тем было бы неправильным объяснять формирование его целиком влиянием общенаучной идеологии. Дело в том, что в литературе уже давно обсуждается вопрос о так называемом «теоретическом источниковедении». «Теоретическое и конкретное источниковедение, — пишет С. О. Шмидт, — это источниковедение с разными задачами, зачастую с разной терминологией, с разной структурой». В то же время «объем понятия и задачи теоретического источниковедения соответственно современному уровню научного мышления пока еще не уточнены. Не выявлены еще основные элементы теоретического источниковедения, не определены с должной ясностью их взаимосвязи, особенности функционирования и способ организации как элементов системы. Сейчас, скорее, есть основания говорить еще не о структуре теоретического источниковедения как системы, а о конгломерате элементов, по традиции относимых к теоретическому источниковедению»⁹. И хотя к «теоретическому источниковедению» часто относят сугубо гносеологические или логические вопросы источниковедческого исследования, все же речь идет, по-видимому, об источниковедении, предмет которого понимается как при третьем подходе. Указывается, например, что важнейшую задачу теоретического источниковедения составляет «исследование структуры и свойств источниковедческой информации»¹⁰.

Ясно, что такая задача не может быть ни поставлена, ни разрешена в источниковедении, трактуемом в рамках первого и второго подходов. Вместе с тем для решения вопросов, касающихся, например, «структуры и свойств источниковедческой информации», совершенно необходимо ввести представление о некоторой относительно обособленной действительности, имеющей свои специфические законы, которая и должна выступать в качестве объекта исследования ученого-источниковеда. Позиция последнего, с нашей точки зрения, как раз и зафиксирована в определениях третьего типа.

Итак, различия в интерпретации предмета источниковедения имеют под собой вполне реальные основания. Они порождаются спецификой сферы исследований памятников прошлого, отражают разные способы и пути ее развития. Наряду с проблемой определения предмета источниковедения в

литературе обсуждаются «смысл и разграничительные линии понятий „техника“, „методика“, „методология“, „теория источниковедения“»¹¹, идут споры вокруг различения «общего» и «конкретного» источниковедения, а также предметов отдельных источниковедческих дисциплин.

Все это подводит нас к необходимости рассмотреть вопрос о возможных типах научных дисциплин в самом общем плане, применительно к науке в целом.

§ 2. Научно-методические и собственно научные дисциплины в структуре современной науки

«Всякая наука, — писал Б. М. Кедров, — предполагает знание закономерной связи явлений. Открытие законов составляет главную задачу или цель всякой науки. Пока соответствующие законы не открыты, человек может лишь описывать явления, собирать и систематизировать факты, накапливать эмпирический материал. Но это еще не наука, во всяком случае не подлинная, развитая, сформировавшаяся наука; она ничего не может предсказывать. Это исходный материал, необходимый для построения здания науки, но еще не само ее здание. Наука становится подлинной наукой с того момента, когда открыты первые законы явлений, которые она изучает»¹².

Такое представление становится конституирующим элементом осознания отношения науки к действительности, специфики происходящих в ней познавательных процессов, их направленности и строения, т. е. того, что условно можно назвать «идеологией» науки. «В принципе, — рассуждает В. В. Давыдов, — объект любой науки выделяется из конкретных материальных тел в форме той или иной связи, и именно последняя в „чистом виде“ становится специальным объектом изучения. В истории каждой науки есть период становления ее предмета (хотя, по существу, этот процесс продолжается все время), период формирования специфической для нее точки зрения на материальный мир. В этом процессе куется форма теоретического отношения к этому предмету, возникают теоретические понятия. Их истоки — в самих вещах, они отражают процессы развития этих вещей, по именно в форме теории, раскрывающей взаимосвязи вещей и их законы в „чистом виде“, во всеобщем виде»¹³.

Можно ли считать, что всем этим наука полностью специфицирована в одном из возможных аспектов ее рассмотрения, а именно в гносеологическом? Принципиальный

ответ на этот вопрос должен быть, конечно, положительным. Действительно, такова основная интенция научного познания. Однако она не единственная. Традиционно в науке принято выделять, с одной стороны, дисциплины «фундаментальные», с другой — «прикладные», «технические», или, шире, область научной и практической деятельности, именуемую термином «инженерия». «То, что инженеры вышли из ученых, — писал Дж. Бернал, — постоянно и тесно связаны с нами, не означает, что эти две профессии неразличимы. В действительности функция ученого и инженера совершенно различны»¹⁴. Еще в XIX в. эти две области научного познания противопоставлялись Коптом, считавшим, что «совокупность наших познаний о природе и совокупность выведенных из этих познаний приемов воздействия на природу в нашу пользу составляют две совершенно отдельные по существу своему системы, которые следует рассматривать и изучать совершенно независимо одна от другой»¹⁵.

В чем же различия этих систем и действительно ли они столь велики, чтобы их можно было (хотя бы в некоторых отношениях) противопоставлять одну другой? Имеет также смысл сразу оговорить аспект, в рамках которого проводится это различие. Дисциплины собственно научного типа отличаются от технических дисциплин чаще всего по двум признакам. Отмечается, например, что если первые ориентированы на познание действительности, то вторые — на использование полученных знаний. «Естествознание, — подчеркивал Б. М. Кедров, — непосредственно ставит задачу познавать законы природы, одновременно подготавливая возможность их практического использования. Само же использование познанных законов составляет задачу техники (промышленной, сельскохозяйственной) и медицины. Если естествознание открывает и изучает то, что может быть использовано практически (различные виды материи и форма ее движения, различные силы природы и их законы), то техника и технические дисциплины решают задачу — как именно эти законы могут быть применены и использованы в интересах человека»¹⁶.

Иной акцент в следующем утверждении: «С точки зрения цели производства знания и особенностей его применения фундаментальные науки — это науки, имеющие целью всестороннее познание мира, объяснение и предвидение его явлений, познание его фундаментальных закономерностей, чем и определяется исключительное практическое значение этих наук. Практические науки с точки зрения их назначения можно охарактеризовать как науки, призванные обес-

печатать оптимальную общественную деятельность человека во всех ее областях — в области промышленного и сельскохозяйственного производства, здравоохранения, образования и т. д.»¹⁷.

Таким образом, различение двух типов научных дисциплин проводится либо на базе отношения «производство знаний — использование (потребление) знаний», либо на базе отношения «знание — деятельность (организация деятельности)». Каждый из этих подходов вполне приемлем. Мало того, они достаточно близки друг другу. Нам же в дальнейшем будет интересовать более частный вопрос — вопрос о соотношении дисциплин собственно научных и дисциплин научно-методических. Именно этот аспект, думается, имеет прямое отношение к проблеме определения предмета источниковедения.

Рассуждая несколько упрощенно, различие дисциплин указанных типов можно свести к различию решаемых ими задач. Первые решают собственно научные задачи, вторые — инженерные. Формулировка научной задачи обязательно включает указание на объект или его стороны, которые требуется описать по определенной программе. Инженерная задача ставится путем задания характеристик продукта, который нужно получить. Используя представления, введенные в первой главе, можно сказать, что в дисциплинах собственно научных объект задан морфологически или структурно-морфологически, требуется же установить его функциональные характеристики. В дисциплинах научно-методического типа объект, который нужно построить, выделен набором известных функций и задача состоит в том, чтобы найти его морфологические и структурно-морфологические характеристики. Простейший случай научной задачи — определить, как функционирует объект, представленный в некотором конкретном материале. Элементарный пример инженерной задачи — рассчитать конструкцию определенного сооружения так, чтобы оно могло выполнять заданные функции. Непосредственно в методических дисциплинах это может выглядеть следующим образом: сформулировать метод, который позволял бы решать задачи известного типа.

Используя столь же элементарные модели, рассмотрим введенное различие генетически.

Предпосылки для формирования инженерного и собственно научного подходов, а значит, впоследствии и двух видов научных дисциплин имеются уже на самых ранних стадиях развития материального производства. Основная же предпосылка такова: общество не может существовать, не

приспосабливая окружающую среду к своим потребностям. Элементы среды приобретают в деятельности людей такие функции, которыми природные объекты не обладают. Типичный пример — изобретение колеса. Человека можно уподобить драматургу-новатору, ибо в пьесах, которые он сочиняет и ставит на подмостках истории, природе приходится играть совершенно не свойственные или очень непривычные ей роли. Однако это может происходить и происходит лишь при том условии, что материал окружающей среды существенно перестраивается человеком, приобретает новые формы. Человек выделяет в окружающей реальности такие явления, включает их в такие системы связей друг с другом, которые позволяют продуктам его деятельности выполнять наперед заданные и социально значимые функции. Существенно при этом, что любой акт такого превращения опосредуется, во-первых, набором реальных взаимосвязанных практических действий, во-вторых, целью, или программой деятельности. («В конце процесса труда, — писал К. Маркс, — получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально»¹⁸.) Эта программа должна, как минимум, фиксировать: 1) исходный преобразуемый материал; 2) некоторую его сторону, выделяя которую человек «заставляет» исходный материал функционировать определенным образом; 3) набор реальных действий и их конкретную связь.

Если иметь в виду простейшую ситуацию, то каждый из этих элементов может фиксироваться на уровне образов. В ранние эпохи первобытно-общинной формации данный способ был, по-видимому, основным, чем и объясняется то исключительное место, которое занимают в первобытной культуре, скажем, охотничьи и вообще трудовые танцы. Они служили специфической формой социальной памяти, где в весьма еще перасцепленном виде откладывался социальный опыт. «Исполняя охотничий танец перед тем, как отправиться на охоту, люди думали, что они заклинают зверя, — пишет М. С. Каган. — В действительности же они „заклинали“... самих себя, т. е. подготавливали себя к охоте, и подготавливали всесторонне: физически и духовно, практически и психологически. Иначе говоря, магический танец оказывался средством общественного воспитания всех участников — воспитания физического, профессионального и эстетического»¹⁹.

Однако по мере того, как общественные условия жизни усложняются, возрастает необходимость целенаправленной перестройки программ деятельности. Можно представить,

например, такую ситуацию, когда традиционно использовавшегося исходного материала не оказывалось в наличии. Соответственно приходилось изменять и процедуры, и «конструкцию» продукта, представляемую в идеальном плане. Так, «окончание культуры палеолита в Европе было в известной мере результатом неразрешимого противоречия между созданной человеком верхнего палеолита техникой массовой охоты на крупных животных, обеспечившей временное изобилие пищи и сделавшей возможным увеличение численности населения, и ограниченностью природных ресурсов для этой охоты, которые через некоторый период времени оказались исчерпанными»²⁰. Конечно, это эпохальное событие. Но в подобных ситуациях, хотя и иных масштабов, человек оказывался постоянно по мере усложнения материального производства и трансформации условий его жизни. Любой новый акт деятельности несет в себе зародыш противоречия между традиционно воспроизводимыми программами деятельности и реальными условиями общественной практики. Поэтому и возникает потребность в создании новых программ практической деятельности.

Кроме того, по мере усложнения материального производства и разделения труда стихийно сложившиеся способы деятельности уже не могут постоянно воспроизводиться в виде образцов подобно тому, как щеперный человек постоянно поддерживал пламя своего костра. Появляется необходимость в таких формах хранения социального опыта, которые позволяли бы воспроизводить нужный способ деятельности лишь в соответствующих ситуациях.

В связи со всем этим рано или поздно в сфере общественной практики возникает особая деятельность, материалом для которой становятся те элементы окружающей среды, а их отражения в программах решаемых человеком практических задач и сами эти программы. Формируется, таким образом, еще один слой идеального целеполагания, или слой программ второго порядка, — методы в современном смысле слова. Они функционируют в качестве предпосылки, позволяющей формулировать и разрешать целые классы конкретных практических задач применительно к постоянно меняющимся условиям социального бытия. Потребность в их целенаправленной разработке обуславливает формирование комплекса научно-методических дисциплин.

В соответствии с занимаемой позицией отношение исследователя-методиста к элементам реальной действительности специфично. Он продуцирует методы решения практических инженерных задач, поэтому его главный интерес — устано-

вить, как преобразовать некоторый материал, чтобы он приобрел известную функцию. Но для успешного и последовательного развертывания работы ему необходимо соблюдать одно важное условие — точно знать инвариантные характеристики данного материала, обнаруживаемые во всех возможных преобразованиях и перестройках. Эти «инварианты» по мере развития познания становятся предметом самостоятельного изучения и осознаются в качестве законов внешнего мира. На данной основе складывается комплекс собственно научных дисциплин.

Анализ данного вопроса в генетическом аспекте показывает, что формирование дисциплин естественно-научного типа всегда предшествовало обнаружению в стихийно складывавшемся процессе практической деятельности некоторых повторяющихся моментов. Так, подброшенное тело всегда падало на землю, вода в насосах не поднималась выше определенного уровня, некоторые признаки растений и животных наследовались при скрещивании и т. д. Конечно, чаще всего человек обращал внимание на эти «инварианты» лишь тогда, когда в практической деятельности возникали неожиданные явления. Скажем, еще флорентийские подопроводчики времён Галилея обнаружили, что воду насосом нельзя поднять выше уровня, соответствующего в современной системе мер десяти метрам. Известно, что это явление было первоначально осознано как результат действия особой «силы» — силы «боязни пустоты», которую и начали исследовать сначала Галилей, а потом Торичелли. При этом средствами познания служили эмпирические объекты, оперируя которыми, человек сталкивался с подобными инвариантами деятельности. Эти объекты были несколько перестроены с таким расчетом, чтобы максимально отчетливо обнаруживался раз установленный эффект и чтобы они были удобны в обращении²¹. Результатом всего этого явилось впоследствии формирование таких разделов физики, как гидро- и аэростатика.

Различная направленность научно-методических и собственно научных дисциплин, несовпадение решаемых ими основных задач приводят к формированию двух отличающихся друг от друга форм осознания. Если собственно научные дисциплины связываются этими формами с познанием структуры объектов, законов их функционирования и развития, то в осознании научно-методических дисциплин главное место занимают категории «искусственное» и «конструирование». Издавна принято считать, — пишет Г. Саймон, — что цель научных дисциплин состоит в изучении природных объектов, в объяснении их структуры и свойств, в то время

как в задачу инженерной подготовки входит изучение искусственных объектов — как сконструировать и изготовить артефакты, обладающие желательными свойствами. Но конструированием занимаются не только инженеры. По существу, мы конструируем всякий раз, когда разрабатываем способы превращения данной ситуации в другую, более приемлемую. И интеллектуальная деятельность, помогающая создать искусственные материальные объекты, принципиально ничем не отличается от той, которая помогает врачу прописать лекарство больному, экономисту разработать план сбыта продукции своего предприятия, а политическому деятелю подготовить программу социальных преобразований. Конструирование, или синтез, понимаемое в таком широком смысле, составляет основу обучения людей профессиональной деятельности. Именно это отличает области практической деятельности от сферы науки. Главной задачей как инженерных, так и архитектурных, юридических, педагогических, медицинских или административных учебных заведений, по существу, является научить конструировать»²².

Понятно, что высказанное выше не более, чем абстрактная модель структуры науки. Реальное ее строение гораздо сложнее, и в частности в ней тесно взаимосвязаны собственно научная и инженерная деятельности. Более пристальное рассмотрение вопроса приведет, видимо, и к необходимости различать инженерные и методические науки²³. Однако для дальнейшего анализа специфики источниковедения предложенная модель обладает достаточной степенью конкретности. Она позволяет рассмотреть источниковедение на фоне целого комплекса сложившихся в науке методических дисциплин, таких как метрология, картография и т. д.; сопоставить развитие области исследований исторических источников с общими закономерностями формирования эмпирических наук; наконец, показать, какие представления об источнике должен иметь именно источниковед.

Теперь непосредственно обратимся к вопросу о предмете источниковедения. И прежде всего рассмотрим основные исторические этапы его формирования.

§ 3. Закономерности исторического формирования источниковедения

Возникновение источниковедения как особой исторической дисциплины тесно связано с процессом складывания собственно исторической науки. Историография зарождается и длительное время существует в виде определенной

отрасли социальной практики. Историк выступает в качестве социального деятеля, либо выполняющего конкретные функции, определенные запросами государственного управления, либо стремящегося активно повлиять на «злобу дня» своей эпохи: кого-то возвысить или унижить, предостеречь или воодушевить своих современников и т. п. Наконец, он может просто фиксировать исторические события, целенаправленно вписывая их в историческую память. Последнее также представляет собой «практическую» задачу, хотя и иного типа, чем предыдущие. «Геродот из Галикарпаса, — говорит „отец истории“, — собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не приняли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в неизвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом»²⁴.

Все это вполне анологично формированию, скажем, математики и астрономии, когда первая не выходила за рамки решения практических задач на измерение, а вторая выступала как астрология. «В математических папирусах, — пишет, например, М. Я. Выгодский, — не раз затрагиваются вопросы геометрического характера, и подчас они имеют значительный исторический интерес; но всегда мы имеем здесь дело с задачами на вычисление; центральным пунктом задачи является ее арифметическое решение. И вообще в известных нам папирусах мы не встречаем тенденции к выделению геометрических вопросов в самостоятельную область науки»²⁵. Прикладной характер имела и астрономия. «Не следует забывать, — отмечает О. Шейнбауер, — что древняя астрономия в своем развитии в значительной степени находилась до состояния вспомогательного орудия, когда над теоретическими аспектами астрономии преобладала их астрологическая интерпретация»²⁶.

Что касается историографии, то на раннем этапе ее развития почти полностью отсутствовал источниковедческий анализ. Конечно, «первоначальный» историк использовал разного рода документы, свидетельства очевидцев и т. д., но только как «готовый» материал. «Эти первоначальные историки, — писал Гегель, — пользовались сообщениями и рассказами других (один человек не может видеть все), но лишь таким же образом, как и поэт пользуется как ингредиентом сложившимся языком, которому он обязан столь многим»²⁷.

От историка-практика не требовалась особая точность изложения событий. Принцип Рапке «Wie es eigentlich gewesen ist» к первоначальному историку неприменим. Это-

му-то Геродот, например, говорит: «Так рассказывают персы и финикийцы. Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе»²⁸. Отсюда проистекает удивительно произвольное обращение с материалом. По свидетельству Е. А. Косминского, «средневековые хронисты при описании событий, современниками которых они сами не были, обычно стараются ограничиться одним источником для того, чтобы не путаться в противоречиях, так как работа по критике источников не представляла для них интереса и была им незнакома. Они брали, как правило, основной источник; если же использовали другие, то лишь путем частичного привлечения, лишь в смысле известного дополнения. При этом следует отметить, что пересказ этого основного источника с течением времени делался все более и более кратким. При этом источник сплошь и рядом приводится дословно, либо в подробном или сокращенном изложении, либо делается некоторая мозаика в виде небольших вставок из других источников»²⁹.

Ситуация существенно меняется примерно на рубеже позднего средневековья и Нового времени. Именно в эту эпоху сложившиеся в недрах «первоначальной» истории способы работы начинают все чаще обнаруживать свою несостоятельность перед лицом изменившихся требований общества к продуктам деятельности историографа. Апелляция к прошлому становится важным аргументом в политических и идеологических столкновениях. Противоборствующие социальные силы интерпретируют прошлую действительность во имя своих сегодняшних интересов. «Большую роль в развитии духа критицизма, — констатирует Е. А. Косминский, — сыграли политические и социальные столкновения, которые мы наблюдаем в средние века. Поскольку представители церковного мировоззрения, сторонники папской власти опираются на определенные факты и документы, их противники предпринимают попытки опорочить эти документы, поставить их под сомнение. Так, борьба за институту между императорами и папами послужила поводом к появлению ряда памфлетов, авторы которых обращались к историческим фактам и пробовали нарисовать историю либо с точки зрения исконности папских прав, либо с точки зрения их узурпаторского характера»³⁰.

Поскольку сопоставлять события прошлого можно, лишь обращаясь к свидетельствам, документам и т. п., это приводит к формированию представления о них как о средствах деятельности историка. Свидетельства, к которым обращается историк, рассказывают об одном и том же событии не

только по-разному, но часто противореча друг другу. Поэтому они начинают восприниматься историком как нечто опосредующее описание прошлых событий. «Перед Гизелем, писателем XVII в., — отмечал П. А. Рубинштейн, — перед которым оказалась не одна летопись, которую он переписывал, а ряд источников и поэтому ряд противоречий между ними, возникает проблема сопоставления материала, проблема критики, т. е. задача не простой переписки текста и регистрации фактов, а их анализа, задача научного подхода к материалу»³¹.

Традиция критического отношения к источникам должна была еще утвердиться. Один или несколько случаев подобного отношения не могли сделать погоду. Предстояло осознать социальную значимость точности в изложении событий, сформировать представления об историческом факте.

Однако и такое осознание не означало, что научный подход к источникам возобладал. Историк испытывает новые трудности, ибо ему необходимы нормативы оперирования материалом. Показательно, что тот же Инокентий Гизель, автор «Сивонсиса», «перемешивает князей и события, описывая главное, выставляя пестрящее, сопоставляя разрозненные свидетельства об одном и том же событии, как, например, говорит, что Владимир Мономах добыл щель, пояс и шапку княжью от старосты Кафинского, которого поборода на поединке, и на другой же странице говорит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Византии»³². Иными словами, у него нет критериев для различения достоверного и вымышленного. Иллюстрацией подобных трудностей может служить и вышеописанный эпизод из жизни английского историка и политического деятеля Уолтера Рэлея.

Преодолеть же эти трудности удалось с формированием особой деятельности, смысла которой сводится к описанию систем объективных связей и отношений исторического памятника с прошлой действительностью, т. е. с возникновением структурно-функциональных представлений об источнике. Тогда же впервые возникает исторический источник в собственном смысле этого слова, складывается его структура и возникает особый раздел историографической деятельности, содержанием которой становится продуцирование источников.

Первоначально источниковедение возникает в виде «критики» источников, и это тоже, по-видимому, не случайно. «Строя» источник, исследователь сразу же обнаруживает, что отнюдь не каждый элемент памятника можно поставить в связь с элементами изучаемого объекта. Поэтому источни-

ковед как бы отсекает подобные фрагменты памятника, в результате чего значительная часть проработанной им работы осознается как «критика». Такую «критику» начинают отличать от другой, «положительной», деятельности историка-источниковеда, т. е. от «интерпретации» источников.

Итак, исторический источник с генеалогической точки зрения сам явление историческое. Памятник прошлого начинает функционировать в историческом исследовании в качестве источника лишь постольку, поскольку он «впитал» в себя предшествующую деятельность источниковеда, поскольку сложились функциональные и структурно-функциональные представления об источнике, а также сама эта деятельность. Рефлективные и онтологические знания об источнике выступают как элементы системы, задающей «траекторию» движения данного материала памятника в процессе исторического познания, определяющей его свойство «быть источником».

Нужно отметить, что в ходе развития познавательной деятельности с так называемыми «письменными» памятниками функциональные представления складываются раньше, чем структурно-функциональные, или одновременно с ними. Осознание источника как средства деятельности историка по большей части предшествовало его осознанию как «части», «остатка», «следа» прошлого. Причина этого кроется, вероятно, в следующем. Языковой текст сам по себе есть очень «мощная» нормативная система, содержащая, в частности, алгоритмы интерпретации отраженных в ней событий. «Первоначальный» историк мало что мог противопоставить их влиянию и оказывался в плену у своего материала либо, если этого не происходило, оперировал им весьма произвольно. В истории исторической науки немало соответствующих примеров³³.

Если теперь обратиться к историческому развитию деятельности с так называемыми «вещными» памятниками, то обнаружится противоположное движение: от структурно-функциональных представлений к функциональным. Каменные орудия были сначала осознаны в качестве реликтов первобытной эпохи и лишь значительно позднее — как средства исторического исследования. И это понятно. Построенный историком норматив интерпретации памятника есть вообще единственно возможный норматив его использования в научном исследовании.

Так, далеко не сразу ископаемые остатки прошлых эпох были осознаны в качестве исторических источников. Даже в середине XIX в. можно было прочесть следующее: «Почему же не попытаться бросить свет на историю человека в досто-

рическую эпоху при помощи тех же способов исследования, которые оказались столь плодотворными в геологии, тем более что археология, как известно, стоит действительно на границе между геологией и историей. Правда, при настоящем состоянии наших знаний мы не можем отличить скелет дикаря от скелета философа, тогда как по костям животного мы можем составить себе определенное представление о его привычках и образе жизни. Но, с другой стороны, животные оставляют после себя только зубы и кости, а человека прошедших веков мы можем изучать по произведениям его рук, его жилища указывают нам на образ его жизни, гробницы — на почитание мертвых, укрепления — на способ защиты, храмы — на форму религии, инструменты — на потребности и, наконец, орнаменты — на стремление к украшениям³⁴.

Столь длительный временной разрыв между формированием структурно-функциональных и функционально-морфологических представлений об источнике находит свое объяснение в отсутствии явно выраженных познавательных задач, связанных с доисторическим прошлым. Если историография более близких эпох имела со времени античности, по сути дела, непрерывную традицию, а кроме того она испытывала воздействие идеологии, политической и правовой практики, то историография первобытной эпохи в общем не знала столь мощных ускорителей. В большей степени она складывалась лишь в результате действия внутринаучных факторов. В этом смысле показательна ссылка Лейбока на успехи геологии.

Таким образом, историческое развитие и познавательной деятельности с письменными памятниками, и познавательной деятельности с вещественными памятниками приводит к формированию структуры исторического источника, имеющей один и тот же вид. Так или иначе, сложившись, она начинает затем воспроизводиться как нечто постоянное, поскольку структура источника оказывается зафиксированной системой отношений исторической науки, когда критика источников начинает становиться одной из важнейших задач познавательной деятельности.

Дальнейшее развитие источниковедения и превращение его в научную дисциплину вызвано потребностью зафиксировать методы источниковедческой практики, что, в свою очередь, вызвано необходимостью обучать новые поколения историков, т. е. постоянно воспроизводить историографическую деятельность в масштабах общества. Когда писание истории было делом единиц, методы их работы не фиксировались особо; историк либо брал за образец труд предшествен-

ника, либо создавал эти методы для себя. Когда же примерно в начале XIX в. историков начали обучать в университетах — а в это время были разработаны и основные приемы источниковедческого анализа, — обойтись без описания норм источниковедческой деятельности стало уже невозможно. Как отмечает С. П. Капица, в истории науки можно «проследить тесную связь между развитием науки и высшим образованием. Мы видим сотрудничество исследовательских институтов и университетов, клиник и медицинских академий. Эта связь необходима для нормального развития науки. Потребность в воспитании учеников и последователей дает сильнейший повод ученым для написания сочинений, появление которых служит в то же время важным каналом связи науки и общества. Действительно, на уровне интеллектуальных стандартов рассматриваемых работ то, что принято называть внедрением результатов научных исследований, часто наиболее действенно происходит через учеников, воспитанных учеными, через научную школу, создающую учителем... Именно так обеспечивается преемственность знаний и культуры»³⁶.

Весьма характерно, что содержание учебников источниковедения до сих пор сводится в основном к описанию соответствующих методов, а также образцов решаемых с их помощью задач. Правда, в современных условиях методы источниковедческого анализа все чаще становятся предметом целенаправленной разработки.

§ 4. Источниковедение как научно-методическая дисциплина и ее место в системе исторической науки

Если обратиться к тому, как в историографической литературе ставятся вопросы о профессиональной подготовке источниковеда, о том, какие знания необходимы для решения возникающих перед ним задач, то сразу же выявляется один на первый взгляд парадоксальный факт. Оказывается, что к компетенции источниковеда относят чуть ли не все существующие отрасли научного знания. Считается, что «историк не может замыкаться в узкой сфере своей специальности. В противном случае ему будет очень трудно подвергнуть источник критике. Историку необходимо быть знакомым с естественными науками, в частности с геологией, палеонтологией, физической географией, антропологией и этнографией, с науками экономическими, политической экономией, историей экономических идей и экономического быта,

сельскохозяйственной экономией, наконец, историк должен быть осведомлен и в науках политико-юридических, в общем учении о праве и государстве, истории политических учений, государственном и международном праве, а также и всеобщей и национальной истории права. Он должен быть также лингвистом. Необходимо знакомство как с древними, так и с новыми языками, позволяющее изучать в подлинниках исторические источники, а также быть в курсе текущей иностранной литературы. Изучение религиозных верований заставляет исследователя познакомиться с историей религии вообще. Все эти сведения, расширяя кругозор историка, позволяют ему правильно подойти к тому или другому источнику и историческому явлению»³⁶.

Нетрудно увидеть, что речь здесь идет не о собственно историке, а об источниковеде. Чем же объясняется отмеченная многоплановость источниковедческого исследования? И содержит ли источниковедение нечто такое, что отличало бы его как от каждой из перечисленных здесь дисциплин, так и от их совокупности? Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, обратим внимание на следующее: уже сама постановка их свидетельствует о том, что источниковедение есть дисциплина именно научно-методического типа.

Обратимся к деятельности источниковеда и проанализируем общее в решении его профессиональных задач. Тем самым, думается, можно определить специфику источниковедения как научной дисциплины. Начнем с примера. Сошлемся на факт доказательства подложности нескольких грамот, якобы выданных Василием II «служилым людям Протасьевым»: «В 1838 г. в „Актах Юридических“ (161) было опубликовано пять грамот XV—XVI вв. на кормление служилым людям Протасьевым. Грамоты издавались по списку XVII в., в котором отмечено, что на подлинной грамоте, выданной князем Василием II 28 августа 1425 г. была „печать вислая, на красном воску, орел“». Грамота привлекла внимание многих исследователей, которые, опираясь на нее, признавали вслед за Б. Н. Чичериным наследственность кормлений в Российском государстве. Однако Н. П. Лихачев обратил внимание на то, что великий князь Василий II не пользовался печатью с орлом на красном воску. Такая печать появилась позже, при Иване III, в самом конце XV в. На этом основании он признал грамоту подложной, а вместе с тем разрушил гипотезу о наследственности института кормлений в Русском государстве XV в.»³⁷.

Определение подложности грамот можно рассматривать как типичный случай решения источниковедческой задачи.

Очевидно, что главным основанием для сделанного Н. И. Лихачевым вывода послужило знание того, когда именно вошла в обращение «печать вислая, на красном воску». Проведенные источниковедом процедуры представляли собой акт сопоставления некоторого материала с имеющимся дифференциатором (образцом) и последующую интерпретацию этого сопоставления. Поэтому набор организационных форм источниковедческой деятельности должен включать еще алгоритмы (или правила) интерпретации результатов сопоставления материала источника с объектом-дифференциатором. Наличие таких алгоритмов позволяет источниковеду делать выводы о времени, месте, подлинности анализируемого материала. В учебниках источниковедения обычно фиксируются такие правила, например: «Если будет установлено, что источник возник не в то время, не в том месте и не в тех условиях, в которых по всем признакам он должен был появиться, если автором его является не то лицо, которое имеется в виду, и если, наконец, источник не является новой редакцией известного нам документа, то его следует считать поддельным»³⁸. Эти правила имеют логическую форму «Если x , то p », т. е. представляют собой условные предписания.

Таким образом, основными воспроизводимыми компонентами процессов решения источниковедческих задач являются наборы дифференциаторов и методов работы с ними. Исходя из этого было бы правильным различать «источниковеда-практика» и «источниковеда-ученого». Первый, оперируя имеющимися средствами, решает конкретные задачи, содержание которых сводится к тому, чтобы «строить» источники. Область его интересов концентрируется вокруг тех или иных памятников прошлого: летописей, предметов материальной культуры и т. д. Что же касается источниковеда-ученого, то он выступает как разработчик средств для источниковеда-практика. К материалу исторического памятника источниковед-ученый обращается лишь постольку, поскольку это необходимо для разработки методов источниковедческого анализа.

Резюмируя все сказанное о типологических особенностях источниковедения как научной дисциплины, следует отметить, что в данном отношении оно не представляет собой чего-то исключительного, с чем приходится сталкиваться только в сфере историографии. Напротив, очень близкие аналоги источниковедения имеются и в естествознании. Таким аналогом можно считать, например, метрологию: «Старая описательная метрология отошла в прошлое и преврати-

лась во вспомогательную историческую дисциплину, весьма полезную для истории культуры; возникла новая метрология, представляющая собой отрасль физических наук, в которой точный эксперимент играет решающую роль. Отныне метрология становится учением о единицах и эталонах или, иными словами, учением о точных измерениях, приводимых к эталонам. Старая метрология занималась описанием различного рода мер, применявшихся в разных странах, и нахождением соотношений между ними, и на это тратилась громадная по объему работа. Новая метрология ставит своей основной задачей конкретное осуществление формальных определений установленных единиц измерений в виде точнейших образцов, имеющихся эталонами, и разработку методики измерений, обеспечивающей необходимую для научных и практических целей точность при сличении эталонов»³⁹.

Будучи методической дисциплиной, источниковедение не вырабатывает каких-либо специфических моделей, репрезентирующих исследуемую действительность. Онтологические представления источниковеда не отличаются от тех, которыми располагает историк. И если классифицировать науки по содержанию их онтологических систем — а такие классификации имеют наибольшее распространение, — то выделить источниковедение в качестве самостоятельной дисциплины не представляется возможным. Последнее справедливо вообще для всех научно-методических дисциплин. Поэтому, в частности, А. Амнер — автор одной из классификаций указанного типа — имел определенные основания утверждать, что «нет в действительности никакой необходимости проводить различие между искусствами и науками, когда дело идет о классификации всех истин, достигаемых человеческим духом. Первые, как и вторые, входят в эту классификацию; только искусства входят сюда не иначе, как в их отношении к знаниям процедур и средств, которые они используют»⁴⁰.

Теперь становится понятным, почему источниковеда могут потребоваться самые различные знания. Сфера деятельности источниковеда-практика и источниковеда-методиста определяется не столько тем, что они изучают, сколько ее результатом. Что же касается изучаемого, то область его не имеет, вообще говоря, четких границ и не может быть осознана в рамках одного научного предмета. Материал памятника имеет бесконечное число качеств — механических, физико-химических, лингвистических и т. п. Задачи интерпретации ведут источниковеда из одной области в дру-

зую, заставляют использовать множество методов, и только специфика конечного продукта позволяет ему не терять своего лица.

Источниковед полностью зависит от а) уровня научно-практического освоения действительности современной ему эпохи, б) степени развития собственно исторической науки, в) имеющихся в наличии памятников прошлых эпох. Так, например, до последнего времени историки не обращали внимания на «приводимые средневековыми хрониками и анналами метеорологические или климатологические сообщения — данные о последствиях засушливых и дождливых годов, о непривычных холодах, бурях, эпидемиях и других стихийных бедствиях, вызывающих огромный рост смертности, упадок рождаемости, миграцию населения». Оказалось, однако, что «благодаря достижениям естественных наук такие сведения доступны научной проверке, могут быть дополнены более точными данными, извлеченными из книги самой природы»⁴¹.

Сделаем еще одно замечание, что позволит одновременно перейти к следующему разделу работы. Выше упоминалось, что остаются дискуссионными вопросы о том, «вспомогательной» или «специальной» дисциплиной считать источниковедение и т. п. Споры эти отнюдь не чисто терминологические, они отражают попытки более четко уяснить место источниковедения в системе исторической науки. Но, самое главное, здесь объективно существует, хотя и недостаточно осознается тенденция к формированию разных научных дисциплин. Суть ее в том, что один и тот же фрагмент прошлой действительности может интересовать исследователя в двух отношениях. Во-первых, с точки зрения задач исторической науки, т. е. как исторический источник в прямом смысле этого слова. На этой основе складываются «источниковедческая инженерия» и источниковедение как научно-методическая дисциплина. Эти сферы научной деятельности, действительно, вспомогательные в собственно историческом исследовании. Во-вторых, безотносительно к историографии. Потребителем продуктов деятельности источниковеда-практика («инженера») могут быть не только историческая наука, но и искусство, просвещение, издательское дело и т. д. Так создается возможность рассматривать памятник «сам по себе», независимо от запросов потребителя, в частности историка. Кроме того, оперируя конкретным памятником, исследователь с необходимостью выделяет фрагменты деятельности с различными классами аналогичных явлений. Это при определенных условиях может приводить (и приводит) к тому,

что в качестве объектов исследования и отнесения знаний начинают осмысливаться именно такие инварианты. И в первом, и во втором случаях речь идет, таким образом, об условиях, способствующих переходу от чисто функциональных представлений к структурно-морфологическим.

По сути дела, здесь мы сталкиваемся с достаточно близкими, но все же различными разветвлениями собственно исторических исследований.

1. Исследователь видит свою задачу в том, чтобы описать историю общества, развивающуюся во времени «деятельность преследующего свои цели человека». Реализация этой задачи составила основную, магистральную линию развертывания историографии. Главное здесь — рассмотрение и изучение общества именно как целостного организма, законов его становления и развития.

2. Объектом исследования становятся сами исторические памятники — гербы, монеты, печати, документы, орудия труда и т. д., выделяются их типы, делаются попытки выявить закономерности исторической смены этих типов и пр. Очевидно, что здесь мы имеем дело с формированием иного подхода, чем тот, который свойствен традиционному источниковедению. Поэтому геральдику, нумизматику, сфрагистику и другие «вспомогательные исторические дисциплины» необходимо сразу же отличить от источниковедения. Что же касается термина «вспомогательные», то его распространность свидетельствует лишь о незавершенности процессов складывания обозначаемых им научных дисциплин. Поскольку в ходе эволюции историографии задачи источниковедения доминировали, эти дисциплины чаще всего и воспринимались как отрасли источниковедения. Положение меняется лишь в последнее время.

*§ 5. Исследование памятников прошлого
и возможности формирования дисциплин
собственно научного типа*

В историографической литературе нередко утверждается, что «вспомогательные исторические дисциплины» превращаются во вполне самостоятельные науки. «Чем больше успех, например, нумизматики и сфрагистики, — говорит В. В. Дорошенко, — тем более становится очевидным, что они не могут и не хотят ограничиваться служебными («вспомогательными») функциями, как это было в... недалеком прошлом. Сегодня эти науки претендуют на нечто большее — на непосредственное участие в обобщении

изучаемого материала — и демонстрируют обоснованность этих претензий все чаще и убедительнее»⁴².

Не менее показательны и попытки выделить — наряду с другими дисциплинами, ориентированными на изучение памятников прошлого, — еще одну, «историческую критику», и включить в нее методы установления достоверности источников и оценку их⁴³. Как известно, термин «историческая критика» («критика источников») вплоть до конца XIX в. обозначал комплекс процедур, делавших возможным использование исторических памятников для решения собственно исторических задач. Затем укоренился более широкий по смыслу термин «источниковедение», который стал распространяться на всякое исследование памятников прошлого. В частности, оказалось даже, что источниковедение и такие дисциплины, как текстология, палеография, дипломатика, вообще трудноразличимы. Явление это, по-видимому, не случайное. Здесь следует учитывать позицию историка. Любой памятник значим для него лишь как средство исследования. Историк выступает в качестве потребителя того материала, который дает ему источниковед. Поэтому с позиций историка все, что касается изучения памятников прошлого, есть сфера источниковедения.

Однако картина существенно изменится, если встать на позиции ученого, занимающегося изучением исторических памятников самих по себе. Потребители продуктов такого рода исследований — отнюдь не только историография, но и многие другие разделы культуры: искусство, просвещение и т. д. Все это не может не порождать представления о том, что историческую критику (а фактически речь идет об источниковедении) нужно выделить как самостоятельную дисциплину. Вместе с тем дисциплины, считавшиеся ранее «вспомогательными», начинают претендовать на роль «самостоятельных», «основных» наук.

Но что, собственно, означает превращение «вспомогательной» дисциплины в «основную»? Происходят ли изменения в теле этой науки? Ссылки на относительность различия между прикладными и основными дисциплинами представляются нам явно недостаточными. «Ономастика, — пишет, например, А. В. Суперанская, — возникла как прикладная наука, необходимая историкам, географам, этнографам, литературоведам, и не вышла за рамки „вспомогательной научной дисциплины“, пока ею занимались представители этих специальностей. Когда к изучению данной проблематики подключились лингвисты, принесли с собой методы структурного и семантического анализа, ономастика выде-

ллась в самостоятельную дисциплину, апализирующую лингвистический материал лингвистическими методами. Ономастика изучает основные закономерности истории, развития и функционирования собственных имен. Обладая своим материалом и методикой изучения его, ономастика не может не быть самостоятельной дисциплиной»⁴⁴.

Отсюда следует, что превращение ономастики в самостоятельную науку связывается с использованием лингвистических моделей, репрезентирующих ее объект. Но опять-таки неясно, почему онара на лингвистику превратила ономастику в самостоятельную дисциплину, а не в раздел той же лингвистики? Каковы в таком случае перспективы других дисциплин, изучающих памятники прошлого, если известно, что здесь все большее применение находят математические, физико-химические, биологические и прочие методы?

Чтобы ответить на эти вопросы, вернемся к закономерностям формирования науки, описанным в предыдущих разделах. В частности, там отмечалось, что формирование науки всегда предполагает выделение ее объекта. Это означает прежде всего, что определенший фрагмент действительности задается независимо от инженерных практических задач, начинает рассматриваться «сам по себе».

Аналогичные процессы, с нашей точки зрения, должны происходить и в сфере исследования памятников. Здесь тоже можно ожидать, что фрагмент реальности, который чаще всего берется в качестве исторического источника, будет выделен в виде особой, имеющей свое внутреннее строение системы, т. е. уже не как источник. Собственно говоря, известное движение в данном направлении уже может быть констатировано: «Все чаще выявляется характер источниковедения как самостоятельной исторической дисциплины, изучающей, в частности, письменные исторические источники и проблематику теоретического источниковедения. Это особенно заметно тогда, когда источники изучаются как бы независимо от возможности и степени использования результатов этих наблюдений в той или иной исторической работе, как бы абстрагируясь от каких-либо конкретных задач гражданской истории»⁴⁵.

Вряд ли, однако, здесь стоит пользоваться термином «источниковедение». Ведь суть дела как раз в том, что исследователь начинает рассматривать свой материал, отвлекаясь от возможности использовать его в историческом исследовании. Кстати, это служит основной причиной того, почему ономастика, дипломатика, ономастика и другие дисциплины данного цикла все больше претендуют на роль

самостоятельных наук. Мы действительно сталкиваемся с целым рядом сформировавшихся и формирующихся «историй»: историей денег и денежного обращения, историей документа, историей собственных имен, историей орудий труда и т. п., каждая из которых предполагает «свое» источниковедение. По своему внешнему строению весь выделенный комплекс исторических наук ничем принципиально не отличается от гражданской истории. К тому же имеет место их тесное переплетение, взаимное обслуживание в рамках широкого поля историографии.

Отмеченные обстоятельства отнюдь не исключают, однако, правомерности, более того, необходимости говорить о совершенно особом виде исторических наук. Исследуемой реальностью здесь становится не процесс общественного развития в целом, а определенный набор его подсистем. Любой исторический памятник, с которым сталкивается историк, всегда проявление одной из таких подсистем (придающих памятнику конкретную определенность), например захоронение — погребальный обычай, документ — делопроизводства и т. д. Поэтому, описывая конкретный памятник, историк получает как бы срез соответствующей подсистемы. Отсюда следует, что историк, описывающему достаточно большое число памятников, относящихся к одной и той же подсистеме, нет необходимости каждый раз давать и описание данной подсистемы. Но тем самым создаются предпосылки для перехода от описаний каждого памятника к исследованию строения соответствующей подсистемы. Такой может оказаться логика формирования наук типа нумизматики, ономастики и других, тем более что так и случилось с некоторыми естественно-научными дисциплинами⁴⁶.

В связи со всем сказанным возникают следующие вопросы: завершено ли строительство здания рассмотренных исторических наук? Можно ли, скажем, согласиться с тем, что ономастика стала самостоятельной дисциплиной, начав использовать лингвистические методы анализа? Думается, что нет, поскольку объекты этих наук заданы пока лишь как эмпирические реальности. Но опыт хорошо развитых наук убеждает, что этого еще недостаточно.

Таким образом, объект научного исследования нужно еще построить как некоторую системную единицу, отнюдь не включающую весь набор параметров, которыми обладает данный фрагмент эмпирической действительности. В дисциплинах, имеющих дело с историческими памятниками, такое системное представление исследуемой реальности отсутствует, чем и объясняются (во многом) попытки заимство-

вать его (опомастикой, например) из более развитых наук. Но если эти дисциплины претендуют на роль самостоятельных эмпирических наук, они должны выработать понятия, по своему гносеологическому статусу аналогичные таким понятиям, как биосоциоз, электромагнитное поле и т. п. Другими словами, логическим завершением отмеченной выше тенденции должна явиться разработка абстрактной теоретической модели, отражающей «сущность» данных объектов.

С нашей точки зрения, существенной частью этой работы должен стать анализ исторических памятников как вещественного воплощения, или форм существования, определенных социальных норм. Именно это, вероятно, может служить объединяющим принципом, позволяющим представить все многообразие явлений и объектов, с которыми сталкивается источниковед, как определенную целостную действительность. Общество постоянно воспроизводит себя. Каждое новое поколение находит уже сложившиеся условия производства, включается в существующие общественные отношения, усваивает имеющуюся систему культурных ценностей. Иными словами, наличное состояние общества нормирует деятельность нового поколения, отливая ее в определенные социальные формы. В каком виде существуют эти нормы, как они сохраняются и передаются, какие типы их закрепления и овеществления характерны для каждого определенного общества — именно эти вопросы (с точки зрения развиваемого подхода) и должны лечь в основу источниковедения как научной, теоретической дисциплины.

Мы при этом отнюдь не уходим от традиционных вопросов источниковедения. Разве орудия труда и образцы продуктов не нормируют производственные процессы? Разве своды законов, правила делопроизводства, древние предания — это не формы фиксации социальных норм? Несомненно, да. Имело ли и должно ли интересоваться источниковеда-ученого. В общей постановке это может быть представлено следующим образом. В процессе воспроизводства социального целого мы имеем два его состояния — старое и новое: C_1 и C_2 . Дело за тем, чтобы выяснить, как передается информация C_1 к C_2 и в какой форме она существует.

Все это позволит, думается, разработать строгую типологию источников, в отличие от чисто рабочих классификаций, установить законы развития источников, как это предусматривается определениями предмета источниковедения собственно научного типа, и т. д.

Рассмотренные проблемы, в свою очередь, могут быть переведены в еще более общий контекст. Этот контекст —

функционарование и развитие культуры. Поэтому дальнейшее развитие всего комплекса источниковедческих дисциплин в качестве этапного момента будет иметь разработку системного представления культуры. В частности, в рассматриваемом нами контексте может быть использовано представление о «нормативных системах» — таких социокультурных образованиях, «в рамках которых свойства отдельных элементов „записаны“ в некоторой внешней по отношению к ним памяти»²⁷.

Подобные представления, будь они выработаны, как раз и составят фундамент той историографии, которую до сих пор было принято обозначать термином «теоретическое источниковедение», если, конечно, не смешивать последнее с разработкой сугубо гносеологических проблем исторического исследования.

Таковы, на наш взгляд, некоторые наиболее существенные черты сферы исследования памятников исторического прошлого, как о ней можно судить с позиций методологического анализа.

ГЛАВА VIII

ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обращаясь к анализу строения исторического познания, методологическая рефлексия не может не касаться того, что собой представляет история как научная дисциплина. Эти направления анализа тесно взаимосвязаны. Поредко их вообще не различают, помещая как бы в единую онтологическую действительность. Но для историографии такой взгляд столь же односторонен и в конечном счете неверен, как и для источниковедения. Возможно, именно неразличение этих аспектов приводит к тому, что подметил известный исследователь истории Древнего Рима С. Л. Утченко: «Знакомство с материалом дискуссий и обсуждений, участие в них привело меня к несколько странному и неожиданному выводу — к выводу о том, что не существует ни полной ясности, ни единого мнения по целому ряду общих понятий, определяющих самую сущность и специфику исторической науки»¹.

Действительно, предмет историографии трактуется историками и методологами по-разному, но в общем и целом в этих трактовках можно выделить две линии.

§ 1. Дискуссии о предмете исторической науки

Чаще всего в историографии склопны видеть науку, открывающую «определенные закономерности, а именно — специфические исторические закономерности»². Соответственно противоположная точка зрения отрицает это, подчеркивая то обстоятельство, что вряд ли найдется историк, способный предъявить открытый им исторический закон. «Не в том дело, — писал Риккерт, — чтобы было более или менее трудно открывать законы истории, но в том, что понятие „исторического закона“ есть *contradictio in adjecto*, т. е. историческая наука и наука, формулирующая законы, суть понятия, взаимно исключающие друг друга»³. Познавательная деятельность историка, как могут говорить сторонники такого подхода, подчинена иным задачам: «Идеальной целью истории является восстановление во временной последовательности всей жизни человечества в ее целокупности»⁴.

Противоборство названных подходов к трактовке задач историографии достигает порой значительной остроты. Вместе с тем высказывается и некоторая промежуточная версия, согласно которой «задача истории как науки состоит в том, чтобы воспроизвести и представить нам реальный процесс исторического развития человеческого общества, или данного общества, или отдельных сторон и процессов общественной жизни — экономики, социальной структуры, искусства, науки, философии, политики, религии и т. д. — как взаимосвязанный, причинно детерминированный и закономерный процесс в его конкретном многообразии»⁵. Тогда, как правило, вопрос о предмете исторической науки переводится в новое измерение. Проблемой становится соотношение историографии с целым комплексом наук — социологией, психологией, политической экономией и др. Оказывается, что знание о законах социальной реальности, формулируемое в этих науках, используется историком для решения уже своих собственных задач, к числу которых, как явствует из сказанного, получение номотетического знания не относится. Историография становится прикладной демографией, прикладной социологией и т. д. «История представляется мне в виде конкретной социологии, подобно тому как драма есть конкретная „характерология“», — писал П. Барт⁶.

Ничего не изменится, если на место социологии поставить любую другую науку о человеке. «Если бы существовала психология в виде науки о законах, — утверждал Г. Зим-

мель, — то историческая наука была бы в той же мере прикладной психологией, как астрономия теперь — прикладная математика»⁷. И все же методологическая мысль склонна соотносить историю с социологией. Ограничимся здесь ссылкой на мнение Г. В. Плеханова: «Кроме истории (в широком смысле), есть еще социология, которая занимается «общим» в такой же мере, как и естествознание. История становится наукой лишь постольку, поскольку ей удается объяснить изображаемые ею процессы с точки зрения социологии. Поэтому она относится к социологии совершенно так же, как геология относится к „обобщающему“ естествознанию»⁸.

Таким образом, мы обнаруживаем в историографии ту же самую гносеологическую обстановку, какая имеет место (о чем говорилось в предыдущей главе) в источниковедении. Историографическая деятельность в определенных аспектах может быть сопоставлена с инженерией. В самом деле, историка во всеобщем разделении научного труда выделяет прежде всего то, что он занят реконструкцией, «воскрешением», как сказал бы Н. Ф. Федоров, исторического прошлого. Но реконструкция, т. е. воспроизведение прошлого по его следам, представление этих событий прошлого в формах исторической памяти, в гносеологическом смысле есть задача инженерного типа. Ее решение может требовать знания известных законов жизни человека, но сама такая задача отнюдь не ориентирует на получение номотетических знаний.

Поэтому, между прочим, справедлива дефиниция предмета историографии как «науки о прошлом». Возражаемое высказываемое по поводу такого определения, например, Марком Блоком, хотя и остроумно, но по сути ошибочно. «Иногда говорят, — писал он, — „История — наука о прошлом“. На мой взгляд, это неправильно. Ибо, во-первых, сама мысль, что прошлое как таковое способно быть объектом науки, абсурдна. Как можно, без предварительного отсеивания, сделать предметом рационального познания феномены, имсущие между собой лишь то общее, что они не современны нам? Точно так же можно ли представить себе всеобъемлющую науку о вселенной в ее высшем состоянии?»⁹.

Но положение, действительно, таково, что общность феноменов, относимых к предмету историографии, во многих случаях заключается лишь в их принадлежности к разряду продуктов реконструктивной деятельности. В этом смысле они фрагменты прошлого. Достаточно сравнить, например, историю костюма, историю физики, историю Киевской Руси и т. п., чтобы убедиться в справедливости данного утверждения.

Конечно, историк осуществляет «предварительное отсеивание», отбор материала. Однако во всех без исключения случаях прежде, чем вести отбор, историк должен реконструировать прошлое. Признаком, который делает тот или иной объект достоянием историка, является укорененность данного объекта в прошлом. Не случайно именно в этом зачастую усматривают, вопреки Марку Блоку, главную специфическую черту историографии. Вот один из многих примеров: «Ретроспективность исторического исследования, невозможность исторiku непосредственно наблюдать, воспринимать исследуемый объект составляет одну из основных особенностей исторического познания»¹⁰.

Из сказанного вытекает, что историк (и потому он историк) всегда оперирует материалом особого типа, а именно явлениями, представленными системами исторической памяти, продуктами исторической реконструкции. Вместе с тем (о чем в предыдущих разделах уже говорилось) интерпретироваться этот материал может двояким образом. Наличием двух разных способов познавательной деятельности в историографической сфере обусловлено разветвление двух традиций, или фактически двух исторических дисциплин. Они столь же несхожи друг с другом, как, например, арифметика и алгебра, ботаника и зоология и т. п. Эти традиции различаются по своему генезису, строению и функциям.

Возникает историография в виде деятельности, содержанием которой становится воспроизведение прошлых событий так, как их мог бы воспринимать сам историк или его современник. Картина прошлого создается не только вне какой-либо специализированной парадигмы, но по своим гносеологическим ориентациям, идеалам эта деятельность вообще не является собственно научной.

Вплоть до начала XIX в. историография движется в русле цинцеровского *historia magistra vitae*. История должна учить, и в этом ее смысл и назначение, «ибо, — полагал Макиавелли, — если в истории что-либо может понравиться или оказаться поучительным, так это подробное изложение событий, а если какой-либо урок полезен гражданам, управляющим республикой, так это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и вражду, дабы граждане эти, умудренные опытом других, научились сохранять единство»¹¹. И у историков эпохи Возрождения, и у просветителей такой подход к задачам историографии господствует. «Мабли в своем сочинении „Об изучении истории“, — писал Е. А. Косминский, — первую главу называет так: „История должна быть школой морали и политики“». Именно только с этой

точки зрения и смотрели просветители XVIII в. на историю»¹².

В России аналогичных взглядов придерживался М. В. Ломоносов. По его мнению, история «дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старших разум, престарелым — сугубую твердость и советах, каждому незлобивое увеселение, с песказанною пользою соединенное»¹³.

Но на ранних этапах своего развития историография обладает еще одной особенностью. Здесь еще «отсутствует самая проблема исторического познания»¹⁴. Цели историка, по выражению Гегеля, «сами по себе являются историческими»¹⁵. События прошлого не воспринимаются еще в виде некоторого внутренне детерминированного, объективного процесса. Такого представления нет ни у историков античности, ни у средневековых хронистов, ни даже у историков более поздних эпох. У летописца нет представления о том, что исторические события имеют свою внутреннюю «логику». Из двух противоположных версий одного и того же события он выбирает ту (при условии, конечно, что он понимает их противоречивость), которая более соответствует его собственным прагматическим задачам — политическим, пропагандистским и т. д.

Летописец, по сути дела (о чем можно судить по текстам летописей), выступает как собиратель, «коллекционер» известных ему или чем-либо привлекавших его внимание сведений, которые он группирует в погодные записи. Он чаще всего «стыкует», «склеивает» попавшие в его руки документы, подчас в ущерб смыслу или их хронологической последовательности. На это обстоятельство в свое время обратил внимание выдающийся исследователь русских летописей А. А. Шахматов, использовав данный факт в своей работе по реконструкции первоначального текста «Повести временных лет»¹⁶.

Лишь в XIX в. происходит коренное изменение взглядов на задачи историографии, когда в историографическую деятельность начинают привноситься общенаучные критерии, и прежде всего критерий истины. Объясняется это, по-видимому, двумя обстоятельствами. Во-первых, поскольку историография превращается в отрасль духовного производства, возникает и становится все более устойчивой потребность в селекции ее продуктов. Во-вторых, историография испытывает воздействие со стороны развивающейся науки вообще. По отношению к историографическим реконструкциям критерием адекватности может служить их отношение к реальным событиям прошлого, т. е. точность воспроизведения прошлых событий.

Но внедрение в иерархию ценностей историографической деятельности истины, т. е. ориентации на достижение совпадения между полученной в ходе реконструкции картиной прошлых событий и самими этими событиями, не могло не превращать историческое исследование в арепу аксиологических коллизий. Если история есть *magistra vitae* и должна давать уроки (по преимуществу моральные), а историк несет в себе определенную систему ценностей, то как быть в случаях, когда реальный ход событий идет или шел вразрез с ожиданиями историка?

Один из возможных вариантов разрешения данного противоречия представлен в известной декларации знаменитого германского историка XIX в. Леопольда фон Ранке: «За историей признавалось право вершить суд над прошлым, настаивать на современном ради блага будущего; настоящая попытка не претендует на столь высокую роль: я хочу лишь показать, как было на самом деле»¹⁷. Провозглашенный Ранке принцип позволял, конечно, демаркировать историографию и, скажем, художественную литературу. Ведь, напомним, еще Аристотель говорил, что историк и поэт различаются тем, «что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть». Кстати, следует вспомнить и аристотелевское толкование истины: «Прав тот, кто считает разделенное — разделенным и соединенное — соединенным, а в заблуждении — тот, мнение которого противоположно действительным обстоятельствам»¹⁸. Можно полагать, что именно аристотелевское толкование истины и послужило «метафизической» предпосылкой формирования идеалов ранкеанской историографии, ибо наука XIX в. целиком и полностью еще разделяет это толкование.

Но, отграничивая историю от «поэзии», ранкеанское «wie es eigentlich gewesen ist» отнюдь не задавало новой историографической традиции, нового предмета исследования, и прежде всего в том смысле, что не эмансипировало из историографии ценностных установок (иллюстрацией этого является творчество самого Ранке)¹⁹. Суд над прошлым просто становился из явного «тайным». Иначе и не могло быть, ибо аксиологическое освоение прошлого — одна из фундаментальных потребностей культуры, удовлетворить которую призвана историография. Впрочем, нельзя не оговориться, что такой взгляд на историографию, точнее, на одно из ее ответвлений далеко не общепринятый. Историография анализируемого вида до сих пор имеет своих оппонентов. С их точки зрения, определение задач историографии «как эмансипационных, практических, политико-педагогических при-

водит к тому, что функцией историка становится ведение непрерывного судебного процесса против своих предков (не как личностей, а как общественных классов и социальных групп). На этом процессе против дедов и прадедов историк должен выступать одновременно прокурором, судьей и законодателем, в то время как обвиняемые лишены защиты»²⁰.

Тем не менее историк должен судить прошлое. В этом состоит одна из основных культурных функций историографии. Другое дело, чтобы этот суд был праведным. Последнее же предполагает, что будет выслушана и другая сторона, т. е. прошлое. Отрицать возможность услышать голоса прошлого — значит впадать в худший вид позитивизма, начисто отрицать гуманитарную природу исторического познания. Показательно поэтому, с каким постоянством и настойчивостью в историографии воспроизводится представление, согласно которому задача истории заключается, говоря обобщенно, в соизмерении событий прошлого с миром ценностей современного человека. Вот представление о задачах историографии современного историка, подтверждающее, по нашему мнению, сказанное: «Наука об истории — это наука о том, как возможно человеческое существование, как возможна жизнь человека и человечества, какой она была, какая есть и какая может и должна быть, и раздел ее, посвященный прошлому, возникает как описание событий, почти невозможных по „обычным“ меркам жизни, но вместе с тем возникших именно в процессе человеческой деятельности, а не богов, как в мифе. Во-первых, эта невозможность выступает в виде „странной“, „невероятной“ жизни других народов и, во-вторых, в виде „невероятных“ поступков людей своего народа, совершающих нечто такое, что редко встречается в повседневной жизни. И книги Геродота как бы строго следуют этому принципу: в них последовательно изображается в первой части все то в окружении Эллады, что казалось странным, необычным на взгляд ее гражданина (иногда в виде прямого явного сравнения — „у нас“ и „у них“, порой скрыто, косвенно, когда просто выделяются эти „странности“ — религиозных ритуалов, одежды и т. д.); и затем он переходит к описанию поистине невероятного, „невозможного“ — и по персидским меркам, и по меркам некоторых греков — события в жизни Эллады — изгнания могущественных завоевателей»²¹.

Аксиологические «поты» в трактовке предмета историографии в приведенном отрывке звучат достаточно отчетливо. Ведь термины «странный», «невероятный», «должный» выра-

жают функционирование таких культурных феноменов, как норма, идеал и т. д. «Странным» какой-то обычай или форма поведения могут быть названы только в свете определенных систем ценностей. Правда, можно возразить, что данные проявления человеческой духовности (отнесение к ценностям) нельзя считать, строго говоря, формами научной деятельности. Чрезвычайная популярность исторического романа и развитие сейчас этого литературного жанра, казалось бы, способны послужить дополнительным аргументом в пользу такого суждения.

Все же, на наш взгляд, нарративная история имеет более весомые свойства, «привязывающие» ее к науке, нежели к художественному творчеству. Об этом говорит часто также и рефлексия проницательных художников. «Почему исторический роман, а не история? — спрашивает современный американский писатель Гор Видал. — Для меня привлекательность исторического романа состоит в том, что можно быть скрупулезным (или небрежным), подобно историку, имея, однако, право не только перемещать события, но, что гораздо важнее, мотивировать поступки — а добросовестный историк никогда этого не позволит»²². Действительно, и эмпирический базис, и способы получения эмпирических данных, и ориентация на истину, как она понимается научным сознанием, делают традицию нарративной истории видом научного познания не в меньшей степени, чем на это может претендовать, скажем, деятельность по восстановлению облика вымерших животных в палеонтологич.

В историографии, однако, складывается и существенно иной вид познавательной деятельности. В этом случае речь уже не может идти о восстановлении «облика» прошлых событий. Прошлое не реконструируется, а исследуется на основе тех теоретических моделей, которые вырабатываются научным общественным: социологией, социальной психологией, демографией, политической экономией и экономическими науками и т. п. Отображение событий прошлого в предмете историографии данного типа утрачивает качество наглядности. Формированием основ этой в полном смысле теоретической историографии мы во многом обязаны К. Марксу.

Марксом были выработаны присущие именно научному познанию общества мировоззренческие предпосылки, и прежде всего установки, позволяющие представить социальную жизнь в виде объективной реальности. Домарксова философия оказалась неспособной создать познавательные средства для теоретической ассимиляции исторической действитель-

ности, неспособной учесть, что она есть деятельность наделенного сознанием и волей человека.

Науке как форме общественного сознания свойственно представлять любую реальность в форме объекта, т. е. в форме естественного, от воли и сознания человека не зависящего процесса. Но история, социальная жизнь вообще — средоточие человеческой субъективности. Спрашивается, какие формы в таком случае должно приобретать научное познание общества? Кант посчитал, что тогда познание сталкивается с неразрешимым противоречием: либо человек берется в качестве природного явления, своего рода социального атома, и тогда возможно научное знание и о человеческом мире, либо субъективность и свобода от человека не отделяются, и тогда научное знание о нем невозможно²³. Впрочем, близкие по смыслу рассуждения можно в эту эпоху найти не только у Канта. Как говорил Вильгельм фон Гумбольдт, «спор свободы и природной необходимости не может быть удовлетворительно решен ни с помощью опыта, ни с помощью рассудка»²⁴.

С точки зрения эволюции социального познания для рассматриваемого этапа характерны и заслуживают внимания следующие моменты. Формируется натуралистическая традиция в социальном познании. Она возникает в результате переноса в сферу социальных исследований стандартов и установок, свойственных естествознанию. Социальные науки мыслятся, например, как некие аналоги классической механики. Натуралистическая программа историографии проектировалась, в частности, И. Кантом²⁵ и тем же Гумбольдтом: «Даже такие, на первый взгляд случайные, происшествия, как браки, смерти, рождения внебрачных детей, преступления, происходят в течение ряда лет с поразительной регулярностью, которая может быть объяснена только тем, что и произвольные действия людей подобны природе, постоянно следующей единообразным законам в круговороте своего движения. Изучение этого механического и — поскольку ничто не оказывает столь существенного влияния на события человеческой жизни, как сила нравственного избирательного средства, — химического способа объяснения мировой истории в высшей степени важно, и особенно в том случае, если внимание направлено на точное знание законов, согласно которым действуют и испытывают обратное воздействие отдельные составные части истории, ее силы и реагенты»²⁶.

Натуралистическая традиция сыграла и продолжает играть определенную роль в развитии социального познания. Нельзя ведь отрицать, что общество — часть природы, в сп-

ду чего возможны научные предметы, трактующие общество как природную систему со всеми вытекающими отсюда следствиями. В XX в. натурализм получает особенно сильные и творческие импульсы в трудах В. И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена, А. Л. Чижевского и др. Натурализм дает мировоззренческие основания для исследований общественной жизни средствами кибернетики, экологии и т. д. Вместе с тем, соответственно канонам данной традиции, аспекты субъективности и свободы при анализе социальной реальности в этих случаях элиминируются.

Еще одна особенность складывающихся до Маркса форм социального познания — их социософский характер. Грандиозным социософским построением была, например, философия истории Гегеля.

Если теперь выделить главное из того, что было привлечено Марксом в прогрессе социального познания, то это будет следующее.

1. Маркс показал возможность социальной науки, которая, не будучи «копией» естествознания, в то же время находилась бы в полном соответствии с требованиями научной рациональности. Маркс показал путь, позволяющий примкнуть к изучению «деятельности преследующего свои цели человека» общенаучные формы и идеалы познания. Распространение материализма на историю, выраженное в тезисе о первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию, имело то значение, что делало формы человеческой субъективности проявлением объективных, «с естествонаучной точностью констатируемых» процессов. Тем самым открывалась возможность изучать историю человечества с точки зрения описания законов, определяющих ее ход.

2. Выработанные в марксизме основания социального познания сразу же предполагали последовательный отказ от социософской позиции. Не конструирование произвольных схем и не навязывание их миру социальных явлений, а эмпирический анализ социальной действительности — вот что противопоставляет Маркс социософским доктринам Вико, Гегеля, Конта и др.

Марксом была разработана уже непосредственно исследовательская программа комплекса социальных наук определенного типа, а именно наук, изучающих общество на уровне целого организма. Эта программа представлена категориями «общественные отношения», «общественно-экономическая формация», «способ производства», «базис и надстройка», «социальная революция». Данные категории вводят тот набор расчленений, руководствуясь которыми становится возмож-

ным строить теоретические модели и вести при их посредстве эмпирический анализ процессов, протекающих в социуме. Одной из наук упомянутого типа является политическая экономия, в той ее форме, которую она приобрела в работах Маркса.

Наряду с политической экономией к классу научных дисциплин, изучающих общество на уровне целого организма, должна быть отнесена и история или, правильнее сказать, тот ее раздел, который изучает эволюцию «социальных организмов». В естествознании ее аналогом являются дарвиновская теория эволюции, теория эволюции Вселенной, история Земли. Как и в естествознании, общая теория социальной эволюции сосредоточивается на установлении основных этапов социального развития, его направленности, а также факторах и условиях развития, механизмах перехода от одной фазы эволюции к другой.

Исследовательская программа общей теории социальной эволюции и фрагменты ее реализации имеются в работах Маркса и Энгельса. В частности, известно утверждение К. Маркса: «В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»²⁷, — следует, на наш взгляд, считать сжатым выражением данной программы. Не лишним было бы предположение, что сам Маркс имел в виду осуществить разработку общей теоретической истории человечества. Известным указанием в этом смысле является обращение Маркса в последние годы жизни к историческим штудиям, результатом которых стали «Хронологические выписки». В современной литературе высказывается мысль, что целью Маркса было «представить картину всемирной истории целиком — во взаимодействии различных типов обществ и во всех сферах жизнедеятельности этих обществ (экономической, социальной, политической, идеологической)»²⁸.

Конкретные исследования в рамках предмета общей теоретической истории человечества имеют тенденцию разворачиваться в двух направлениях. Одно из них — нормированная принятой теорией социального развития реконструкция каких-либо этапов или процессов мировой истории. Историк, исследующий античное рабовладение, феодализм в Англии и т. п., работает именно в этом ключе. Второй возможный вариант — разработка понятийного аппарата и самой модели социального развития человечества. Историк не ставит перед собой задачу воспроизводить определенный имевший, с его точки зрения, место исторический процесс. Он

анализирует процесс социальной эволюции как таковой, выявляя универсальные, всеобщие характеристики этого процесса. Дискуссии вокруг азиатского способа производства дают нам образец познавательной деятельности рассматриваемого типа.

Еще один возможный тип исторических дисциплин — дисциплины, не требующие выхода на уровень анализа общества как целого организма. Свои теоретические модели они заимствуют из демографии, социологии малых групп и т. д. Поэтому, кстати, оформляться в научные подразделения исследования, выполненные в данных парадигмах, могут также двойным образом. Либо это будут исторические разделы соответственно демографии, социологии малых групп и т. д., либо историческая демография, историческая социология и т. д.

Наконец, особый случай — комплексные исследования. Как и комплексные исследования в других познавательных «регионах», комплексное историческое исследование носит междисциплинарный характер, вернее, оно осуществляется сразу в нескольких предметных плоскостях. Основная возникающая при этом трудность заключается в том, чтобы найти средства коммуникации между предметными областями, в которых ведется исследование. Обусловленные разными теоретическими предпосылками «видения» объекта исследования нужно «состыковать», причем так, чтобы полученная модель-конфигуратор позволяла ученым-специалистам «понимать» друг друга.

Перейдем к выводам. Основной из них заключается в том, что историческая наука неоднородна. Неоднородна отнюдь не в том смысле, что разбивается на множество региональных историй: истории Англии, Франции, России и т. д. Это ведь чисто феноменологическое различие, не несущее с точки зрения гносеологического анализа большей нагрузки, чем, например, различие между особями одного и того же вида в биологии. Существенны различия, затрагивающие сам строй познавательной деятельности, типы задач, способы их постановки и т. п. А с этих позиций выявляются по крайней мере четыре формы историографической деятельности и соответственно четыре типа исторических дисциплин.

1. Исторические дисциплины, гносеологический идеал которых фиксируется формулой: «Показать, как было на самом деле». Они призваны воспроизвести события прошлого для сегодняшнего наблюдателя. Продуцируемые ими результаты — своеобразный аналог машины времени. Посредством работ, выполненных в предмете такой — нарративной — ис-

тории, можно некоторым образом «пережить» события, например, Смуты, наблюдать штурм Карфатена и т. п. В генезисе историографии такого типа задачи занимают исходную ступеньку. Историография зарождается именно как нарративная история.

2. Исторические дисциплины, цель которых — построение общей модели социальной эволюции. Историография в этом случае описывает процессы, протекающие в целостных социальных организмах или их подсистемах. Конечная же цель — теория эволюции всего человечества. Историк, реализующий исследовательскую программу этого типа, конечно, имеет дело с принципиально «неаблюдаемым» объектом. Отличается этот вид историографии и по своему приложению. Если нарративная история дает возможность своего рода квазиприсутствия в прошлом, то общая теоретическая история формирует научный образ исторического времени.

3. Исторические дисциплины, не выходящие в своем анализе на уровень социального целого. Имеется определенное множество уже существующих или возможных дисциплин данного типа. Их дисциплинарная структура полностью симметрична дисциплинарной структуре неисторических социальных наук, изучающих не те структуры и процессы, которыми определяется жизнь социума, а «микросоциальные» процессы. Пример — конкретная социология, или социология малых групп.

Было бы, правда, упущением не упомянуть, что соотношение социологии и истории дискутируется до настоящего времени. «Вопрос о соотношении социологии и истории и — более специальный — об историческом методе в социологии далеко не нов. Историзм является важнейшим принципом марксистской социологии с момента ее создания Марксом и Энгельсом. В немарксистской социальной философии эта проблема обсуждалась то в связи с вопросом о соотношении единично-случайного и универсально-закономерного в развитии общества (онтологический аспект), то в связи с вопросом о специфике «гуманитарного» познания по сравнению с естественнонаучным (гносеологический аспект), то в связи с вопросом о соотношении «индивидуализирующего» описания и ответственной социальной теории (логико-методологический аспект). В последнее время в связи с трудностями, переживаемыми эмпирической социологией позитивистского направления, интерес к проблемам истории и историзма заметно вырос»²⁹.

Чтобы сделать результаты сопоставления социологии и историографии более определенными и конкретными, нежелезные очень общие, как правило, рассуждения, которые на этот

счет обычно приводятся, следует обратиться к гносеологическим формам, свойственным каждой из сравниваемых отраслей познания. Материал для такого сопоставления был приведен во второй главе. Историческое исследование именно тем и выделяется из множества познавательных процессов, органичных современной науке, что его главным средством служит исторический источник. Источник придает познавательной деятельности историка вид рациональной реконструкции, рациональной в том смысле, что эта деятельность определяется нормами дискурсивного мышления. Всякое историческое исследование есть поэтому форма декодирования информации, содержащейся в памяти социальной системы. В социологии же, как, впрочем, и в любом исследовании, альтернативном историческому, происходит прямой «съем» информации с эмпирического объекта. Исследователь оперирует непосредственно интересующими его явлениями, а не их «следами», т. е. формами исторической памяти.

4. Комплексные исторические исследования. Подобно комплексным исследованиям в других научных областях, комплексные исторические исследования не образуют какой-либо однородной структуры. Единство входящих в некую совокупность многопредметных исследований (она и рассматривается в таком случае как комплексное исследование) обусловлено внешними, достаточно безразличными для логических механизмов роста научного знания факторами. Поэтому и методологические проблемы, стимулируемые комплексными исследованиями, можно вывести за скобки данного рассмотрения.

*§ 2. Методологическая модель
исторического познания
и задачи преподавания истории*

Критика в адрес современного состояния преподавания истории, особенно преподавания истории в средней школе, стала обычным явлением. О недостатках существующих программ по истории говорят не только учителя и историки-специалисты, но и писатели, журналисты, вообще все те, для кого небезразличны вопросы воспитания и образования подрастающего поколения.

Наиболее распространённый из высказываемых упреков можно сформулировать следующим образом. Утверждается, что преподавание истории в школе упускает из виду нечто очень существенное, а именно качества, характеризующие самого человека. В учебных программах и пособиях говорит-

ся о развитии ремесел, об особенностях сельского хозяйства той или иной эпохи, о классовом составе общества, политических отношениях и т. п. По большей части история предстает безликим процессом функционирования и развития тех или иных социальных структур и систем. Она перестает быть человековедением. Из преподавания элиминируется человеческий опыт — опыт чувств, страстей, ошибок, стремлений и т. д.

Насколько справедливы все эти упреки? Казалось бы, любое руководство по методике преподавания истории в школе может дать достаточный материал для возражения, ибо едва ли найдется такое, в котором бы отрицалась значимость эмоциональных аспектов в изучении истории. Напротив, чаще всего это признается. «Содержание исторического образования, — считает И. Я. Лернер, — предполагает знания, навыки и умения, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-чувственного отношения к историческим и социальным явлениям»³⁰. Отмечается также тесная взаимосвязь данной компоненты обучения истории с другими его составляющими: «Формирование эмоционального опыта учащихся, их способности переживать и сопереживать требует особых усилий и не обуславливается прямо и непосредственно изучаемым материалом. Между тем достаточно известно, что обучение истории, не вызывающее эмоциональных переживаний, не достигает цели»³¹.

Но можно ли на основании приведенного посчитать, что упоминавшиеся недостатки преподавания истории в школе — это результат недоработки, более или менее ситуативного недотягивания до идеала, вполне отчетливо обрисованного в соответствующих методических указаниях и разработках? Видимо, нет. Разговоры об «обезлюдности» школьной истории представляются содержащими нечто такое, что вовсе не перекрывается указанием на значимость «эмоционально-чувственного отношения к историческим и социальным явлениям». Эмоциональный опыт, бесспорно, должен опосредовать преподавание истории. Однако возникает ряд вопросов. Свойственно ли это преимущественно обучению истории в отличие от преподавания физики, биологии и т. д.? Справедливо ли считать эмоциональный опыт неким фундаментальным элементом исторического образования? Не правильнее ли предположить его производность, включенность в более специализированные и потому более принципиальные для преподавания истории структуры?

Пре упуская из виду поставленные вопросы, обратимся к тому, как современный методист школьного преподавания

истории представляет его содержание и цели: «Курс истории в средней общеобразовательной школе призван:

— вооружить учащихся глубокими и прочными знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших дней как в СССР, так и в зарубежных странах, на основе анализа и обобщения научно достоверного фактического материала последовательно раскрывать роль народных масс как подлинных творцов истории, создателей материальных и духовных ценностей, роль классовой борьбы в революционном преобразовании мира, организующую и направляющую деятельность коммунистических партий — авангарда рабочего класса и всех трудящихся; освещать классовую обусловленность и значение деятельности личности в истории; вырабатывать научное понимание закономерностей развития общества, классовый подход ко всем событиям прошлого и современности; формировать научное мировоззрение, убеждение в неизбежности гибели капитализма и победы коммунизма;

— воспитывать молодежь в духе коммунистической идеологии и морали, нетерпимости к буржуазной идеологии, в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма; способствовать превращению приобретаемых знаний в убеждения, в руководство к личному активному участию в коммунистическом строительстве;

— развивать мышление учащихся, их познавательную активность, самостоятельность, воспитывать готовность и уважение к труду, стимулировать интерес к науке, искусству, прививать умения самостоятельно пополнять свои знания, правильно ориентироваться в событиях современной политической жизни»³².

Приведенный перечень задач школьного курса истории — и это бросается в глаза — дает достаточно материала, могущего быть использованным критиком нынешнего состояния исторического образования в подтверждение его «обесчеловеченности», т. е. недостаточного внимания к личностным, субъективным характеристикам исторического процесса. Программируемая картина истории не оставляет места индивидуальной воле, ошибкам и заблуждениям персонажей исторической драмы, она вообще исключает возможность представлять прошлое в виде человеческой драмы — столкновения характеров, страстей и т. п. Школьнику предлагается версия деперсонифицированной истории. Массы, классы, партии, необходимости, которым подчиняются отношения между большими группами людей, — вот какой должен увидеть реальность прошлого изучающий историю.

Личность «допускается» сюда лишь в тех ее проявлениях, которые производны от массовидных процессов. Используя особенно популярную сегодня терминологию, можно было бы сказать, что предлагаемый способ преподавания истории оставляет в стороне человеческий фактор.

Но, может быть, такая стратегия преподавания как раз является оптимальной? А ее критики руководствуются лишь собственным прекрасноразумием, а не компетентным пониманием существа дела?

Уже беглый анализ школьного курса истории не позволяет согласиться с таким предположением. Действительно, как связать знание о безличных, объективных механизмах общественного развития (а именно такого типа знание отодвигается методическими рекомендациями с содержанием исторического образования) с задачами «воспитывать готовность и уважение к труду», воспитывать молодежь «в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма» и т. д.? Само по себе знание закономерностей общественного развития никоим образом не может способствовать формированию активной жизненной позиции, патриотизма и т. д. Точно так же знание законов физики отнюдь не может подвинуть человека на создание электростанций или скоростных трамваев. Вообще, в часто повторяемой формуле о превращении знаний в убеждения не больше смысла, чем в рекомендации превращать, например, стручковый перец в картофель, воду в вино и т. п. Знания и убеждения — феномены, принадлежащие к разным мирам. Можно говорить о формировании убеждения в истинности каких-либо знаний, о их пользе, о необходимости использовать знания для решения таких-то и таких-то задач. Но в убеждения знания, как таковые, не превращаются.

Если, таким образом, те компоненты исторического образования, о которых говорится в методических пособиях, не способны служить средствами воспитания, то, спрашивается, откуда вообще берет или должен брать их учитель истории? Из каких-то внешних по отношению к историографии областей? Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что в преподавании истории не вводится никакой типологии решаемых там задач. В общем и целом изучение истории трактуется как процесс, в котором происходит по преимуществу усвоение знаний. В одних случаях учащийся, как подчеркивается в методических руководствах, вообще идет теми же путями, осуществляет ту же познавательную деятельность, что и ученый-историк³³, в других — «учебное познание» воспроизводит траектории научного познания

в сокращенном и упрощенном виде: «Учебное познание истории идет путем сокращенным и облегченным по сравнению с познанием научным. Из огромного материала, собранного, проанализированного и обобщенного исторической наукой, в обучении отбирается минимум, педагогически необходимый для решения стоящих перед ним образовательных-воспитательных задач. В большинстве случаев в обучении истории знания излагаются в адаптированном и в систематизированном виде»³⁴.

Категории, посредством которых методист-историк характеризует процесс обучения,— это «факт», «теория», «методология», «причинно-следственные связи и закономерности» и т. п. Учащийся должен усвоить именно научную картину прошлого, его теоретическую модель: «Формирование у учащихся с доступной для них глубиной марксистско-ленинского понимания истории пронизывает весь процесс обучения истории в школе. Оно основывается на объяснении и на осмыслении сущности исторических явлений, разносторонних связей и отношений между ними»³⁵.

Правда, в методических пособиях говорится почти всегда еще и об образных средствах в преподавании истории. Но опять-таки их роль — быть подспорьем в передаче исторических знаний: «Образы могут содержать знания как о внешних признаках исторических явлений и событий, так и о сущности фактов, проявившейся в этих признаках. Благодаря этому образы служат для учащихся, особенно в средних классах, опорой в формировании исторических понятий и научном объяснении исторических фактов»³⁶.

Какой же вывод можно сделать на основании всего приведенного? Соответствует ли господствующее представление о формах и направлениях преподавания истории в школе действительным механизмам функционирования исторического познания и сознания, а также тем социальным требованиям, которые предъявляются к преподаванию истории? По нашему мнению, нет. Даже самый обзор сложившихся представлений методистов школьного обучения истории выявляет совершенно недопустимое смещение основных критериев в данной области. Из процесса обучения практически полностью выпадает его воспитательная составляющая. Ведь воспитание не есть только передача знаний. Воспитание — в первую очередь усвоение ценностей. И первое, на что должно ориентироваться преподавание истории в школе, это формирование ценностного отношения к прошлому. Необычайно важно (а многочисленные примеры варварского отношения к историческим памятникам хорошо

иллюстрируют, к чему приводит обратное), чтобы прошлое в мировосприятии учащегося стало ценностью. А в целом преподавание истории в школе должно служить каналом передачи ценностей, оправдавших себя, доказавших свою силу в историческом прошлом народа.

Ценности и знания — далеко не одно и то же. Проблематичность и трудность педагогической деятельности в существенной мере как раз и заключается в необходимости дать учащимся не только определенную сумму знаний, но и привить определенные ценности. Ведь «сами по себе знания, вне ценности и вне норм не действуют, они лежат в сундуке, их надо запрячь в колесницу, их надо запрячь в систему каких-то ценностных ориентаций»³⁷.

Нельзя сказать, чтобы историк-методист вообще не упоминал о ценностях и ценностных ориентациях. Но даже когда обращение к этим вопросам имеет место, оно осуществляется, как правило, в таких формах, которые не позволяют заключить о наличии должного осознания возможностей и роли историографии в процессах воспитания. Приведем некоторые соображения в пользу такого вывода.

Как мы уже вскользь говорили выше, методические рекомендации парадоксальным образом обходят вопрос о самооценке прошлого, о том, что формирование отношения к прошлому как к ценности — важнейшая задача преподавания истории в школе.

В большинстве случаев учитель нацеливается методическими пособиями на выработку у учащихся определенных оценок прошлого. Конкретнее это может звучать так: «Воспитательная роль истории как предмета обучения предусматривает формирование у учащихся личностного отношения к широкому кругу исторических явлений — культурному наследию, к историческим деятелям и т. п. Оцениваются они с точки зрения их прогрессивности или реакционности, их роли в борьбе за победу коммунизма, с этических позиций, которые также всегда классово обусловлены»³⁸. И напротив, само прошлое не рассматривается в качестве источника аксиологического опыта. Не подчеркивается то обстоятельство, что обращение к историческому прошлому может и должно служить фактором формирования определенных ценностных установок.

Даже когда обращение к историческому прошлому осознается как средство передачи аксиологического опыта, имеется в виду развитие скорее рациональных сторон этого опыта. Существует склонность и в этом случае трактовать воспитание как вид обучения. Утверждается, например, что,

«изучая историю, учащиеся знакомятся с происхождением или применением некоторых нравственных понятий и требований, которые, изменившись на протяжении веков, вошли в трансформированном виде в коммунистическую мораль: честь, долг, благородство, гуманизм, честность, правдивость и др.», или, как говорит тот же автор: «Одна из задач нравственного воспитания в обучении истории состоит в том, чтобы на примерах исторических персонажей учить школьников различать качества личности, разбираться в чувствах, поступках и мотивах поведения, оценивать их с позиций коммунистической морали»³⁹.

По нашему мнению, можно выделить две основные причины неточного понимания задач школьного преподавания истории. Первая из них заключается в том, что историография отождествляется только с собственно научной, теоретической историей. Бесспорно, обучение истории призвано «развивать временные представления учащихся, научить их мыслить категориями исторического времени»⁴⁰, а это, в свою очередь, можно осуществить лишь на базе теоретической истории. Но историография, помимо собственно научных форм исторического знания, включает в себя еще и нарративную историю, которая выполняет в культуре как раз функцию транслятора аксиологического опыта предшествующих поколений. И хотя нарративная история явно не соответствует многим канонам научности, на которые ориентирована теоретическая история, культурная и человеческая ее значимость не становится от этого меньшей. Она, конечно, не может дать представления о законах социального развития, но и знания этих законов вовсе еще недостаточно для воспитания полноценной личности. В то же время формирование личности становится весьма проблематичным без использования тех возможностей, которые несет в себе историография нарративного типа.

Что касается второй причины неадекватного истолкования задач и путей обучения истории, то она кроется, по нашему мнению, в одностороннем взгляде на процесс формирования личности и его механизмы. В самом деле, что составляет существо воспитательного процесса? Рассмотрим это конкретнее, применительно в первую очередь к нравственному воспитанию, взятому в контексте педагогической деятельности.

*§ 3. Особенности формирования
нравственной культуры личности.
Воспитание историей*

Воспитание в широком смысле есть процесс включения индивида в культуру⁴¹. Процесс этот всегда многосторонний, а потому и в теоретическом, и в практическом отношении он представляет собой комплексную проблему. Однако здесь есть определенные принципиальные моменты, инвариантные относительно всех возможных воспитательных ситуаций. В частности, подобным образом можно интерпретировать вопрос о роли в воспитательном процессе самого воспитателя. Природа таких феноменов, как воспитание, не позволяет отвлекаться от сугубо личностных характеристик включенных сюда субъектов. А данное обстоятельство, в свою очередь, делает ситуацию весьма специфической и для практики, и для познания. Спрашивается, например, правомочен ли перенос на эту область опыта естествознания и производственно-технической деятельности? Ведь отсюда личностные аспекты, как правило, элиминируются.

Понятно, что во всей многосторонности эта и другие подобные ей проблемы могут быть отражены лишь в серии исследований. Однако ясно в то же время, что любое подобное исследование будет опираться на некоторую методологическую установку, или, другими словами, эвристику, задающую исходное видение проблемы. Анализ и описание такого рода познавательных установок всегда составляли важнейший элемент философского освоения действительности. Мы остановимся только на тех из них, которые имеют непосредственное отношение к интерпретации процессов нравственного воспитания.

Обращение к исходным эвристическим структурам, под углом зрения которых должно рассматриваться воспитание, оправдывается следующими обстоятельствами. Создается впечатление, что мы еще плохо знаем, чему и как учить, когда мы хотим учить нравственности. Является ли этот процесс вообще процессом научения в строгом смысле этого слова? Ведь терминологически мы различаем воспитание и обучение, хотя обоснования этого, как правило, не даем. В целом, как подчеркивается в современной литературе, «до настоящего времени нет ясности в вопросе о том, какие именно комплексы воспитательных средств наиболее эффективны с точки зрения формирования устойчивых нравственных качеств личности»⁴². Вместе с тем существующие разработки проблем нравственного воспитания строятся зачастую

на основе лишь здравого смысла, без методологической рефлексии, что делает сомнительными некоторые конкретные выводы и рекомендации, которые там предлагаются. Например, в учебнике «Педагогика школы» в главе о нравственном воспитании обнаруживаем разделы: «Воспитание нравственных чувств», «Воспитание нравственного сознания», «Воспитание нравственного поведения» учащихся⁴³. Уже сама такая рубрикация выглядит довольно странно. Как будто можно формировать поступки, поведение отдельно от сознания и чувств, и наоборот. Создается впечатление, что процесс нравственного воспитания представляет собой нечто вроде сборки конструкции из готовых деталей на конвейере.

Или другой пример из того же учебника. Говоря о формировании нравственного поведения, авторы дают такую рекомендацию: «Лучшим средством для решения этой задачи является создание учителем разнообразных ситуаций, вызывающих у учащихся разные реакции, борьбу мотивов, противоположные переживания, определенный выбор того или иного действия, поступка. Эти ситуации способствуют осуществлению активной связи между формирующимся сознанием и поведением, а также закреплению нравственных поступков и устранению противоречащих им побуждений»⁴⁴. Здесь имплицитно содержится иное представление о процессе воспитания. Это напоминает не сборку конструкции на конвейере, а работу экспериментатора с подопытными животными, скажем обучение крыс решению задач в лабиринте. Но ведь речь идет не о машине или животном, а о человеке. Всякий подобный опыт, связанный с борьбой мотивов в искусственно созданной ситуации, — часть реальной жизни этого человека. Почему же, вопреки намерениям авторов, в нашей педагогической литературе имеют хождение подобные представления? Причина распространенности подобных представлений в сфере этико-педагогических исследований (как уже выше отмечалось) кроется, видимо, в неразработанности методологического обоснования указанных проблем.

Если попытаться выделить, так сказать, ось всех обсужденных проблем нравственного воспитания, то окажется, что все они так или иначе заключены в рамки антитезы, или оппозиции, один из членов которой — нравственное сознание, а другой — нравственное поведение. «В теории воспитания постоянно дебатировался вопрос: что является изначальным в нравственном воспитании школьника — подготовка его сознания или же организация опыта поведения? Педагогические и психологические исследования показали,

что примолппейность решения этого вопроса не оправдана. Привнесение в нравственное сознание теоретических основ морали, не подкреплённых практической деятельностью, образует вербализм, засилье слова в нравственном воспитании, когда школьник, оперируя относительно точно нравственными понятиями, не руководствуется ими в поступках. И наоборот, без специального влияния на нравственное сознание поступки школьника могут носить случайный, спорадический характер, не обобщаться и не определять системы нравственного поведения. Вот почему мы можем сделать вывод о том, что единство формирования нравственного сознания, нравственного поведения и нравственных чувств школьника требует особого внимания в построении воспитательного процесса»⁴⁵.

Можно ли, однако, согласиться с тем, что главное в нравственном воспитании — это соединение этического знания и нравственного поведения? Причем подобное соединение мыслится в ряде случаев чисто механически, по принципу «и то, и другое». Об этом свидетельствует хотя бы характерное для педагогических руководств различие методов «нравственного просвещения» и метода «создания специальных ситуаций нравственного поведения учащихся»⁴⁶. Более того, считается возможным говорить о нравственном поведении как об особом типе практики, деятельности. А раз такой тип деятельности (нравственной) существует, значит, в ней можно упражняться или тренироваться. Действительно, в учебнике «Педагогика школы» сказано: «Особую роль при этом играют упражнения в нравственных поступках, выполняемые детьми под умелым и тактичным руководством учителя. Смысл подобных упражнений заключается в стимулировании нравственной воли ребят, помогающей им побеждать различные внешние и внутренние препятствия, связанные с выполнением поставленных целей»⁴⁷.

Парадоксально, но здесь налицо забвение старой истины, согласно которой не сам по себе результат, а прежде всего мотив делает тот или иной поступок моральным. Ухаживать за больным дядей — значит как будто поступать вполне нравственно. Вспомним, однако, пушкинскую строфу, с которой начинается «Евгений Онегин».

Ни знание того, как должно поступать, ни «упражнения» в так называемых нравственных поступках не делают еще человека моральным, воспитанным. То и другое образует лишь внешнюю, отнюдь еще не достаточную сторону воспитания. Отсюда и парадокс: поступок, сколь бы внешне благородно он ни выглядел, будет совершенно бесполезным

с точки зрения воспитательного воздействия, если нет морального побуждения. А если оно есть, то придумывать искусственные ситуации бесполезно или даже вредно, ибо моральные отношения — это не игра. Сила морали в однозначности, в авторитете. Морально нужно жить, а не играть в моральные поступки.

Рекомендация организовывать «воспитательные» ситуации вызывает еще одно опасение. У выдающихся педагогов мы находим удачные примеры подобной организации, но они, подобно операциям на сердце, дозволены и удаются очень немногим хирургам и не могут быть рекомендованы в массовом порядке. Дело в том, что создание «воспитательных» ситуаций чревато большими опасностями. Хорошо, если они сконструированы удачно. А если нет? Любая неудача здесь не проходит бесследно. Более того, она неизмеримо больше принесет вреда, чем пользы — удачная. Но если врачу испокон веков внушали в качестве одной из главных норм его профессиональной морали «не вреди», то в учебниках педагогики аналогичным требованиям нужно уделять гораздо больше внимания, чем им уделяется сегодня.

Другими словами, процесс воспитания — процесс необратимый. Его цель — уникальная и целостная личность. Это процесс, который совершается всегда на белом, без черновиков. Объект воспитания таков, что исключает возможность воспроизведения по отношению к нему одних и тех же воспитывающих условий. Не случайно мы, рефлектируя, чаще всего и фиксируем вполне конкретные события в качестве таких, которые «открыли нам глаза», «заставили нас как бы вновь родиться» и т. д. Забвение данного обстоятельства можно, с нашей точки зрения, квалифицировать как сциентизм.

Термин «сциентизм» употребляется в разных смыслах. Наиболее часто он применяется для обозначения представления, что при помощи тех же методов, которые были разработаны в физических науках, можно в конце концов создать точную науку о человеке. Или, по-другому, это предположение, что математизированное естествознание есть наука, по образцу которой должно строиться знание о человеке и обществе. С этой точки зрения естествознание и другие построенные по его типу науки — наиболее эффективный ориентир человека в мире, о какой бы сфере жизни ни шла речь. Примером сциентизма было знаменитое наступление «физиков на лириков». В целом под сциентизмом можно понимать любой неправомерный перенос опыта научно-технической деятельности на гуманитарную культуру или,

точнее, попытку подменить нормы гуманитарной культуры нормами культуры научно-технической.

С этих же позиций следует, по-видимому, расценивать интерпретацию нравственности как особого рода деятельности, в которой нужно упражняться, которая должна давать результаты и т. д. Не случайно в большинстве рассуждений о нравственности и нравственном воспитании говорится о методах, принципах, средствах, навыках, умениях, но очень мало о самом учителе. Воспитание представляется в виде отчужденного от воспитателя процесса, своего рода химической реакции. Действительно, ход реакции никак не связан с чувствами и качествами человека, который реакцию запускает. Поэтому в учебнике инженерной химии, конечно, не будут ничего говорить о характере инженера-химика, о его моральных качествах. Но в учебниках педагогики не говорят об этом нельзя. Однако пишут же: «Учитель создает в коллективе такие условия, которые требуют от учащихся быть нетерпимыми к проявлениям грубости, нечестности, анархизма, нарушениям порядка и т. д. Средством применения других методов, в частности контроля, оценки поведения, соревнования с другими коллективами, достигается возможность закреплять положительный опыт поведения учащихся, изменять характер упражнений, постепенно переходя от простейших (например, упражнения в вежливости) к более сложным и важным (например, упражнения в честности, гуманности и т. п.)»¹⁸.

Насколько можно судить, учитель здесь — нечто среднее между оператором, допустим, доменной печи, игнорным наилучший режим плавки, и тренером, развивающим у своих подопечных прыгучесть, координацию или силу. Суть, однако, в том, что моральные отношения — не особый вид деятельности, а отношение к деятельности, не поступок, как таковой, а то, во имя чего он совершается. Моральность есть специфически человеческий признак деятельности. Это — позиция, которую в ней человек занимает, это — выбор, осуществляемый деятелем. Отсюда следует, что главная фигура воспитательного процесса — сам воспитатель. Иными словами, воспитывают не сама по себе ситуация, не нравственное просвещение, а поступки воспитателя. С. И. Рубинштейн писал: «Как воспитывать? Это значит, прежде всего самому жить настоящей жизнью и включать в нее тех, кого воспитывают, приобщая их к самой жизни. Это значит совершать поступки, которые сами были бы этими человеческими этическими условиями жизни другого человека, а не только создавать вещные материальные условия жизни для

него. Это первый общий путь. Второй путь более специальный: не только своей жизнью, своим поведением, поступками создавать условия жизни других людей, но и производить специальные действия, специальные поступки, предназначенные для того, чтобы воздействовать, специально формировать внутренние условия настоящего, морального, поведения, или своими поступками вызывать ответные поступки, в которых эти внутренние условия формировались бы⁴⁸.

Таким образом, по мнению С. Л. Рубинштейна, не оппозиция «знание — деятельность» составляет главный стержневой элемент нравственного воспитания, а отношение «воспитатель — воспитуемый». Понятно, что этим ни в коей мере не отрицается значение этического знания. Обязанность учителя — развивать моральное сознание ученика, т. е. способность и умение оперировать моральными понятиями и оценками. И здесь большие возможности открывает любой урок, не говоря уже непосредственно об этической теории, где подобные вещи получают детальную разработку и обобщение.

Сказанное не отменяет и другую важнейшую задачу учителя — оптимально организовывать учебный процесс, работу ученического коллектива в соответствии с имеющимися критериями деятельности. Учитель обязан хорошо учить тому, чему должно учить. Все это, однако, необходимо, но недостаточно для формирования личности, нравственных качеств, позиции ученика. Учитель воспитывает тем, что сам занимает четкую моральную позицию по отношению к происходящим событиям, демонстрирует свои собственные моральные оценки. Воспитание — это прямая передача нравственного опыта от учителя к ученику.

Тезис о том, что в качестве основного «средства» воспитания выступает личность самого воспитателя, может показаться тривиальным, само собою разумеющимся. Видимо, такой позиции придерживаются авторы руководств по нравственному воспитанию. Это, однако, приводит к существенному смещению акцентов, представляет данный процесс как нечто безличное, отчуждаемое от воспитателя. Конечно, педагогическая деятельность содержит такие «механизируемые» моменты. Поэтому утверждение, «что школа начинает становиться машиной для учения»⁴⁹, представляется достаточно бесспорным. Вместе с тем здесь есть многое, принципиально «не механизмируемое», и прежде всего нравственное воспитание. С нашей точки зрения, осознание данного факта всегда должно составлять необходимый элемент теории воспитания.

Воспитание представляет собой сугубо личностный процесс. Именно это его основная специфическая черта, отличающая его от всех других аспектов педагогической деятельности. Вместе с тем ошибки в понимании феномена личности приводят к искаженному представлению о процессах ее формирования. В самом деле, чаще всего личность отождествляется с социальной определенностью человека. Типичный пример — следующее определение: «Личность — это исторически конкретный человек в совокупности его социально-психологических качеств, формирующихся и реализующихся в социальной деятельности, осуществляющейся в определенных общественных отношениях»⁵¹.

Когда подобные определения расшифровывают и детализируют, то говорят обычно о таких чертах личности, как сознание и самосознание, индивидуальная неповторимость, целостность духовной жизни, социальные роли и т. д. Налицо, таким образом, тенденция сводить проблему личности к проблеме социальной сущности человека. «Личность, — пишет Л. И. Буева, — специфически социальная характеристика человека, его общественная сущность, выявленная в конкретном мыслящем и чувствующем человеке»⁵².

Такого рода формулировки, с нашей точки зрения, не имеют отношения к личности, поскольку элиминируют то специфическое, всегда интуитивно ощущаемое содержание, которое мы вкладываем в понятие «личность», превращают его в простой синоним социальности. Подобные определения могут бессмысленно, устроить социолога либо психолога, в предмете исследования которых человек выступает как величина статистическая, но они явно неприемлемы для педагога. В педагогической сфере такое понимание личности приводит к тому, что воспитание явно или неявно сводится к тому, что воспринимается просто как раздел обучения. На одних уроках учащийся приобретает навыки решения математических задач определенного типа, на других — «упражняется в гуманизме» и т. п.

Что же такое личность? Все люди, составляющие общество, — социальные существа, носители социального качества и включены в систему общественных отношений. Но одно дело быть включенным в систему общественных отношений, а другое — то, как каждый человек сам в нее включается: работник *A* относится к своей профессии как к скучной повинности, для работника *B* она же источник радости и самоутверждения.

Выполняя социальные функции, реализуя свои права и обязанности, каждый человек еще и относится к ним опре-

целенным образом, по-разному их воспринимает и присваивает. Именно данное проявление социального человека и следует, с нашей точки зрения, рассматривать в качестве содержания понятия «личность». Человек является личностью лишь тогда, когда его поведение и деятельность нельзя охарактеризовать, не употребляя категорий «свобода», «выбор», «ответственность». Соответственно психолог в контексте своего предмета будет определять личность, используя, скажем, представления об «иерархической связи мотивов», «соподчиненности человеческих деятельностей»⁵³ и т. д. Для воспитателя важно, однако, что личность реализует в своей бытии набор определенных ценностных установок, ценностных ориентаций.

Поэтому формирование личности — а оно и составляет существо процесса воспитания — заключается в выработке у нее определенных ценностных ориентаций, предпочтений, определенных установок выбора. Понятно, что как в основе обучения лежит подражание образцам тех или иных деятельностей, носителем которых выступает учитель, так и фундамент воспитания составляют образцы осуществляемых им выборов. Но если обучение конкретным видам деятельности почти безразлично к личностным аспектам самого учителя, то воспитание от личности учителя отчуждено быть не может. Приведем в связи с этим одно замечание Ганса Селье, имеющее, правда, непосредственное отношение к обучению творчеству, «открыванию проблем», а не к воспитанию. «Часто приходится слышать, — пишет он, — что искусству обнаружения проблемы вообще нельзя научить, поскольку оно зависит от врожденного таланта... убеждение, что научить обнаружению проблем нельзя, очевидно, основывается на том факте, что ему нельзя научиться обычным путем, при помощи учебников и традиционных классных занятий. Оно подразумевает тесное каждодневное общение учителя и ученика в процессе работы. Целый ряд подсознательных действий может быть изучен путем следования примеру. Для того чтобы достичь многого в искусстве, также нужно иметь природный талант, мало чему можно научиться из книг и лекций. Однако ученичество у большого художника, безусловно, дает много. То же самое справедливо и в отношении подсознательно управляемой физической деятельности: атлетики, танцев, вождения автомобиля. Даже Эйпштейн, посвятив он всю свою жизнь изучению двигателя автомобиля, не мог бы так уверенно вести машину среди уличного движения, как если бы он несколько дней попрактиковался под руководством простого таксиста»⁵⁴.

Обратимся теперь, с учетом всего сказанного, вновь к историографии, к тому, какова ее роль в воспитании подрастающего поколения и благодаря каким качествам она может способствовать самоопределению личности. Дело, на наш взгляд, вовсе не в том, что историография дает поучительные примеры и сведения нравственного содержания. В основных своих чертах механизм воспитательного воздействия историографии тот же, что и механизм воздействия учителя на ученика. История, точнее, действующие лица исторической драмы демонстрируют образцы выбора в ситуациях, участниками которых как бы становятся те, кто обращается к изучению истории. Существо дела не изменится, если сказать о нем иначе, а именно: происходит приобщение ученика к совокупному нравственному и, шире, аксиологическому опыту человеческого сообщества. Ученик *переживает* этот опыт и тем самым *проживает* его. В этом проживании много общего с восприятием произведений искусства.

По, понятно, и преподавание истории должно добиваться «эффекта присутствия», т. е. эффекта переживания аксиологического опыта прошлого. Достижение этого, конечно, предполагает множество факторов: талант педагога, использование эстетических средств и т. п. Понятно также, что все эти факторы могут бесконечно варьироваться. Однако среди всего множества данных факторов существуют два, отсутствие которых сделает безрезультатными усилия педагога во всех без исключения случаях. (Подчеркнем еще раз: мы говорим здесь о решении воспитательных задач на уроках истории.) Ни при каких обстоятельствах нельзя упускать из виду, что воспитательным действием обладает лишь исторический нарратив и что воспитатель сам должен осознавать прошлое как ценность. Последнее же означает, что «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» для учителя истории не менее обязательна, чем его способность создавать зримые образы исторического прошлого.



ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

- ¹ Фукидид. История. Л., 1981. С. 9.
- ² Монгайт А. Л. Археология Западной Европы: Каменный век. М., 1973. С. 77—78.
- ³ Валинброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 51.
- ⁴ Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 27, 28.
- ⁵ Гуревич А. Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. С. 59—60.
- ⁶ Медушевская О. М. Теоретико-методические проблемы источниковедения и современная буржуазная историография // Тр. Моск. гос. ист.-арх. ин-та. М., 1967. Т. 25. С. 102.
- ⁷ Советская историческая энциклопедия. М., 1966. Т. 9. С. 387.
- ⁸ Лангжуа Ш., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. СПб. 1899. С. 6.
- ⁹ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 7.
- ¹⁰ Лекторский В. А., Шевреа В. С. Методологический анализ науки (типы и уровни) // Философия, методология, наука. М., 1972. С. 9.
- ¹¹ См., например: Никитин Е. П. Природа обоснования: Субстратный анализ. М., 1981. С. 7.
- ¹² Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. М., 1967. Т. IV. С. 181.
- ¹³ Там же. С. 200.
- ¹⁴ Методологические принципы физики: История и современность. М., 1975. С. 14.
- ¹⁵ См.: Щейровицкий Г. П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий // Языковые универсалии и лингвистическая относительность. М., 1969. С. 62—66.
- ¹⁶ Никитин Е. А. Природа обоснования. С. 7.
- ¹⁷ Штофф В. А., Микешина А. А. Формы и методы познания // Филос. науки. 1974. № 5. С. 117.
- ¹⁸ См.: Юдин Б. Г. О соотношении социологического и методологического в анализе научного знания // Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982. С. 31.
- ¹⁹ См.: Ракитов А. И. Философские проблемы науки. М., 1977. С. 141—126.
- ²⁰ Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. IV. С. 200.

- ²¹ Гайденко П. П. Культурно-исторический аспект эволюции науки // Методологические проблемы историко-научных исследований. С. 63.
- ²² Методологические принципы физики. С. 20—24.
- ²³ Там же. С. 22.
- ²⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 727 (далее все ссылки на это издание).
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 6.
- ²⁷ Лооке Э. Н. Современная философия истории. Таллин, 1980. С. 123.
- ²⁸ Акоф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974. С. 11.
- ²⁹ Блок М. Апология истории... С. 7.
- ³⁰ Там же.
- ³¹ Барз М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 27.
- ³² Там же. С. 141.
- ³³ Ракин А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М., 1982. С. 22.
- ³⁴ Бородай Ю. М., Келле В. Ж., Пламяк Е. Г. Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации. М., 1974. С. 16.
- ³⁵ Советская историческая энциклопедия. Т. 9. С. 387.
- ³⁶ Петров М. К. Как создавали науку? // Природа. 1977. № 9. С. 82.
- ³⁷ Лооке Э. Н. Современная философия истории. С. 5.
- ³⁸ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1903. С. 13.
- ³⁹ Петров М. К. Как создавали науку. С. 86.
- ⁴⁰ Лооке Э. Н. Современная философия истории. С. 28.
- ⁴¹ Космичский В. А. Историография средних веков: V в.—середина XIX в. М., 1963. С. 143.
- ⁴² Там же. С. 144.
- ⁴³ Фигте. Основные черты современной эпохи. Сиб., 1906. С. 126.
- ⁴⁴ Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959. С. 29.

ГЛАВА I

- ¹ Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 28.
- ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 126.
- ³ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1913. Вып. 2. С. 367.
- ⁴ Дачилов В. П., Якубовская С. И. Источниковедение и изучение истории советского общества // Вопр. истории. 1961. № 5. С. 5—6.
- ⁵ Межуцкая О. М. Некоторые проблемы методологии истории в современной французской историографии // Вопр. философии. 1965. № 1. С. 111.
- ⁶ Тиломиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1940. Т. 1. С. 6.
- ⁷ Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 6. С. 591.

- ⁶ *Das Fischer Lexikon. Geschichte.* Frankfurt a/M; Hamburg; 1961. S. 269—270.
- ⁷ *Ицуцкий В. К.* К вопросу о классификации письменных источников в курсе источниковедения истории СССР // Тр. Моск. гос. ист.-арх. ин-та. 1958. Т. 41. С. 135.
- ⁸ *Гулыга А. В.* История как наука // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 13.
- ⁹ См.: *Советская историческая энциклопедия.* Т. 6. С. 592.
- ¹⁰ См.: *Стрельский В. И.* Источниковедение истории СССР: Период империализма, конец XIX в. — 1917. М., 1962. С. 23—24; *Льблинская А. Д.* Источниковедение истории средних веков. Л., 1935. С. 10.
- ¹¹ См.: *Советская историческая энциклопедия.* Т. 6. С. 592; *Каштанов С. М., Курносоев А. А.* Некоторые вопросы теории источниковедения // Ист. архив. 1962. № 4. С. 177.
- ¹² См.: *Громико М. М.* О «посредственных» и «косвенных» исторических источниках // Изв. Сиб. отд. АН СССР. 1968. № 6. Сер. обществ. наук. Вып. 2.
- ¹³ См.: *Данилов В. П., Якубовская С. М.* Источниковедение... С. 7; *Макаров М. К.* К вопросу о терминологии в источниковедении истории СССР // Тр. Моск. гос. ист.-арх. ин-та. 1963. Т. 17. С. 8.
- ¹⁴ Цит. по: *Das Fischer Lexikon: Geschichte.* S. 273—274.
- ¹⁵ *Тихомирова М. Н.* Источниковедение... С. 7.
- ¹⁶ См., например: *Розов М. А., Розова С. С.* О закономерностях формирования науки // Проблемы методологии научного познания. Новосибирск, 1968.
- ¹⁷ См.: *Рыбников.* Язык ребенка. М., 1926.
- ¹⁸ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 42. С. 289.
- ¹⁹ См.: *Хаслахиц Ф. И.* Материя и сознание. М., 1952. С. 97.
- ²⁰ *Платон.* Соч.: В 3-х т. М., 1968. Т. 1. С. 160—167.
- ²¹ См.: *Розов М. А., Розова С. С.* О закономерностях формирования науки.
- ²² *Приселков М. Д.* Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.: Л., 1950.
- ²³ *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1953.
- ²⁴ *Бернгейм Э.* Введение в историческую науку. М., 1908. С. 34.
- ²⁵ *Баршавчик М. А.* Вопросы логики исторического исследования и исторический источник // Вопр. истории. 1968. № 10. С. 84.
- ²⁶ *Ицуцкий В. К.* К вопросу о классификации письменных исторических источников... С. 134.
- ²⁷ *Французова Н. П.* Исторический метод в научном познании. М., 1972. С. 152—153.
- ²⁸ *Каштанов С. М., Курносоев А. А.* Некоторые вопросы теории источниковедения. С. 175.
- ²⁹ *Медушевская О. М.* Польский источниковедческий ежегодник (1957—1971) // Вопр. истории. 1972. № 2. С. 189.
- ³⁰ *Бахрушин С. В.* Науч. труды. М., 1954. Т. 2. С. 69.
- ³¹ *Косминский Е. А.* Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963. С. 124.
- ³² *Колчин Б. А.* Археология и естественные науки // Археология и естественные науки. М., 1965. С. 10.
- ³³ *Блаватский В. Д.* Античная полевая археология. М. 1967. С. 205.
- ³⁴ *Авдусин Д. А.* Полевая археология СССР. М., 1972. С. 3.
- ³⁵ *Макаров М. Е.* К вопросу о терминологии в источниковедении... С. 5.

- ³⁸ См.: *Быковский С. Н.* Методика исторического исследования. Л., 1984. С. 157—160.
- ³⁹ См.: *Фарсоби В. В.* К определению предмета источниковедения: Историкографические заметки // Источниковедение истории советского общества. М., 1968. Вып. 2. С. 422—433.
- ⁴⁰ *Силаштырева Л. Ф.* Некрополь Нимфея // Некрополи беспорядочных городов: Материалы и исследования по археологии СССР.— М.; Л., 1956. № 69. С. 20—24.
- ⁴¹ *Захарук Ю. Н.* О методологии археологической науки и ее проблемах // Сов. археология, 1969. № 3. С. 12.
- ⁴² *Чайда Г.* Прогресс и археология. М., 1949. С. 18.
- ⁴³ *Авдусин Д. А.* Археология СССР. М., 1967. С. 9.
- ⁴⁴ *Обермайер Г.* Доисторический человек. СПб., 1913. С. 246—251.
- ⁴⁵ *Городцов В. А.* Археология. М.; Пг., 1923. С. 20.
- ⁴⁶ *Авдусин Д. А.* Археология СССР. С. 36.
- ⁴⁷ *Люблинская А. Д.* Латинская палеография. М., 1969. С. 113—114.
- ⁴⁸ Цит. по: *Дикшит С. К.* Введение в археологию. М., 1960. С. 63.
- ⁴⁹ *Городцов В. А.* Археология. С. 16.
- ⁵⁰ *Смирнов К. Ф.* Савроматы. М., 1964. С. 163.
- ⁵¹ *Лившиц И. Г.* Дешифровка египетских иероглифов Шампольоном // Шампольон Ж. Ф. О египетском иероглифическом алфавите. М., 1950. С. 411.
- ⁵² *Шампольон Ж. Ф.* О египетском иероглифическом алфавите. С. 13—14.
- ⁵³ *Подкорытов Г. А.* Историзм как метод научного познания. Л., 1967. С. 13.
- ⁵⁴ *Штоф В. А.* Введение в методологию научного познания. Л., 1972. С. 87.
- ⁵⁵ *Мостепаненко М. В.* Философия и методы научного познания. Л., 1972. С. 93.
- ⁵⁶ *Жданов Г. Б.* Эксперимент и теория в современном естествознании: Физические науки // Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М., 1968. С. 120.
- ⁵⁷ *Ветров А. А.* Семантика и ее основные проблемы. М., 1968. С. 22.
- ⁵⁸ *Тихомиров М. Н.* Источниковедение... С. 6—7.
- ⁵⁹ *Рубинштейн П. А.* Русская историография. М., 1941. С. 34—35.
- ⁶⁰ См.: *Медушевская О. М.* Развитие теории советского источниковедения // Тр. Моск. гос. ист.-арх. ин-та. 1958. Т. 24. С. 45; *Иванов Г. М.* К вопросу о своеобразии исторического познания // Методологические и историографические проблемы исторической науки. Томск, 1963. Вып. 1. С. 17.
- ⁶¹ См. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 44.
- ⁶² *Анципетров А. А., Розов М. А.* К методологии анализа моделирования // Тр. Новосиб. гос. пед. ин-та. 1971. Вып. 68. С. 82—83.
- ⁶³ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 544.
- ⁶⁴ См. *Горский Д. П.* Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961; *Бирюков В.* Идеализация // Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2; *Субботин А. Л.* Идеализация как средство научного познания // Проблемы логики научного познания. М., 1964.

ГЛАВА II

- ¹ Коплин П. В. Логика научного познания // *Вопр. философии*. 1966. № 10. С. 38.
- ² *Логика научного исследования*. М., 1965. С. 290.
- ³ *Проблемы истории докапиталистических обществ*. М., 1968. Кн. 1. С. 7.
- ⁴ Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.; Л., 1947. С. 41.
- ⁵ Там же.
- ⁶ Томсон Д. *Дух науки*. М., 1970. С. 12.
- ⁷ Бройль Л. де. *По тропам науки*. М., 1962. С. 291.
- ⁸ Фейнман Р. *Характер физических законов*. М., 1968. С. 84.
- ⁹ Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М., 1965. Вып. 1. С. 34.
- ¹⁰ Новик И. Б., Уемов А. И. Моделирование и аналогия // *Материалистическая диалектика и методы естественных наук*. М., 1968. С. 278—279.
- ¹¹ Платон. *Соч.*: В 3-х т. М., 1972. Т. 3. Ч. 2. С. 318.
- ¹² Желепина И. А. Об объективности исторического знания: Критический анализ некоторых современных концепций // *Вестн. МГУ. Сер. Философия*. 1969. № 2. С. 51.
- ¹³ См.: Ленин В. И. *Полн. собр. соч.* Т. 18. С. 202—214.
- ¹⁴ Ильенков Э. Идеальное // *Философская энциклопедия*. М., 1962. Т. 2. С. 225.
- ¹⁵ Штофф В. А. Введение в методологию научного познания. Л., 1972. С. 63.
- ¹⁶ *Наука и нравственность*. М., 1971. С. 129.
- ¹⁷ Там же. С. 128—129.
- ¹⁸ Авдусин Д. А. *Археология СССР*. М., 1967. С. 51.
- ¹⁹ Голстов С. А. *Древний Хорезм*. М., 1948. С. 62.
- ²⁰ Ковалевский М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880. С. 14.
- ²¹ Цит. по: Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования. М., 1970. С. 25.
- ²² Новик И. Б., Уемов А. И. Моделирование и аналогия. С. 279.
- ²³ Розов М. А. О методологических аспектах исследования познания // *Материалы межвузовской научной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. Философия и научный коммунизм*. Томск, 1972. Вып. 2.
- ²⁴ Дикшит С. К. Введение в археологию. М., 1960. С. 68.
- ²⁵ Гладких М. И., Корнеев Н. Л., Соффер О. Жилыща из костей мамонта на Русской равнине // *В мире науки*. 1985. № 1. С. 68.
- ²⁶ См.: Фарсоби В. В. К определению предмета источниковедения: Историкографические заметки // *Источниковедение истории советского общества*. М., 1968. Вып. 2. С. 434—440.
- ²⁷ Зайцева М. И. Анкета как инструмент конкретно-социологического исследования // *Социальные исследования: Теория и методы*. М., 1970. Вып. 5. С. 268.
- ²⁸ См., например: Гопольский Е. О роли внеисточниковедческого знания в историческом исследовании // *Вопр. философии*. 1973. № 5.

ГЛАВА III

- ¹ Равитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М., 1982. С. 131.
- ² Там же.

- ³ Кон И. С. К спорам о логике исторического объяснения // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 271; см. также: Гемпель К. Мотивы и «охватывающие законы» в историческом объяснении // Философия и методология истории. М., 1977.
- ⁴ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. 3. С. 554.
- ⁵ Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. С. 41.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Чехов А. И. Соч.: В 18-ти т. М., 1983. Т. 3. С. 412.
- ⁸ Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 44.
- ⁹ Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 11—12.
- ¹⁰ Там же. С. 12.
- ¹¹ Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 44.
- ¹² Гегель. Соч. М., 1937. Т. 5. С. 2.
- ¹³ Грушин Б. А. Очерки логики исторического исследования. М., 1964. С. 13.
- ¹⁴ Гулыга А. В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. С. 43.
- ¹⁵ Рахитов А. И. Историческое познание. С. 174.
- ¹⁶ Городцов В. А. Археология. С. 76.
- ¹⁷ Там же. С. 77—79.
- ¹⁸ Там же. С. 76—77.
- ¹⁹ Обермайер Г. Доисторический человек. Сиб., 1913.
- ²⁰ Гулыга А. В. Эстетика истории. М., 1974. С. 66.
- ²¹ Там же. С. 65.
- ²² Лооне Э. Н. Об уровнях исторического знания и познания // Учен. зап. Тарт. ун-та: Тр. по филос. 1973. Вып. 301. С. 34.
- ²³ Симпсон Дж. Великолепная изоляция: История многоклеточных Южной Америки. М., 1983. С. 242—243.
- ²⁴ Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 285.
- ²⁵ См., например: Фейнберг Е. Ж. Кибернетика, логика, искусство. М., 1981. С. 78.
- ²⁶ Гулыга А. Искусство истории. М., 1980. С. 159.
- ²⁷ Лооне Э. Н. Современная философия истории. Таллин, 1980. С. 49.
- ²⁸ Норк А. А. Нарратив как проблема методологии исторической науки // Учен. зап. Тарт. ун-та: Тр. по филос. 1975. Вып. 361. С. 154.
- ²⁹ См.: Лооне Э. Н. Современная философия истории. С. 50.
- ³⁰ Норк А. А. Проблема нарратива в англо-американской буржуазной методологии истории: Автореф. канд. дис. Вильнюс, 1976. С. 10.
- ³¹ Там же. С. 14.
- ³² Сестан Э. История событий и история структур // Доклады на XIII Международном конгрессе исторических наук. М., 1970.
- ³³ Вройль Н. де. По тропам науки. М., 1962.
- ³⁴ Веселовский С. В. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 217—218.
- ³⁵ Гегель. Соч. М.; Л., 1935. Т. 8. С. 6.
- ³⁶ См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1959. Кн. 1. С. 55—59; Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. 7. С. 126—144; Покровский М. И. Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933. Вып. 1. С. 106.
- ³⁷ Ключевский В. О. Соч. Т. 7. С. 138.
- ³⁸ Пресняков А. Е. С. М. Соловьев в его влиянии на развитие русской историографии: Речь на публичном заседании Союза архив-

ных деятелей в память С. М. Соловьёва 4 июня 1920 г. [Б. м. Б. г.] С. 82.

³⁹ Ленин В. И. Поэзи. собр. соч. Т. 1. С. 137.

⁴⁰ Соколова М. И. Современная французская историография. М., 1979. С. 300—301.

⁴¹ Бродель Ф. История и общественные науки: Историческая длительность // Философия и методология истории. С. 115.

⁴² Там же. С. 141—142.

⁴³ Швейер В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978. С. 252.

⁴⁴ Бородай Ю. М., Келле В. Ж., Плимак Е. Г. Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации. М., 1974. С. 73.

⁴⁵ Там же. С. 15.

⁴⁶ Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.; Л., 1947. С. 40.

⁴⁷ Иванов Г. М., Корицунов А. М., Петров Ю. В. Методологические проблемы исторического познания. М., 1981. С. 200.

⁴⁸ Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории... С. 40.

⁴⁹ Гуревич А. Л. Что такое исторический факт? // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 59.

⁵⁰ Гулыга А. В. История как наука. С. 14.

⁵¹ Иванов Г. М. К вопросу о понятии «факт» в исторической науке // Вопр. истории. 1969. № 2. С. 79.

⁵² Кареев П. Историка: Теория исторического знания. СПб., 1916. С. 96.

⁵³ Косолапов В. В. Фактическое знание как основание теории социального процесса // Социальное исследование: Теория и методы. М., 1970. Вып. 5. С. 163.

⁵⁴ Там же. С. 164.

⁵⁵ Барз М. А. Исторический факт: Структура, форма, содержание // История СССР. 1976. № 6. С. 54.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 43.

⁵⁸ Варшавчик М. А. Вопросы логики исторического исследования и исторический источник // Вопр. истории. 1968. № 10. С. 80.

ГЛАВА IV

¹ Чехов А. П. Соч.: В 18-ти т. М., 1986. Т. 8. С. 309.

² Теория познания и современная физика. М., 1984. С. 240.

³ Там же. С. 249.

⁴ Там же. С. 218.

⁵ Цит. по: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. М., 1910. С. 372.

⁶ Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 20—21.

⁷ Косминский Е. А. Историография средних веков: V в. — середина XIX в. М., 1963. С. 49.

⁸ Лизачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII веков. Л., 1983. С. 353—354.

⁹ Философия и методология истории. М., 1977. С. 13.

¹⁰ Есипчук Н. М. Историческая реальность как предмет познания. Киев, 1978. С. 69—70.

¹¹ Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Л., 1976. С. 59—60.

- ¹² Подкорытов Г. А. Кризис буржуазных концепций историзма // Вестн. Ленинград. ун-та. 1984. № 23. С. 43.
- ¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 102.
- ¹⁴ См.: Новые направления в социологической теории. М., 1978. С. 41.
- ¹⁵ Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков, 1899. С. 20.
- ¹⁶ Методология этических исследований. М., 1982. С. 20.
- ¹⁷ Семенов Е. В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. Новосибирск, 1983. С. 88.
- ¹⁸ Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история: Проблемы теории исторического процесса. М., 1981. С. 284.
- ¹⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 138.
- ²⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 18.

ГЛАВА V

- ¹ Бахтин М. М. Проблема текста // Вопр. литературы. 1976. № 40. С. 128.
- ² Фрумкина Р. М. Соотношение точных методов и гуманитарного подхода: Лингвистика, психология, психолингвистика // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. 1978. Т. 37, № 4. С. 331—332.
- ³ Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С. 323.
- ⁴ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Спб., 1913. С. 12.
- ⁵ Там же. С. 26.
- ⁶ Риккерт Г. Философия истории. Спб., 1908. С. 20.
- ⁷ Там же. С. 19.
- ⁸ Там же. С. 15.
- ⁹ Там же. С. 72.
- ¹⁰ См.: Плетанов Г. В. О книге В. Винадельбанды; О книге Г. Риккерта // Избр. филос. произведения: В 5-ти т. М., 1957. Т. 3.
- ¹¹ Малиновский В. Научная теория культуры (фрагменты) // Вопр. философии. 1983. № 2. С. 117.
- ¹² Соколов Э. В. Культура и личность. Л., 1972. С. 40.
- ¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 153.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 134.
- ¹⁶ Мифы и предания папуасов марианд-аним. М., 1981. С. 313.
- ¹⁷ Автономова Н. С. К вопросу о специфике гуманитарного знания // Проблемы методологии: Социально-гуманитарное познание и особенности его методологии. М., 1984. С. 45.
- ¹⁸ Манфред А. Э. Наполсон Бонапарт. М., 1972. С. 80.
- ¹⁹ Цит. по: Шило Н. А. и др. Киргидяхский мамонт: Палеографический аспект. М., 1983. С. 169, 155.
- ²⁰ Маркarian Э. С. Принципы исследования истории культуры как системы // Изучение истории культуры как системы. Новосибирск, 1983. С. 6.
- ²¹ Маркarian Э. С. Вопросы системного рассмотрения культуры и человеческой деятельности // Исторический материализм как теория социального познания и деятельности. М., 1972.
- ²² Соколов Э. В. Культура и личность. С. 4.
- ²³ Там же. С. 40.
- ²⁴ Dilthey W. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924. Bd V. S. 144.
- ²⁵ Ильин В. О. О специфике гуманитарного знания // Вопр. философии. 1985. № 7. С. 50.
- ²⁶ Там же. С. 51.

- ²⁷ См.: *Coreth E.* Grundfragen der Hermeneutik: Ein philosophischer Beitrag. Freiburg v. a., 1969. S. 7.
- ²⁸ *Гайденко П. П.* Философская герменевтика и ее проблематика // Природа философского знания. М., 1975. Ч. 1. С. 140.
- ²⁹ *Betti E.* Problematik einer allgemeinen Auslegungslehre als Methode der Geisteswissenschaften // Hermeneutik als Weg heutiger Wissenschaft. Salzburg, 1971. S. 17.
- ³⁰ Ibid. S. 17—21.
- ³¹ *Dilthey W.* Leben Schleiermachers. Berlin, 1870. Bd. 1. S. 333.
- ³² *Heidegger M.* Sein und Zeit. Tübingen, 1960. S. 133.
- ³³ См.: *Gadamer H.-G.* Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1960.
- ³⁴ *Coreth E.* Grundfragen der Hermeneutik. S. 60.
- ³⁵ Ibid. S. 59.
- ³⁶ Ibid. .
- ³⁷ Ibid. S. 60.
- ³⁸ Ibid. S. 64—69.
- ³⁹ Ibid. S. 72—93.
- ⁴⁰ Ibid. S. 119.
- ⁴¹ Ibid. S. 130.
- ⁴² Ibid. S. 132.
- ⁴³ Ibid. S. 137—138.
- ⁴⁴ Ibid. S. 147.
- ⁴⁵ *Бахтин М. М.* Проблема текста. С. 135.
- ⁴⁶ Там же.
- ⁴⁷ Там же.
- ⁴⁸ *Бахтин М. М.* К методологии литературоведения // Контекст: 1974. М., 1975. С. 206.
- ⁴⁹ *Алексеев И. С.* Рефлексия и понимание в науке и философии // Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983. С. 42.
- ⁵⁰ *Земляной С. П.* Герменевтика и проблема понимания // Проблемы и противоречия буржуазной философии 60—70-х годов XX века. М., 1983. С. 250.
- ⁵¹ Цит. по: *Проблема объекта в современной науке* // Ин-т философии АН СССР/Реф. сб. 1980. С. 50—51.
- ⁵² *Методология этических исследований.* М., 1982. С. 49.
- ⁵³ *Бахтин Л. М.* Итальянские гуманисты: Стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. С. 4.
- ⁵⁴ См.: *Проблема объекта в современной науке.* С. 54.
- ⁵⁵ *Коллингвуд Р. Дж.* Идеи истории: Автобиография. М., 1980. С. 289.
- ⁵⁶ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 555.

ГЛАВА VI

- ¹ *Эйдельман Н. Я.* Герои против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII—XIX вв. и Вольная печать. М., 1984. С. 50.
- ² *Видал Г. Борр* // Иностран. лит. 1977. № 10. С. 169.
- ³ Лит. газ. 1977. 22 июня. С. 6.
- ⁴ *Чудакова В.* Ратное счастье // Звезда. 1977. № 11. С. 15.
- ⁵ *Аристотель.* Поэтика // Соч.: В 4-х т. М., 1984. Т. 4. С. 655.
- ⁶ Сов. Россия. 1981. 1 нояб.
- ⁷ *История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера.* Л., 1978. С. 13.

- ⁸ Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1882. Т. 1. С. IX.
- ⁹ Гегель. Соч. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 7--8.
- ¹⁰ Лангелла Ш., Сельовос Ш. Введение в изучение истории. Спб., 1899. С. 252--253.
- ¹¹ Денис В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 281.
- ¹² Там же. Т. 37. С. 492.
- ¹³ Там же. Т. 30. С. 282.
- ¹⁴ Там же. Т. 36. С. 31.
- ¹⁵ Там же. Т. 35. С. 419.
- ¹⁶ Гегель. Соч. Т. VIII. С. 30.
- ¹⁷ Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М., 1982. С. 62--63.
- ¹⁸ Там же. С. 44.
- ¹⁹ Там же. С. 47.
- ²⁰ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 33.
- ²¹ Там же.
- ²² Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. II. С. 546.
- ²³ Цит. по: Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. М., 1950. Т. 2. С. 26.
- ²⁴ Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. Т. 2. С. 26.
- ²⁵ Цит. по: Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. Т. 2. С. 26.
- ²⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 645.
- ²⁷ Там же. С. 380.
- ²⁸ Там же. С. 373.
- ²⁹ Там же. Т. II. С. 374.
- ³⁰ Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч. Т. 2. С. 26.
- ³¹ Там же. С. 34.
- ³² Там же.
- ³³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. X. С. 735.
- ³⁴ Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 191.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Флейшман Дж. Х. Генетическая психология Жака Пиаже. М., 1967. С. 385.
- ³⁷ Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 95.
- ³⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 328.
- ³⁹ Американская социология. М., 1972. С. 267.
- ⁴⁰ Лосев А. История философии как школа мысли // Коммунист. 1981. № 11. С. 59--60.
- ⁴¹ Копнин П. В. Логические основы науки. Киев, 1969. С. 192.
- ⁴² Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 29.
- ⁴³ Лой А. Н., Шинкарук Е. В. Время как категория социально-исторического бытия // Вопр. философии. 1979. № 12. С. 73.
- ⁴⁴ Там же. С. 86.
- ⁴⁵ Агапов Б. Н. Шесть загранич. М., 1980. С. 103--104.
- ⁴⁶ Здоровье. 1979. № 1. С. 18.
- ⁴⁷ Конрад Н. И. О смысле истории // Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. С. 446.
- ⁴⁸ См.: Бутинов Н. А. Лепи-Стросс — этнограф и философ // Структурная антропология. М., 1983. С. 449--450.
- ⁴⁹ См.: Topolski I. Świat bez historii. Warszawa, 1976. S. 171--172.
- ⁵⁰ Федоров П. Ф. Соч. М., 1982.

⁵¹ Федорова Н. Ф. *Философия общего дела // Вечное солнце: Русская социальная утопия и научная фантастика второй половины XIX — начала XX века.* М., 1979. С. 394.

⁵² Там же. С. 398.

⁵³ Там же. С. 394.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Федорова Н. Ф. «Фауст» Гете и народная легенда о Фаусте // *Контекст: 1975.* М., 1977. С. 323.

⁵⁶ Федорова Н. Ф. *Философия общего дела.* С. 396.

⁵⁷ *Контекст: 1975.* С. 313.

⁵⁸ *Философия общего дела: Статьи, мысли и письма Н. Ф. Федорова* / Под ред. В. А. Кожевникова и Н. И. Петерсона. М., 1913. Т. 2. С. 190.

⁵⁹ Лит. учеба, 1979. № 3. С. 153.

⁶⁰ *Философия общего дела...* С. 143.

⁶¹ Там же. С. 212.

⁶² Там же.

⁶³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 27. С. 402.

⁶⁴ Кессиди Ф. Х. *От мифа к логосу.* М., 1972. С. 216.

⁶⁵ *Философия общего дела...* С. 57.

⁶⁶ Там же. С. 392—393, 397.

⁶⁷ Там же. С. 393.

⁶⁸ Там же. С. 214.

⁶⁹ Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре XX века // *Ритм, пространство и время в искусстве и литературе.* Л., 1974. С. 54.

⁷⁰ *Философия общего дела...* С. 213.

ГЛАВА VII

¹ См.: Гукковский А. И. О некоторых терминах вспомогательных исторических дисциплин // *Вопр. истории.* 1965. № 10. С. 63; Шмидт С. О. *Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы.* М., 1969. С. 22—27; Фарсоби В. В. К определению предмета источниковедения: *Историкографические заметки // Источниковедение истории советского общества.* М., 1968. Вып. 2.

² Шмидт С. О. *Современные проблемы источниковедения.* С. 22—23.

³ См.: Титомиров М. Н. Об охране и изучении письменных богатств нашей страны // *Вопр. истории.* 1961. № 4. С. 66—67.

⁴ Люблинская А. Д. *Источниковедение истории средних веков.* Л., 1955. С. 5.

⁵ *Источниковедение истории СССР XIX — начала XX в.* М., 1970. С. 4.

⁶ Проциштейн А. П. *Использование вспомогательных дисциплин при работе над историческими источниками.* М., 1972. С. 5.

⁷ Цит. по: Шмидт С. О. *Современные проблемы источниковедения.* С. 14.

⁸ Варшавчик М. А. *Предмет и задачи источниковедения истории КПСС.* М., 1967. С. 24.

⁹ Шмидт С. О. *Современные проблемы...* С. 20.

¹⁰ Там же. С. 18.

¹¹ Там же. С. 15—16.

¹² Кедров В. М. *Философия как общая наука в ее соотношении с частными науками // Философия в современном мире.* М., 1972. С. 386.

- ¹³ *Давыдов В. В.* Виды обобщения в обучении. М., 1972. С. 95.
- ¹⁴ *Бернал Дж.* Наука в истории общества. М., 1956. С. 26.
- ¹⁵ *Конт О.* Курс положительной философии. Спб., 1900. Т. 1. С. 28.
- ¹⁶ *Кедров В. М.* Предмет и взаимосвязь естественных наук. М., 1962. С. 14.
- ¹⁷ *Леднев В. С.* Содержание общего среднего образования: Проблемы структуры. М., 1980. С. 135.
- ¹⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 189.
- ¹⁹ *Каган М. С.* Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 257.
- ²⁰ *Будыко М. И.* Человек и биосфера // *Вопр. философии.* 1973. № 1. С. 65.
- ²¹ См.: *Розов М. А.* Научная абстракция и ее виды. Новосибирск, 1965. С. 114.
- ²² *Саймон Г.* Науки об искусственном. М., 1972. С. 70.
- ²³ См.: *Сычева Л. С.* Современные процессы формирования наук: Опыт эмпирического исследования. Новосибирск, 1984. С. 131.
- ²⁴ *Геродот.* История в девяти книгах. Л., 1972. С. 11.
- ²⁵ *Выгодский М. Я.* Арифметика и алгебра в древнем мире. М., 1967. С. 11.
- ²⁶ *Нейгабауер О.* Точные науки в древности. М., 1968. С. 84.
- ²⁷ *Гегель.* Соч. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 3.
- ²⁸ *Геродот.* История... С. 12.
- ²⁹ *Косминский Е. А.* Историкография средних веков: V в. — середина XIX в. М., 1963. С. 32.
- ³⁰ Там же. С. 34.
- ³¹ *Рубинштейн Н. А.* Русская историкография. М., 1941. С. 47.
- ³² *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1961. Кн. VII. С. 146.
- ³³ См.: *Косминский Е. А.* Историкография средних веков... С. 14, 56, 68, 87 и др.
- ³⁴ *Леббок Дж.* Доисторические времена, или Первобытная эпоха человечества, представленная на основании изучения нравов и обычаев современных дикарей. М., 1878. С. 2.
- ³⁵ См.: *Жизнь науки: Антология вступлений к классике естествознания.* М., 1973. С. 581.
- ³⁶ *Иичета В. И.* Введение в русскую историю. М., 1923. С. 7.
- ³⁷ *Пронштейн А. И.* Методика исторического исследования. Ростов н/Д, 1971. С. 245.
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ *Маликов М. Ф.* Основы метрологии. М., 1949. Ч. 1. С. 3.
- ⁴⁰ Цит. по: *Зотов А. Ф.* Проблема классификации наук у А. Ампера // *Ученые о науке и ее развитии.* М., 1971. С. 48.
- ⁴¹ *Вайнштейн О. Л.* Марксизм-ленинизм об историческом факте // В. И. Ленин и проблемы истории. Л., 1970. С. 17.
- ⁴² *Дорошенко В. В.* Вспомогательные исторические дисциплины на новом этапе // *Археографический ежегодник за 1969 год.* М., 1971. С. 205.
- ⁴³ *Фарсобиц В. В.* Отечественная историкография о предмете и задачах источниковедения: Автореф. канд. дис. М., 1969.
- ⁴⁴ *Супераиская А. В.* Общая теория имени собственного. М., 1973. С. 7.
- ⁴⁵ *Шмидт С. О.* Современные проблемы источниковедения. С. 25.

⁴⁶ См.: *Розов М. А., Розова С. С.* Один из аспектов системного представления науки // Системный метод и современная наука. Новосибирск, 1972. Вып. 2. С. 131.

⁴⁷ *Розов М. А.* Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Новосибирск, 1977. С. 76.

ГЛАВА VIII

¹ *Утченко С. Л.* Глазами историка. М., 1966. С. 228.

² *История и социология.* М., 1964. С. 130.

³ *Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий. Спб., 1903. С. 225.

⁴ *Моно Г.* История // Метод в науках. Спб., 1911. С. 267.

⁵ *Ярибаджанов Н.* Ключ перед судом буржуазной философии. М., 1972. С. 204.

⁶ *Барт П.* Философия истории как социология. Спб., 1902. С. VI.

⁷ *Зиммель Г.* Проблемы философии истории. М., 1898. С. 2.

⁸ *Плеханов Г. В.* Избр. филос. произведений: В 5-ти т. М., 1956. Т. 3. С. 515.

⁹ *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 17.

¹⁰ *Козин Н. Г.* Познание и историческая наука: Эмпирический и теоретический уровни знания и познания и историческая наука. Саратов, 1980. С. 60.

¹¹ *Макьявелли Н.* История Флоренции. Л., 1973. С. 9.

¹² *Косминский Е. А.* Историкография средних веков: V в.—середины XIX в. М., 1963. С. 183.

¹³ Цит. по: *Рубинштейн Н. А.* Русская историкография. М., 1941. С. 38.

¹⁴ *Рубинштейн Н. А.* Русская историкография. С. 9.

¹⁵ *Гегель.* Соч. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 4.

¹⁶ См.: *Шахматов А. А.* Рассуждения о древнейших русских летописных сводах. Спб., 1908.

¹⁷ *Ranke L. von.* Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514: Sämtliche Werke. Gesamtausgabe. Leipzig, 1889. Bd 33. S. VII.

¹⁸ *Аристотель.* Метафизика. М.; Л., 1934. С. 162.

¹⁹ См.: *Смоленский Н. И.* Леопольд фон Ранке: Методология и методика исторического исследования // Методологические и историкографические вопросы исторической науки. Томск, 1966. Вып. 4.

²⁰ *Данилов А. И.* Проблема континуитета в историкографии ФРГ // Вопр. истории. 1981. № 3. С. 76.

²¹ *Челидзе Л. П.* Что такое история? Тбилиси, 1978. С. 22—23.

²² *Видаль Г. Бэрр* // Иностран. лит-ра. 1977. № 10. С. 169.

²³ Подробнее см.: *Антипов Г. А.* Гегелизм научных форм гуманитарного познания и его особенности // Проблемы гуманитарного познания. Новосибирск, 1986. С. 24—26.

²⁴ *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М., 1985. С. 291.

²⁵ См.: *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч.: В 6-ти т. М., 1964. Т. 3.

²⁶ *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. С. 288—289.

²⁷ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 13. С. 7.

²⁸ *Лавин Н. И.* Проблемы формирования и развития марксизма как цельного учения // Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник. 1983. М., 1983. С. 22—23.

- ²⁹ *Кан Н. С.* История и социология: О некоторых проблемах современной буржуазной социологии // *Вопр. философии*. 1970. № 8. С. 79.
- ³⁰ *Лернер И. Я.* Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории: Пособие для учителей. М., 1982. С. 37.
- ³¹ Там же.
- ³² *Методика обучения истории в средней школе*. М., 1978. Ч. 1. С. 48—49.
- ³³ См.: *Вагин А. А.* Методика обучения истории в школе. М., 1972. С. 4.
- ³⁴ *Методика обучения истории в средней школе*. Ч. 1. С. 60.
- ³⁵ Там же. С. 83.
- ³⁶ Там же. С. 52.
- ³⁷ *Материалы встречи социологов: II. Ценностные ориентации личности и массовая коммуникация*. Клярыку. Гарту, 1968. С. 38.
- ³⁸ *Методика обучения истории в средней школе*. Ч. 1. С. 53.
- ³⁹ *Донской Г. М.* Нравственное воспитание в обучении истории средних веков в 6 классе. М., 1986. С. 7, 11.
- ⁴⁰ *Вагин А. А.* Методика обучения истории... С. 17.
- ⁴¹ См.: *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. М., 1972. С. 401—428; *Соколов Э. В.* Культура и личность. Л., 1972. С. 207—219 и др.
- ⁴² *Крутов Н. Н.* Мораль в действии. М., 1977. С. 219.
- ⁴³ *Педагогика школы*/Под ред. И. Т. Огородникова. М., 1973. С. 154—160.
- ⁴⁴ Там же. С. 161.
- ⁴⁵ *Педагогика школы*/Под ред. Г. И. Щукпиной. М., 1977. С. 105—106.
- ⁴⁶ Там же. С. 114—115.
- ⁴⁷ *Педагогика школы*/Под ред. И. Т. Огородникова. С. 161.
- ⁴⁸ Там же. С. 134.
- ⁴⁹ *Рубинштейн С. Л.* Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 368.
- ⁵⁰ *Ричмонд У.* Учителя и машины. М., 1968. С. 27.
- ⁵¹ *Исторический материализм: Учеб. пособ.* М., 1974. С. 276.
- ⁵² Там же. С. 275.
- ⁵³ *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. С. 188, 203.
- ⁵⁴ *Селье Г.* На уровне целого организма. М., 1972. С. 103—104.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение. <i>Историография в свете методологической рефлексии</i>	7
Раздел I. <i>Строение исторического исследования</i>	29
Г л а в а I. Исторический источник. Структура и функции источника как средства познания	—
Г л а в а II. Источник и другие средства эмпирического познания	61
Г л а в а III. Глосеологические механизмы реконструкции исторического прошлого	83
Г л а в а IV. Историк и историческая реальность	104
Раздел II. <i>Социальное бытие исторического знания</i>	119
Г л а в а V. Проблема специфики гуманитарного исследования. Формы гуманитарного познания в историографии	—
Г л а в а VI. Историческое познание и историческое сознание	144
Г л а в а VII. Пути развития источниковедения как науки	174
Г л а в а VIII. Проблема предмета исторической науки. Пути совершенствования исторического образования	200
Примечания	229

Георгий Александрович Антипов

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ПУТИ ЕГО ПОЗНАНИЯ

Утверждено к печати Институтом истории, филологии
и философии СО АН СССР

Редактор издательства Ю. П. Бубенков. Художник А. И. Смирнов.
Технический редактор А. В. Сурганова. Корректоры [О. М. Казакова,
С. М. Голман.

ИБ № 30362

Слано в набор 10.03.87. Подписано к печати 14.08.87. МН-02262. Формат
24X108 $\frac{1}{4}$. Бумага типографская №1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,8. Усл. кр.-отт. 12,8. Уч.-изд. л. 15. Тираж 3200 экз. Заказ № 697.
Цена 2 руб.

Орден Трудового Красного Знамени
издательство «Наука», Сибирское отделение,
630099, Новосибирск, 99, Советская, 18.
4-я типография издательства «Наука».
630077, Новосибирск, 77, Ставклавского, 25.